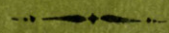


А. И. Хоментовская

А. И. ХОМЕНТОВСКАЯ

ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ
ЭПИТАФИЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

1994

С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

А. И. ХОМЕНТОВСКАЯ

ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ
ЭПИТАФИЯ:
ЕЕ СУДЬБА И ПРОБЛЕМАТИКА

Ответственные редакторы

д-р искусствоведения *А. Н. Немилев,*
д-р филос. наук *А. Х. Горфункель*



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИЗДАТЕЛЬСТВО С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1995

ББК 63.3(04)
X76

Рецензенты: д-р ист. наук *И. П. Медведев* (СПбФИРИ РАН), чл.-кор. АН СССР *В. И. Рутенбург* (СПбФИРИ РАН).

*Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургского университета*

Книга издана при финансовом содействии Министерства науки и технической политики РФ и Ассоциации «Фонд регионального развития Санкт-Петербурга»

Хоментовская А. И.

Итальянская гуманистическая эпитафия: Ее судьба и проблематика / Отв. ред. А. Н. Немиллов, А. Х. Горфункель. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1995. — 272 с.

ISBN 5-288-01350-0

В монографии на эпиграфическом материале (автором изучены более 500 эпитафий, по большей части неизданных) исследуются вопросы идеологии и системы мышления итальянских гуманистов, их отношение к жизни и смерти, традиционным ценностям средневекового христианства. Работа отличается прекрасным стилем и отточенностью научной аргументации. Органически связан с монографией автобиографический очерк «Пройденный путь».

Для широкого круга читателей.

0502000000—011
X $\frac{076(02)—95}{25—94}$

ББК 63.3(04)

ISBN 5-288-01350-0

© Издательство
С.-Петербургского
университета, 1995
© А. И. Хоментовская, 1995.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Habent sua fata libelli...
Книги имеют свою судьбу...

Судьба автора этой книги, как и судьба рукописи, может служить отражением того, что пережило поколение, что явилось уделом целого слоя людей и созданного ими пласта культуры России, можно также сказать — Петербурга. Судьба петербургской интеллигенции, этого неповторимого феномена в истории не только русской, но и мировой культуры, нашла в личности А. И. Хоментовской одновременно трагическое и светлое воплощение. Современница самого высокого расцвета «серебряного века», она оказалась и одной из жертв той страшной мясорубки, в которой эта интеллигенция погибла: были физически уничтожены или лишены возможности творческой деятельности те, кто не поторопился приспособиться или не нашли спасения в печальной эмигрантской диаспоре. Историю своей жизни изложила в самые последние ее дни сама Анна Ильинична. С грустью перечисляет она свои неизданные, а частично и утерянные, работы, более всего сожалея об «Итальянской гуманистической эпитафии» — труде ее жизни, надеясь, все же, что когда-нибудь он увидит свет. Многие годы это было невозможно, хотя память о талантливой исследовательнице культуры итальянского Ренессанса бережно сохранялась теми, кто знал ее или смог ознакомиться с ее рукописями. Благодаря энергии В. И. Рутенбурга, не имевшего случая общаться с Анной Ильиничной, но, по его собственным словам, многому научившегося по ее трудам, в особенности высоко ценившего ее метод работы с источниками, в годы, последовавшие за «оттепелью», одна за другой увидели свет две статьи и небольшая монография о Лоренцо Валле,¹ но посвященную эпитафиям, теме смерти, «чуждой жизнеутверждающему мировоззрению советских людей», книгу издательства отказывались печатать.

¹ См. список трудов А. И. Хоментовской в конце книги.

Не теряя надежды, готовя к изданию эту рукопись, В. И. Рутенбург писал накануне своей скоропостижной кончины в апреле 1988 г.: «...ныне эта книга, сочетающая в себе образность и широкую доступность языка с тончайшим исследовательским анализом, пополнит библиотеки читателей, интересующихся историей культуры, проблемами итальянского Возрождения».

В своих записках А. И. Хоментовская сообщает о ходе и методах исследовательской работы над этой книгой. Мысль о написании этой книги появилась у автора еще в 1925 г., а завершена она была только в 1935—1936 гг. Эту книгу сама А. И. Хоментовская считала главным трудом своей творческой жизни.

В начале этого большого исследовательского периода тема рисовалась как история нескольких поколений Возрождения, изучение того, как жили и умирали люди той блестящей и исключительной эпохи. В поток источников были включены разнообразные трактаты, связанные с гуманистами. Эти первоклассные источники стали предметом занятий со студентами Петроградского университета в семинаре А. И. Хоментовской, а для автора книги — процессом глубокой систематической и критической обработки...

Работа над книгой о гуманистическом мировоззрении, по свидетельству самого автора, „представила, благодаря мозаичности материала, трудности громадные не только в стадии собирания и критического просеивания его, но и в стадии его обработки... работа претерпела много редакций”.

Несмотря на величайшие трудности и вопреки сорокалетней давности, это поистине новая книга, написанная блестящим современным языком, новая по методике своего исследования, новая по источникам и по выводам. Эпиграфические источники, материалы, проанализированные А. И. Хоментовской, показывают оптимистический, творческий характер гуманистического мировоззрения как нового этапа мышления, способствовавшего созданию в дальнейшем научной литературы на новых языках. Книга дополняет наше понимание эпохи Возрождения, значение и место таких имен, как Данте, Петрарка, Боккаччо, Валла, Панормита, Понтано, Ариосто.

«Общечеловеческая значимость темы поможет работе выдержать искус такого долгого ожидания публичности»,² — писала А. И. Хоментовская. Мы сочли необходимым привести обширную цитату из отзыва одного из крупнейших специалистов по истории Италии и итальянской культуры эпохи Возрождения В. И. Рутенбурга отчасти еще и потому, что изданием этой книги мы выполняем свой долг памяти обоим ученым, связан-

² Мы цитируем неопубликованное предисловие к предполагавшемуся изданию монографии А. И. Хоментовской в издательстве «Наука». В связи с кончиной В. И. Рутенбурга это издание не осуществилось.

ным прямой преемственностью школы петербургских историков — итальянистов-возрожденцев. Основа этой школы — труды А. Н. Веселовского, преемником которого явился И. М. Гревс, талантливый ученый и еще более замечательный учитель, проживший долгую жизнь, видевший печальную судьбу многих своих учеников, но не утративший преданности науке и сумевший передать свой подвижнический энтузиазм представителям нескольких поколений, в числе которых были Л. П. Карсавин, О. А. Добиаш-Рождественская, А. Г. Вульфius, немногим моложе их была и А. И. Хоментовская... Свои годы учения и обстановку тех лет сперва на Бестужевских курсах, а затем — в университете Анна Ильинична описала сама. И хотя следует считаться с большой субъективностью и подчас резкостью ее суждений, — не менее требовательна бывала она и к себе, — читатель легко может ощутить ту насыщенную творческой мыслью, оригинальными идеями обстановку, с которой ни за что на свете не захотела расстаться А. И. Хоментовская и из которой она была с цинической грубостью насильственно вырвана навсегда...

Значение преемственности и традиции велико во всякой области человеческой культуры, особенно существенно оно в развитии гуманитарных наук. Поэтому так важно постоянное обращение к наследию, оставленному нашими предшественниками и учителями, и в их числе, разумеется, достойное место должна занять А. И. Хоментовская. Специалистам, конечно, известны ее изданные еще при жизни работы о Кастильоне, о купеческом семействе Гвиниджи в Лукке времен раннего Возрождения, об авторе «Сна Полифила», наконец, увидевшая свет уже после смерти автора небольшая монография о Лоренцо Валле. Но, безусловно, наиболее значительным вкладом А. И. Хоментовской в историографию итальянского гуманизма является впервые представший перед читателем и безусловно интересный далеко не только узкому кругу ученых ее труд о гуманистической эпитафии XIV—XVI вв. Это исследование выделяется даже на фоне основательных и глубоко эрудированных остальных работ автора богатством подвергнутого анализу материала, широтой постановки проблемы мировоззрения гуманистов и, наконец, самим методом исследования.

Существовало и существует теперь немало серьезных исследований, посвященных гуманизму как культуре, как мировоззрению, как важнейшему явлению духовной жизни итальянского Возрождения. Есть чисто эрудитские исследования отдельных памятников духовной и материальной культуры той эпохи, к числу которых бесспорно относятся и эпитафии гуманистов, как физически сохранившиеся в виде надписей на надгробиях, так и дошедшие до нас в составе литературных сборников. Но не было и нет до сих пор ни в отечественной, ни в зарубежной литературе исследования, в котором центральные

проблемы гуманистического мировоззрения рассматривались бы на обширном и, главное, целостном материале эпитафики. Между тем эпитафия — не только явление литературного быта или бытового обряда, она есть активнейшее проявление идеологии гуманизма и притом в такой сфере, где столкновения средневековой традиции и новой ренессансной культуры приобретали особую остроту.

В самом деле, в эпитафии мировоззрение гуманиста как личности и как представителя определенной социальной группы и общественного движения предстает таким, каким он сам стремится запечатлеть себя перед лицом смерти и перед лицом вечности. А потому именно в эпитафии сложнейшие проблемы жизни и смерти, славы земной и посмертной, «вирту» и фортуны, отношения к греху и спасению, к бренности мира и загробному существованию выступают наиболее отчетливо. Поэтому и вопросы отношения гуманистов к традиционным ценностям средневекового христианства, столь занимающие новейших исследователей культуры Возрождения, получают на материале эпитафики решение более четкое и убедительное, нежели на прямых теоретических декларациях в гуманистических диалогах или трактатах.

В новизне и глубине постановки темы, в последовательном и целостном анализе материала (теперь мы бы назвали его системным подходом), в отходе от свойственной прошлому, и не только прошлому столетию, чисто описательной манеры изложения — актуальное научное значение исследования А. И. Хоментовской, делающее ее монографию необходимой и полезной не только для специалистов, но и для широкого круга читателей, интересующихся общими проблемами истории культуры.

Такие специфические и важные темы, как отношение культуры гуманизма к средневековой традиции, к возрожденному гуманистами античному наследию, проблемы светского и религиозного характера гуманистического движения XIV—XVI вв., получают в исследовании А. И. Хоментовской убедительное и аргументированное решение.

Высказанное более полувека назад замечание автора книги о том, что «эпитафика итальянского Возрождения представляет почти невспаханное поле», сохраняет свою силу и в наши дни — книга А. И. Хоментовской оставалась в рукописи, а новых исследований, несмотря на то, что тема, как кажется, лежала на поверхности, не появилось — и должно быть, не случайно, ибо подход к ней требовал такого уровня профессионализма в сочетании с широким историко-культурным анализом, какой встретишь не часто.

Несколько слов следует сказать о построении и основных направлениях исследования А. И. Хоментовской. В качестве предмета изучения взята гуманистическая эпитафия на протяжении двух с половиной веков — от 1300 до 1550 г. Харак-

терно, что этот временной охват соответствует наиболее принятым в наши дни хронологическим рамкам итальянского Возрождения. В основу положены надписи, относящиеся к самим гуманистам, а не те, скажем, которые они сочиняли для других — по заказам власть имущих или представителей иных социальных и культурных слоев. Эпитафия рассматривается прежде всего как «человеческий документ, богатый эмоциональным и интеллектуальным содержанием», характеризующий в своей эволюции на протяжении данного периода идеологию, вкусы, нравы и самое мироощущение гуманистов.

Проблема, поставленная в исследовании, такова: что дает эпитафия для истории гуманизма, каков проявляющийся в ней собирательный, профессиональный и гражданский, облик гуманиста? Что выделено в эпитафии: след человека на земле или же его судьба, или то, что ожидает его за пределом земной жизни? Именно эпитафия, по мнению исследователя, может способствовать ответу на вопрос, в какой мере культура гуманизма сохраняла церковно-аскетические устои, «что пришло на смену учению апостола Павла о смерти как порождении первоначального греха, что противопоставили гуманисты тем своим современникам, которые искали назидания в „Плясках смерти“ и в трактатах об искусстве благополучно умирать?» Каково воздействие на гуманистическую эпитафию возрожденной языческой мифологии и обрядности?

В своем исследовании А. И. Хоментовская сравнивает средневековую и античную эпитафии, причем именно в таком, «обратном» с точки зрения хронологии, порядке, который, однако, отвечает действительной последовательности движения зарождающейся гуманистической культуры. Автором рассмотрена эпитафия как литературный жанр, эпитафия как надпись, поэтика и эпиграфическая техника эпитафии-надписи.

Анализируя идеологическое содержание гуманистической эпитафии, А. И. Хоментовская показывает, как она становится — в стенах католического храма — трибуной и рупором для пропаганды не только индивидуальной славы, но и задач, свершений и идей гуманизма.

Характерно, что в эпитафиях гуманистов-клириков, духовных лиц о их принадлежности к церкви говорит только перечисление званий и упоминание сана. В ограде церкви происходит разрыв с церковью: католический храм эпохи Возрождения, отмечает А. И. Хоментовская, «терпел в своих стенах многое, что было выкинуто позднее». Характерно, что иные из гуманистических эпитафий духовных лиц могли быть позднее приняты за языческие античные эпитафии, и потому неудивительна судьба, постигшая их в эпоху католической реакции.

Детальный анализ надгробных надписей позволил автору опровергнуть модные в 30-х годах концепции католического благочестия, якобы свойственного гуманизму, как считал Тоф-

фанин. Гуманисты и на плитах надгробий оставались верны «суете сует», земной славе «вплоть до элегантного паганизма и либертинизма, свойственного их творчеству». Даже в эпитафии — гуманистическое «вирту» оказывается сильнее фортуны. Их отношение к смерти свидетельствует по крайней мере о глубоко безразличии к вере, а чаще — о замене ортодоксально-христианского понимания новым, гуманистическим, заменяющим веру в спасение и личное бессмертие за гробом — бессмертием в деяниях и славе, элизиумом языческих древних философов и поэтов, стоической автаркией или эпикурейским отказом от загробных наград.

Книга А. И. Хоментовской сама по себе является превосходным памятником исследователю, и в этой связи можно лишь выразить, вслед за В. И. Рутенбургом, величайшую признательность и искреннее восхищение преданностью памяти ученого ее племянниц И. В. Арнольд и Т. В. Достоевской, бережно сохранивших и затем передавших в архив Санкт-Петербургского филиала Института российской истории Российской Академии наук все рукописи и письма Анны Ильиничны. Со своей стороны, стремясь сделать все, что было в наших силах, для того, чтобы книга эта увидела свет и стала действенным достоянием нашей науки о Возрождении, мы твердо сознавали, что издание ее — не акт благотворительности, а осуществление справедливости и исполнение, наконец, многолетнего долга перед наукой и нашими читателями.

* *
*

Тексты монографии и воспоминаний А. И. Хоментовской издаются по рукописям, хранящимся в Архиве Санкт-Петербургского филиала Института российской истории РАН. Работа автора происходила в трудных условиях, подчас в исключительной обстановке, поэтому рукописи не могли быть до конца подготовлены автором к печати: в них встречаются стилистические неточности, явные описки и непроверенные цитаты. При редакции мы постарались сохранить текст автора. Без специальных оговорок исправлены лишь явные описки, выверены и приведены в соответствие с современными нормами библиографические ссылки, проверены и исправлены там, где это было необходимо, вызывавшие сомнение переводы текстов эпитафий, а также цитаты на иностранных языках. Не переведенные самой А. И. Хоментовской цитаты даются в переводах составителей, причем они помещены в подстрочных примечаниях. Некоторые изменения мы были вынуждены внести в предусмотренный автором иллюстративный материал к гл. XI — это связано с трудностями подбора соответствующих иллюстраций.

Возможность издания этой книги была определена добродетельной поддержкой ректората Санкт-Петербургского уни-

верситета и руководства Петербургского филиала ИРИ РАН, особенно значительна помощь академика А. А. Фурсенко.

В подготовке текста к печати помимо ответственных редакторов принимали на разных этапах работы участие племянницы автора И. В. Арнольд и Т. В. Достоевская, а также Б. С. Каганович. Окончательная работа по подготовке текста осуществлена Н. Л. Корсаковой. В переводе латинских цитат большую помощь оказал В. И. Мажуга.

Редакция выражает глубокую благодарность за предоставление рукописей руководству Санкт-Петербургского филиала Института российской истории РАН, за предоставление фото-материала — Дирекции Государственного Эрмитажа, хранителям Лувра и Музея истории Санкт-Петербургского университета, сотрудникам Отдела эстампов и Отдела рукописей Российской Национальной (публичной) библиотеки, а за его изготовление — фотолаборатории Государственного Эрмитажа.

*А. Н. Немилов,
А. Х. Горфункель.*

ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ

Анна Ильинична Хоментовская (урожд. Шестакова) родилась 1 октября 1881 г. в Ростове-Ярославском в семье артиллерийского офицера, ставшего впоследствии генералом. Вскоре семья переехала в Петербург, где Анна Ильинична закончила гимназию и в 1899 г. поступила на физико-математический факультет Бестужевских курсов. В 1902—1903 гг. она серьезно увлеклась нелегальной литературой и революционными идеями и в январе 1904 г. ушла из семьи, начав зарабатывать на жизнь уроками и переводами. В частности, ею была переведена «драма для чтения» Флобера «Искушение Св. Антония» (1906). Тогда же А. И. Хоментовская открыла для себя Стендаля, который сыграл, по-видимому, известную роль в ее обращении к темам итальянского Возрождения.

В 1907 г. А. И. Хоментовская окончила физико-математический факультет. Спустя четыре года она поступила на историко-филологический факультет тех же Бестужевских курсов. Она училась у известных профессоров: занималась в семинарах И. М. Гревса, посвященных Флоренции и Данте, а также в семинаре Э. Д. Гримма по «Государю» Макьявелли; новую историю, начиная с эпохи Возрождения, слушала у Е. В. Тарле. В последние годы пребывания Хоментовской на курсах преподавательницей их стала О. А. Добиаш-Рождественская, с которой у нее установились дружеские отношения. Большое впечатление на А. И. Хоментовскую произвели также труды акад. А. Н. Веселовского, одного из основателей научного ренессансоведения, положившего основу изучения его в России. Одновременно она серьезно занялась историей искусства.

В 1916 г., по окончании Бестужевских курсов, А. И. Хоментовская была оставлена при кафедре всеобщей истории для подготовки к профессорскому званию. «И ту и другую революцию я встретила как исторически должное и неизбежное», —

писала она спустя четверть века в «Пройденном пути». В 1918—1919 гг. А. И. Хоментовская служила в архиве и одновременно сдавала магистерские экзамены в университете, с которым слились тогда Бестужевские курсы. Готовясь к экзамену по русской истории, она написала большую исследовательскую работу «Н. Г. Чернышевский и подпольная литература начала 60-х годов»,¹ в которой дала углубленный анализ социально-политической программы и тактики Чернышевского, а также его литературной манеры и пришла к выводу о принадлежности Чернышевскому известного воззвания «К барским крестьянам» и о причастности его к прокламациям «Великорусса». Работа эта была высоко оценена на экзамене проф. А. Е. Пресняковым, особенностью школы которого являлось именно применение строгих и точных критических методов медиевистики к анализу источников нового и новейшего времени. Большинство выводов А. И. Хоментовской было принято авторитетными историками русского революционного движения.² Таким образом, она вписала свое имя и в историографию общественной жизни в России.

В 1920—1923 гг. А. И. Хоментовская состояла доцентом Петроградского университета, который вынуждена была покинуть в связи с ликвидацией историко-филологического факультета университета в результате насаждавшегося тогда М. Н. Покровским курса на свертывание преподавания истории. В 1921—1928 гг. она читала по совместительству курс искусства итальянского Возрождения в Институте истории искусств.

В 1923 г. в биографической серии «Образы человечества», выходящей в издательстве Брокгауз—Ефрон, была опубликована небольшая книга А. И. Хоментовской «Кастильоне, друг Рафаэля». ³ Знаменитый ренессансный «джентльмен» трактован здесь на фоне итальянской истории и культуры рубежа XV и XVI вв. Ярко и интересно описан в книге урбинский двор, с которым был связан граф Кастильоне. «Придворный салон, одно из порождений аристократической культуры Ренессанса», восходит, по словам А. И. Хоментовской, к «кружку Декамерона, где общество благородных дам и юношей, убегая от чумы в пригородную виллу... коротает свой досуг за рассказыванием новелл, которые дают повод к переоценке ценностей в области морали».⁴

Человеческий идеал Кастильоне А. И. Хоментовская реконструирует на основании его «Книги о придворном» как разновидность ренессансного идеала «универсального человека» (*homo universale*), гармонически развивающего «все потенции

¹ Исторический архив. 1919. Вып. 1. С. 324—413.

² См.: Левин Ш. М. Общественное движение в России в 60—70-х годах XIX в. М., 1958. С. 182—183.

³ Хоментовская А. И. Кастильоне, друг Рафаэля. Пг., 1923.

⁴ Там же. С. 44.

тела и духа». «В реальной личности Кастильоне присутствуют все эти элементы культуры Возрождения: и рыцарство, и классическая древность, и платонизм, и народность»,⁵ — полагает автор. Последняя глава книги дает Кастильоне в реальной жизни в его поздние годы: дипломата при папском дворе и участника антипротестантской полемики, не гнушавшегося апеллировать к инквизиции.

Несмотря на популярную форму, книжка эта была высоко оценена как исследовательская работа О. А. Добиаш-Рождественской и Е. В. Тарле.⁶

Одновременно была опубликована статья А. И. Хоментовской о Стендале.⁷ «Бонапарт, Стендаль и его творение Жюльен Сорель — они все отчасти одной породы, породы честолюбцев в эпоху великих возможностей [...], — пишет она. — Революция и Империя вырастили во Франции новую породу людей. Социальная буря и великие войны вызвали и закалили в новых поколениях новые силы, которые находили питание и могли расти [...]. Они подняли мятежные страсти, они пробудили волю к власти. Свое символическое выражение они нашли прежде всего в том великом кондотьере, том *principe piovato*, в котором история захотела воплотить того, кого лелеяло воображение Макьявелли [...]. Между Империей и Ренессансом в Италии есть эти точки соприкосновения... Можно утверждать, что у Стендаля есть сознательный и бессознательный культ воли, воплощавшийся в макьявеллиевской Италии в понятии *virtù*. Этот термин ему незнаком, но сущность ему сродни».⁸ Как видим, эпоха Возрождения была для Хоментовской своего рода школой «исторического реализма» и индивидуалистической психологии.

Для понимания научных позиций А. И. Хоментовской представляют интерес ее статьи «Итальянский гуманизм в современной историографии (1890—1914)»⁹ и «Источниковедение искусства в современной постановке».¹⁰ В последней она, в частности, возражала против негативной оценки гуманизма в «Истории научной литературы на новых языках» Л. Ольшки, считавшего, что он не меньше, чем схоластика, является антиподом новой науки. «На самом деле, — замечает А. И. Хоментовская, — гуманизма как критической силы он не знает, не знает

⁵ Там же. С. 119.

⁶ Добиаш-Рождественская О. А. Образы человечества // *Анналы*. 1924. № 4. С. 290.

⁷ Хоментовская А. И. Стендаль. Из образов послереволюционной Франции // *Из далекого и близкого прошлого: Сб. этюдов из всеобщей истории в честь Н. И. Кареева*. Пг., 1923. С. 234—248.

⁸ Там же. С. 240—241.

⁹ *Анналы*. 1923. № 3. С. 241—246.

¹⁰ *Изобразительное искусство: Сб. статей. Гос. ин-т истории искусств / Временник отдела изобразительных искусств. Т. 1. Л., 1927. С. 162—170.*

его как творца новых форм и посредника с античностью, не понимает, что без этой стадии не было бы и научной литературы на новых языках».¹¹

Как самостоятельный и вдумчивый исследователь эпохи Возрождения выступает А. И. Хоментовская уже в очерке «Лукка времен купеческой династии Гвиниджи»,¹² в котором она воссоздает красочный быт этого итальянского города в XV в., как он отражен в хронике Серкамби, по ее словам, — «реалиста с купеческой складкой ума, хорошего хозяина с привычкой к коммерческому расчету, с внимательным отношением к вещи как товару».¹³ Это не только единственная работа о Лукке в нашей исторической литературе, но и одно из первых исследований, по существу предвосхитивших современные труды «историков повседневности».

Вынужденная расстаться с университетом, с 1925 г. на протяжении десяти лет А. И. Хоментовская заведовала библиотекой и архивом наблюдений Главной Геофизической обсерватории, совмещая службу с очень интенсивной научной работой. Здесь пригодилось ее математическое образование. Но она не расставалась и с исследованиями в области истории. В эти годы ею был опубликован, в частности, обзор так называемой «Флорентийской елки» — пестрого и довольно разношерстного собрания книг, гравюр и рисунков XVII—XIX вв., которыми в 1880-е годы регулярно одаривал к Рождеству Публичную библиотеку живший во Флоренции русский коллекционер И. Е. Бецкий.¹⁴

Большим событием для А. И. Хоментовской была научная командировка в Италию. «Ее путешествие в Италию в 1927 г., — вспоминала дружившая с А. И. Хоментовской историк Е. Ч. Скржинская, — когда она, глядя на меня своими блестящими и необычными глазами, говорила: „...и еду я туда, когда мне уже 45 лет!“ — было не только плодотворно по работе, но и наполнило ее до краев тонко и глубоко воспринятыми образами красоты как в искусстве, так и в природе».¹⁵

В ходе своих занятий А. И. Хоментовская обратила внимание на известный ренессансный роман «Борьба сна и любви у Полифила» (*Hypnerotomachia Poliphylus*), вышедший анонимно в Венеции в 1499 г. Большинство исследователей приписывали авторство доминиканскому монаху Франческо Колонна. Хоментовская назвала в качестве возможного автора имя ве-

¹¹ Там же. С. 167.

¹² Средневековый быт: Сб. статей, посвященный И. М. Гревсу Л., 1925. С. 78—112.

¹³ Там же. С. 112—113.

¹⁴ *Khomentovskaia A. Firenze illustrata o Enciclopedia fiorentina di Giovanni Betsky // Bibliofilia. 1927. Vol. 29. N 9—12. P. 367—381.*

¹⁵ Скржинская Е. Ч. Анна Ильинична Хоментовская // Санкт-Петербургский филиал Ин-та российской истории Российской Академии наук (далее — СПбФИРИ РАН). Западноевропейская секция. Ф. 14.

ронского гуманиста, типографа и алхимика Феличе Феличано (1432—1480), в чем, по ее словам, «убеждают не только признаки хронологические и территориальные, но и замечательный ряд совпадений по линиям языка, синтаксиса, литературных форм, эпиграфики, художественных традиций, техники и оккультных наук». Работа А. И. Хоментовской была опубликована во Флоренции на французском языке.¹⁶ Согласно отзыву О. А. Добиаш-Рождественской, «автору пришлось придвинуть к полю зрения своей аргументации всю совокупность разнообразной полноты научных представлений Ренессанса: космологических, астрономических и астрологических, всю полноту „фаустовских“ идей эпохи. Ей пришлось войти в тончайшие оттенки стиля и языка, эстетики и риторики эпохи. Ее построение глубоко, оригинально и убедительно, им вправе гордиться советская наука».¹⁷

С марта 1935 г. А. И. Хоментовская, незаконно высланная из Ленинграда, в течение двух лет жила в Саратове, где служила в университетской библиотеке. Здесь ею была завершена предлагаемая ныне читателю работа многих лет, которую сама она считала главным трудом своей жизни, — монография «Итальянская гуманистическая эпитафия, ее судьба и проблематика (1300—1550 гг.)». Мировоззрение и мироощущение гуманистов, как они выразились в этом своеобразном жанре, который заставил ее задуматься над тем, «насколько условна в своих формах всякая историческая культура», — вот тема А. И. Хоментовской. Первоначально она формулировала ее для себя шире — «как умирали люди Возрождения» — и лишь потом, в процессе работы, решила ограничиться эпиграфическими материалами.

А. И. Хоментовская весьма углубленно изучила эпиграфическую технику и поэтику эпитафии-надписи, античные и средневековые прецеденты ренессансных эпитафий (ее постоянным консультантом по этим вопросам был крупнейший специалист в области античной эпиграфики акад. С. А. Жебелев, который «вынес впечатление, что в ее лице наука имеет дело с очень крупным ученым-исследователем»). А. И. Хоментовская прекрасно характеризует самое существо жанра: «Эпитафия есть окончательная и сознательная кристаллизация причитания, продукт уже старой и утонченной культуры, порождение желания сохранить следы этого плача вместе со следами того, кем он был вызван. Скорбь — самая произвольная, самая непосредственная и сильная эмоция, но и она во всяком обществе вводится в рамки, складывается в некий ритуал. Ее

¹⁶ *Khomentovskaia A. Felice Feliciano da Verona comme l'auteur de l'«Hypnerotomachia Poliphili»*. Firenze, 1936.

¹⁷ Добиаш-Рождественская О. А. Отзыв о работе А. И. Хоментовской (1935) // Российская национальная библиотека Ф. 254. Д. 154. Л. 1.

столько же надо оценивать в ее стихийности, сколько увидеть на узде обычая, идеологии и культуры» (с. 122). Читая эту великолепную формулировку, трудно не вспомнить современных ей призывов знаменитого французского историка Люсьена Февра писать «историю чувств».¹⁸

А. И. Хоментовская не идеализирует гуманистов как социальный и человеческий тип. «Профессиональный пафос гуманиста слишком часто шел рука об руку с близоруким общественным эгоизмом и безразличием клиента, который легко меняет патронов», — пишет она (с. 113). Но это не заслоняет для историка великой революционной роли Возрождения. «На одной из воскрешенных гуманизмом „античных форм пафоса“ этот гуманизм [...] открылся перед нами не как рождение классической филологии, а как „кипение человека“ в рецепции классического наследия и борьбе за освобождение мысли и воли на путях к нормам новой человечности, которая и на гробовой доске ратует за право жизни против смерти», — этими словами заключает А. И. Хоментовская свою работу (с. 185). Сказать, что эта работа глубокая и блестящая, — мало. «Такого исследования не знает зарубежная историческая литература»,¹⁹ — писал еще четверть века назад В. И. Рутенбург. Так обстоит дело и сегодня.

К «Гуманистической эпитафии» в известном смысле примыкает посмертно опубликованная статья А. И. Хоментовской «К истории книги и библиотек по завещаниям гуманистов и ученых итальянского Возрождения (1320—1574 гг.)».²⁰ «Несмотря на предъявляемые к завещанию точные формальные требования и нотариальную скрепу, оно в эпоху Возрождения не стало еще актом-трафаретом, а являлось „человеческим документом“, приближаясь иногда к исповеди. Вместе с тем типическое завещание представляет собой некий горизонтальный разрез, по которому можно одновременно учесть экономическое и социальное лицо завещателя, господствующие тенденции семейного права, религиозные верования, материально-бытовую обстановку, круг друзей и связей. Со всех этих точек зрения было бы полезно изучить завещания граждан разных классов, групп и категорий»,²¹ — писала А. И. Хоментовская. Таким образом, эта статья является до известной степени дальнейшим развитием того исторического исследования повседневности, который намечился в ее работе о Лукке времен Гвиджи.

¹⁸ Febvre L. Combats pour l'histoire. Paris, 1953. P. 236 (статья 1941 г. «La Sensibilité et l'Histoire»); I d e m. Pour une histoire à part entière. Paris, 1962. P. 795—853 (раздел «Histoire des sentiments»).

¹⁹ Рутенбург В. И. Лоренцо Валла и его время // Хоментовская А. И. Лоренцо Валла — великий итальянский гуманист. М.; Л., 1964. С. 19.

²⁰ Средние века. Вып. 24. 1963. С. 217—224.

²¹ Там же. С. 217.

В современной, особенно французской, науке очень популярны работы, посвященные восприятию смерти европейским человеком в различные исторические и культурные эпохи. Смерть как социальный факт, погребальные ритуалы, завещания, надгробия, эсхатологические представления, иконография — все это стало предметом тщательного изучения в аспекте исторической психологии.²² А. И. Хоментовская, несомненно, также предварила эти интересные современные изыскания.

В 1937 г. деятельность А. И. Хоментовской была прервана на три года: она вновь стала жертвой беззаконий тех лет. Освобожденная в 1940 г. из лагеря в связи с прогрессирующей болезнью, но лишенная права жить в больших городах, А. И. Хоментовская поселилась в Вышнем Волочке и, несмотря на тяжелую болезнь, почти сразу же возобновила научную работу. Здесь ею была написана книга о Лоренцо Валле.²³

Историю мысли Валлы Хоментовская воссоздает в неразрывной связи с историей его жизни. Папский Рим XV в., где родился и умер Валла, неаполитанская культура времен короля Альфонса Арагонского, гуманистическое движение первой половины XV в. с разными его оттенками и «диссонансами» обрисованы ею выразительно и с большим внутренним изяществом. А. И. Хоментовская внимательно проанализировала филологические, исторические, теологические и риторические аргументы Валлы в его знаменитом памфлете «О вымышленном и подложном даре Константина» и пришла к выводу, что мы имеем право считать Валлу ведущим представителем «критического гуманизма» и основоположником современной исторической критики.

А. И. Хоментовская дает блестящий портрет Валлы — человека конкретной эпохи, определенной социальной группы. «Логическая смелость находила опору и в циническом складе его ума, который одинаково обнаруживается в произведениях и личном его поведении на протяжении всей жизни. Этот цинизм есть появление того скепсиса в моральных вопросах и житейских делах, который сопутствует власти денег и разложению нравов переходной эпохи [...]. В личном поведении Лоренцо Валла является куриалом, который усвоил себе раз и навсегда, что в курии все продажно».²⁴ «При всем практическом примиренчестве и житейском цинизме, свойственном его веку, веку ранней итальянской буржуазии, он твердо и без оговорок в ре-

²² См., напр.: Aries Ph. *L'homme devant la mort*. Paris, 1977; *Vo-velle M. Mourir autrefois. Attitudes collectives devant la mort au XVII^e et XVIII^e siècles*. Paris, 1974; Tenenti A. *Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento*. Torino, 1957; Panofsky E. *Tomb sculpture. Its changing aspects from Ancient Egypt to Bernini*. London, 1964.

²³ Хоментовская А. И. Лоренцо Валла — великий итальянский гуманист. — Подробная научная характеристика этой книги дана во вступительной статье к ней В. И. Рутенбурга.

²⁴ Там же. С. 118.

шительные моменты поддерживает свои основные выводы».²⁵ «Противоречия в облике Лоренцо Валлы — противоречия между творчеством и послужным списком, между беспощадной смелостью мысли и уклончивостью тактики — не могут исказить внутреннего его единства»,²⁶ — заявляет А. И. Хоментовская.

Рекомендуя работу А. И. Хоментовской в 1941 г. к изданию, акад. Е. В. Тарле писал: «Анна Ильинична Хоментовская давно пользуется среди советских историков почетной и вполне заслуженной репутацией лучшего в настоящее время у нас знатока эпохи Возрождения и итальянского гуманизма. В настоящее время она закончила в самом деле замечательное исследование о Лоренцо Валле, знаменитом разрушителе одной из фальсификаций, созданных римской церковью [...]. Работа Хоментовской является прекрасным научным отпором всем попыткам исказить характер исторического дела, им совершенного. Должно пожелать, чтобы эта серьезная монография талантливой советской исследовательницы поскорее увидела свет».²⁷ Издать эту книгу удалось, однако, только в 1964 г.

В Вышнем Волочке А. И. Хоментовская написала также большую статью «Гуманистическая школа в Италии эпохи Возрождения», которую Е. В. Тарле, направляя в журнал «Советская педагогика», аттестовал как «серьезное научное исследование и прекрасную научно-популярную работу, изложенную живо и интересно». Статья опубликована не была, и рукопись ее, по-видимому, не сохранилась.

В последние месяцы своей жизни, «в почти пустом городишке, в доме с заколоченными окнами, снова оторванная от всех близких, под пролетающими германскими самолетами» А. И. Хоментовская дала многократно цитированные нами воспоминания «Пройденный путь» — памятник несломленного духа и ценный исторический документ.

Анна Ильинична Хоментовская умерла 3 октября 1942 г. в селе Островно Удомельского района Калининской [Тверской] области, куда ее незадолго до смерти привезла ее племянница, агроном.

Е. Ч. Скржинская говорила об А. И. Хоментовской в кругу друзей, собравшихся почтить ее память: «Первое, что я почувствовала после беседы с ней, — то самое, что чувствовала в эти последние дни, перебирая ее рукописи, — что она — очаровательная умница, человек с неизменно ощутимым движением мысли, оригинальной, последовательной, строгой и в то же время красивой, доставляющей наслаждение [...]. Кроме ума, признававшегося всеми, лучшими, конечно, людьми, которые знали Анну Ильиничну, у нее было еще одно качество, кото-

²⁵ Там же. С. 141.

²⁶ Там же. С. 142.

²⁷ СпбФИРИ РАН. Западноевропейская секция. Ф. 14.

рое равным образом вызывало восхищение, но которому можно было у нее и поучиться, — уму, к сожалению, научиться нельзя. Это замечательное качество — стойкость, упорство, целеустремленность и непоколебимость. „Non qui inciperit, sed qui perseveraverit”, — эти слова услышала я от нее и неизгладимо запомнились они, оттого что, произнесенные ею, они сливались с существом ее личности. „Не тот, кто почин положит, но тот, кто твердо, упорно продолжит, кто пребудет непреклонным до конца”, — вот что выражают эти целиком подходящие к А. И. слова. Всей своей жизнью, а более всего ее концом она доказала это».²⁸

Свою очень нелегкую жизнь А. И. Хоментовская прожила с великим достоинством. Невольно вспоминается ренессансная тема единоборства доблести и судьбы.

А. И. Хоментовская была замечательным историком. Острота и ясность мысли, научный реализм сочетались у нее с широким историческим и теоретическим кругозором и яркой литературной одаренностью. Социологически ориентированный историзм, характерный для поколения, к которому принадлежала А. И. Хоментовская, с самого начала имел точки соприкосновения с марксистским историзмом, но, с присущей ее характеру бескомпромиссностью, она никогда не подлаживалась под какую-либо навязываемую доктрину.

Как ученый она непрерывно росла до самого конца. Работы ее, написанные нередко в удручающей бытовой обстановке, в покосившихся избушках, по соседству с пьяными квартирными хозяевами, были частью мировой науки и предварили некоторые новейшие направления исторической мысли. В особенностях это относится к «Гуманистической эпитафии». Нельзя не испытывать глубокого морального удовлетворения от того, что эта книга, сбереженная в течение полустолетия близкими А. И. Хоментовской, выходит наконец в свет.

Б. С. Каганович

²⁸ Скржинская Е. Ч. Анна Ильинична Хоментовская // Там же.

А. И. Хоментовская

Итальянская гуманистическая эпитафия:
ее судьба и проблематика

Я хочу в Европу съездить, Аляша, отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними говорит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в всю науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, — в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более.

Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы».

ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ТЕМЫ

*Возможна ли постановка темы «гуманистической эпитафии»? Ее трудности. Связь гуманистической эпитафии с античностью. Гуманисты как собиратели в области античной эпиграфики. Та же эпиграфика как стимул творчества у гуманистов. Ограничения круга исследования гуманистами в широком смысле этого слова и учеными. Надписи «кандидатов» в гуманисты. Вопрос об источниках. Историческая, философская и общечеловеческая значимость темы с точки зрения кризиса мирозерцания эпохи Возрождения. История эпитафии как входящая в состав темы «Гуманисты и смерть». Проблема кризиса мирозерцания эпохи на фоне различных ее интерпретаций в современной историографии в связи с переоценкой гуманизма и с ревизией Буркгардтовской концепции Возрождения. Утверждение постулата кризиса «социологией Возрождения», школой А. Варбурга и новейшей идеалистической историей философии (Дж. Джентиле, Э. Кассирер, Г. де Руджери). Различение видов эпитафии: эпитафия-надпись, эпитафия литературная, эпитафия литературного мотива, *titulus*, эпитахий, элегия, *threnos*.*

Есть темы, которые издавна преимущественно привлекали и продолжают привлекать неостывающий интерес исследователей; и наоборот, есть другие, которые остаются в тени незаслуженного пренебрежения. Так, к излюбленным классиками темам в области эпиграфики относится эпитафия, в особенности метрическая — «*carmina epigraphica sepulcralia*»; в противо-

положенность этому продолжающая ее эпиграфика итальянского Возрождения представляет почти невспаханное поле.

В самом деле, несмотря на существование *Corpus'a Inscriptionum Latinarum*, итальянцы приступили к новому изданию его; для антологии Ф. Бюхелера в свое время вышло продолжение [105]; большая литература, посвященная надгробиям классического мира [48; 125; 162; 5; 295; 186; 219; 247. P. 379—398], не помешала появлению в 1922 г. солидной диссертации Э. Галлетье [123]. По сравнению с этим богатством эпиграфика, и в частности эпитафия итальянского Возрождения, не прошла и через первую стадию критического собрания материала, который остается разбросанным по ряду более или менее устаревших местных изданий разного достоинства; литература же предмета, кроме небольшого экскурса у Я. Буркгардта, исчерпывается сравнительно немногими специальными штудиями, посвященными отдельным антологиям и эпитафиям.¹

В таких условиях всякая обобщающая работа в этой области представляется столь же заманчивой и многообещающей, как и рискованной, так как она равно требует как критического собрания материала, так и его обработки. Поэтому мало здесь поставить тему; прежде надо поднять вопрос о технической возможности ее постановки хотя бы при известных условиях, в некотором ограниченном кругу исследования. В таком направлении предварительно рассмотрим разработанную ниже тему гуманистической эпитафии на протяжении примерно двух с половиной веков, от 1300 г. до 1550 г., разумея под ней надпись, относящуюся к гуманистам в широком смысле слова как ученым, так и литераторам, в противоположность массе надписей, только составленных авторами-гуманистами для других. Гуманистическая эпитафия в таком смысле явится мерилом литературно-эпиграфического жанра, получившего чрезвычайное распространение и оформление прежде всего посредством гуманистов и благодаря им. Естественно поэтому при изучении эпитафии эпохи Возрождения выбрать отправным пунктом именно этот вид ее; с другой стороны, в своей эволюции на протяжении более двух веков она характеризует в разных направлениях идеологию, вкусы и нравы гуманизма. Новый материал со свойственной ему специфической целеустремленностью по своему должен подытожить историю гуманизма на его последовательных этапах, вынося за скобки — в объеме многочисленных интересов, в разных проявлениях профессионального пафоса, в смене разнообразных оценок — объединяющую их общность призвания и назначения.

Гуманисты не сами создали эпитафию как форму; они получили ее готовой по наследию. В самом деле, история гуманистической эпитафии в Италии представляет пример литературно-эпиграфического вида, связанного непосредственной и непрерывной традицией с античностью. Эпитафия катакомб про-

должает надгробную риторику и поэзию времен империи; во все века Средневековья (от VII до XIII вв.) можно найти ее образцы, хотя столько же варваризируется язык, сколько грубеет стихосложение, и христианские образы вытесняют языческие.

Тем не менее есть все основания говорить о возрождении эпитафии с XIV в., о возвращении ее к живительному истоку и роднику и о новом самобытном расцвете. Общий поток, выносящий на поверхность столько обломков античности, захватывает и ее. Она чаще начинает обращаться к размеренной речи, переключается на старый лад в отношении стили и языка, впитывает, хотя и с выбором, классические метафоры и в постоянной борьбе за форму входит в неотъемлемый ритуал жизни, все шире выявляя собственное новое содержание.

Толчком в этом направлении является прежде всего интерес гуманистов к античной и отчасти христианской эпитафике. История эпитафики через знакомство с памятниками и антологиями Средних Веков и эпохи Возрождения давно и подробно разработана как глава классической истории и филологии. Труды Дж. Б. де Росси, В. Генцена, Т. Моммсена, Р. Ланчани, А. Сильвани [88; 89; 92; 82; 156; 146] установили имена собирателей, «*scrutatorum sepulcrorum*»,^{*2} от Джованни Донди и Кола ди Риенцо — хотя ряды их можно было бы еще пополнить — и их преемственность от безымянных эпитафистов Средних Веков. Как Чириако д'Анкона, они шли «воскрешать мертвецов», обыскивая заросшие терниями мраморные и бронзовые плиты, что ныне безразлично пылятся в музеях, чтобы снова в своих «хартиях» явить взору их гибнущие начертания:

Quin etiam purgas spinis obducta sepulcra
Priscorum et versus reddis in ora virura.
Et modo de vasta misisti epigrammata rupe
Quae fuerunt musis Panque dicata tibi.
Denique quae tabulae, quaeque aera et marmore signunt,
Omnia sunt chartis illa reposita tuis.³

Ты расчищаешь покрытые терниями гробницы древних, открываешь стихотворные надписи взорам людей и шлешь им некоторые из великого множества эпиграмм, посвященных музам и тебе, Пан. Наконец все, что начертано на скрижалях, на бронзе или мраморе находит место среди твоих хартий.

Папа Пий II, который в сане римского первосвященника чувствовал себя во время странствий по Кампанье преемником римских цезарей, сам расчищал от плюща и кустарников скрытые надписи [226; 227] и первый издал закон об охране их.⁴ Записи археологического дневника Феличе Феличано да Верона, по прозвищу Антикварио, полны страстного волнения ранних открытий. 23 сентября 1464 г. он обошел озеро Гарда в

* Исследователей гробниц (лат.).

обществе знаменитого художника Андреа Мантенья и Самуэля да Традато и заканчивает описание поездки пламенными молитвами благодарности перед христианским алтарем в церкви Пречистой Девы — Верховному Громовержцу и его преславной матери за то, что те просветили их сердца «посетить и обследовать места столь замечательные, узреть с такой ревностью... великие чудеса древнего мира...».⁵

Но отношение гуманистов к этим памятникам было не только любопытством восхищенных любителей старины перед тем, что им раскрывало завесу над прошлым, — они явились для них стимулом для творчества в том же направлении. Как и древним, им снова нравилось украшать фасады домов и дворцов, площади, церкви, арки, сады и фонтаны надписями, чтобы рассказать о том достопримечательном, что с ними было связано, или внушить образ, который мог вдохновить и вызвать эстетическую эмоцию сочетанием музыки слов с очарованием линий, красок, света и теней. Но среди всех видов надписей ни один, однако, не привился в большей мере, чем эпитафия. Антологии классических надписей, составленные в XV в., начинаются или кончаются новыми произведениями в том же духе, как, например, сборник Джованни Марканова 1465 г.⁶ Замечательная своими надписями капелла фамилии делла Валле в Санта Мария ин Ара Чели в Риме хранила прах епископа Пьетро делла Валле (ум. 1463) и его племянника эллиниста Никколо (ум. 1473), в чьих домах рядом с античными статуями и саркофагами хранились известные эпитафии «fasti Vallenses» и «menologium rusticum» [150].* Автоэпитафия эпитафиста Феличе Феличано (ум. ок. 1480 г.) по форме была столь близкой античности, что вплоть до XVIII в. ученые относили ее к христианской древности.⁷ Юлий Помпоний Лет, дом которого по количеству собранных надписей походил на музей, известен как автор ряда эпитафий [321]. На стенах «Темплетто» Понтано, семейной усыпальницы поэта в Неаполе, где похоронены были в сопровождении его поэтических напутствий все его близкие, висели античные надписи, латинские и греческие [113]. Увлечение эпитафикой проникло даже в роман эпохи Возрождения «Hypnerotomachia Poliphili» («Сон Полифила»), (I, XIX), вышедший в 1499 г., но законченный тремя десятками лет ранее, на всем протяжении он пестрит вотивными надписями на древних и даже восточных языках, пока герой не попадает в некрополь несчастных любовников, и там на памятниках и плитах, воспроизведенных гравюрой в их различных размерах и формах, с восторгом и волнением антиквара и влюбленного читает их трагические истории в стиле Овидия. Эпизод Полиандриона, занимая 45 страниц убористого шрифта, превращает роман в каталог древностей XV в. Эпитафическая

* «Фасты семьи Валле» и «Сельский менологий» (лат.).

насыщенность «Сна Полифила» явилась одним из аргументов для его атрибуции тому же эпиграфисту Феличе Феличано [151].

Теперь надлежит очертить со всей точностью круг нашего исследования, которое ограничится гуманистической эпитафией в смысле надписи, *отнесенной к итальянскому гуманисту*, — и только на втором плане в смысле надписи, *им составленной*, поскольку речь будет идти о культурной среде и формальном развитии эпитафии. Под итальянским гуманизмом условимся понимать то идеологическое течение, которое «studia humanana» — науку о человеке и для него противопоставило по содержанию и методу «studia divina» — богословию и схоластику с их трансцендентальным уклоном, опираясь на изучение древнего мира в его совершенной человечности и на сохраненную Средними Веками латинскую традицию.

Социальная генеалогия гуманизма, о коей речь пойдет ниже в гл. VI, связывает его с эпохой раннего капитализма в Италии и с окрепшей буржуазией, враждебной силам прошлого: феодальному укладу и авторитету церкви. В нашем исследовании будем применять термин «гуманист» в самом широком смысле, примерно в значении «doctorum virorum»* Павла Иовия, охватывая всех тех, кто в литературе и науке соприкасался с гуманизмом. К итальянским гуманистам будут отнесены и те иноземцы, которые, подобно венгру Яну Паннонию и фламандцу Христофору Лонголию, по собственному избранию «следовали за гением Италии» [254], и ряды византийцев-изгнанников, которых падение Константинополя вынудило искать на Апеннинском полуострове новое поле деятельности. Вместе с тем широкое толкование термина «гуманист» включает в этот круг тех поэтов и писателей, известность которых справедливо связана прежде всего с итальянской литературой, но которые в какой-либо период своего развития, хотя бы впоследствии и превзойденный, или на протяжении всего творчества были также и гуманистами, вроде Леонардо Джустиниани, Лодовико Ариосто, Бальдассаре Кастильоне, Франческо Берни и многих других. Этого мало. Рамки должны быть еще расширены. Поскольку гуманизм вышел из тривия и только переместил в средневековом университете сравнительную значимость отдельных дисциплин, иначе расставил среди них ударения, оплодотворяя вместе с тем всю современную ему систему знания, которая по-прежнему оставалась энциклопедичной, постольку должны быть представлены и натурфилософы, и легисты, и медики, и астрологи, ибо точной грани между ними и гуманистами никогда не было. Это также относится к раннему периоду, когда гуманизм представлен судьей Ловато де' Ловати, юристом-цицеронианцем, корреспондентом Петрар-

* Ученых мужей (лат.).

ки, Лапо да Кастильонкио Старшим, врачом Гвидо да Баньоло и натурфилософом и математиком Бьяджо Пелакане, известным по беседам в вилле Альберти. Верно это и для XVI в., когда трудились юристы Андреа Альчато, знаток римского права, и Леонардо да Порто, оставивший след в области античной нумизматики. Если при этом по отношению к гуманистам, так сказать, чистой воды надо будет стремиться к возможной широте охвата, то по отношению к схоластам можно применить принцип избирательного с гуманизмом сродства, ограничиваясь крупными именами и текстами, представляющими специальный интерес. Подбор интересующего нас материала определяется, следовательно, прежде всего именем и датой историей гуманизма; но навстречу этому потоку идет материал сборников и сохранившихся надписей, на основании которых иногда приходится причислить к гуманизму лица, в его историю до сих пор не входившие, поскольку не осталось никаких других следов их деятельности. Это не профессионалы, а «кандидаты» и любители, из которых они при случае рекрутируются; званые, но не избранные люди, захваченные общим течением и ему преданные, теснящиеся в тех же рядах, говорящие на том же языке, представители образованной и полуобразованной массы, численность которой дает возможность судить о степени популярности движения. Таким образом, можно искать надпись по данному наперед имени, но иногда и надпись дает новое имя.

При изучении эпитафий будет вместе с тем учтен еще один фактор: они будут рассматриваться по мере возможности на фоне надгробного памятника, частью которого являются с точки зрения их общей истории, их корреляции и выявления тенденций, общих и расходящихся у обоих рядов.

Если круг нашего исследования, таким образом, ограничен достаточно точно, то остается открытым вопрос о возможности собрать весь необходимый материал в критически отсеянном виде, как и вопрос об источниках, которыми можно в этом направлении располагать, несмотря на отсутствие свода надписей. Ввиду многочисленности и малой известности использованных нами трудов эта проблема во всей широте требует специальной, следующей ниже главы, которая ставит своей задачей классификацию отдельных групп источников и характеристику их в смысле содержания, точки зрения и степени надежности. Предваряя ее выводы, скажем, что отсев материала в указанных нами пределах, при неизбежности некоторых лакун и дальнейших поправок, оказывается возможным. Что же касается состава и истории текста эпитафий, послуживших основой для нашего исследования, то результаты критической работы над текстом каждой из них, как правило, выделены в конце в «критической библиографии гуманистической эпитафии»,

расположенной в хронологическом порядке; некоторым спорным текстам посвящены отдельные этюды.

Допустим, что читатель вслед за автором готов признать, пока на веру, возможность постановки темы, объявленной в заголовке книги. Но вслед за этим встает рядом другой вопрос: что эта тема может дать, какова ее историческая, философская и общечеловеческая ценность с точки зрения понимания эпохи и для наших современников, людей XX в., которые так далеки от категорий мышления и нравов эпохи Возрождения и для которых значимость эпитафий совершенно неочевидна сама по себе, а, наоборот, требует разъяснений.

Эта значимость состоит в том, что эпитафия дает не только сумму фактов и не только представляет собой произведение литературы и учености: при всех своих условиях это есть человеческий документ, богатый эмоциональным и интеллектуальным содержанием. В свое время сильнее всех это выразил Понтано в одной из своих надписей из «*Liber tumulorum*» (I, XIII), предназначенных для неаполитанского дворянина Франческо Пудерико:

*Nam mortem vitae pretium, finemque laborum
Iudicat et vitae posterioris iter;
Sunt testes vitae tumuli, finemque fatentur
Esse quidem alterius, principium alterius... [234]*

Ибо о ценности жизни и завершении трудов
Судит смерть, и она же указывает на продолжение пути;
Гробницы, свидетели жизни, свидетельствуют
Также о некоем конце, как и о каком-то начале...

Гробницы и надписи являются для поэта памятниками человеческих борений, трудов и славы, символически вещественными их следами, что люди оставляют после себя на земле. Эпитафия ретроспективна; она прежде всего озирается назад, на прошлое, на жизнь, конечную ценность которой — «*vitae pretium*» — определяет только смерть, как итог. Но вместе с тем она знаменует конец пути, некоторую предельную мету и новое начало. Здесь, в этом конце, около этой предельной черты, всегда и для всех — со времени вавилонского эпоса за две тысячи лет до нашей эры о хождении в страну предков в поисках бессмертия витязя Гильгамеша — в неизбежно-трагическом клубке скопляются раздирающие душу эмоции, и как выход из них — давние традиции, догмы и ритуалы, отражение религиозно-философских идей, связанных с тайною смерти и потребностью ее истолковать. Отсюда и мотив нового начала — «*principium alterius*», который в тексте Понтано преподан утвердительно и догматично, но на самом деле для него и некоторых его современников, как это известно и как мы будем иметь случай убедиться в дальнейшем, становился проблематическим.⁸

Если, принимая во внимание сделанную оговорку, встать на

точку зрения Понтано, то кажется особенно интересным и плодотворным сопоставить и сблизить тему «гуманистов» как носителей сознания эпохи и «смерти» и тем самым поставить исследование в плоскость кризиса мирозерцания. Что дают эпитафии для истории гуманизма и каков в них коллективный профессиональный и гражданский облик гуманиста? В какой мере ударение для них стояло на том следе, который человек оставляет на земле, или, наоборот, на судьбе, что ожидает его за предельной чертой? Насколько и как долго гуманисты-миряне сохранили церковные аскетические устои? Насколько стали ими пренебрегать гуманисты из клириков? Что пришло на смену учению апостола Павла о смерти как порождении первородного греха: «...как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили»?⁹ Что противопоставили гуманисты тем своим современникам, которые искали назидания в «Плясках смерти» и трактатах «De arte bene moriendi»? Каково было влияние на них античной мысли и языческой обрядности? Насколько, наконец, надгробный памятник, в комплекс которого входила надпись, ее повторял или опережал, был с ней в согласии или в конфликте?

Тема «гуманистической эпитафии», конечно, не может при этом исчерпать полностью гораздо более общей темы — «гуманисты и смерть», значимость которой должна оправдать в глазах читателя право нашей книги на существование. В этом автор в полной мере отдает себе отчет, тем более что первоначально задача им ставилась шире. Чтобы исчерпать тему в общем виде, надо было бы привлечь историю похоронного обряда в разных его элементах; воскресшие, по примеру древних, надгробные речи — речи «in funere»; тексты завещаний, столь же обязательных, как обязательна была эпитафия, пространных и выразительных, со статьями «на помин души» — «pro anima», столь распространенные «lettere consolatorie»,** утешавшие в утрате близких. Вместе с ними привлечь эпистолографию в самом широком объеме; поэзию элегий и эпицидиев; памятники изобразительного искусства в их разнообразной символике; философские и аскетические трактаты с упорным возвращением к теме о «бессмертии души» [112; 234; 233; 198; 216], наконец, биографии и драматические повествования свидетелей о последних часах жизни. Таковы, например, рассказ Джанноццо Манетти о речи папы Николая V, обращенной им на смертном одре к кардиналам; записи духовника Луки делла Роббиа о поведении катилинария Пьетро Паоло Босколи перед казнью и ученика о последней болезни Пьетро Помпонацци и многие другие.¹⁰

* «Об искусстве благим образом умирать» (лат.).

** Утешительные письма (ит.).

Дальше следы этих многочисленных источников будут встречаться спорадически, поскольку будут иметь отношение к содержанию текста, истории происхождения или судьбе некоторых эпитафий. Несомненно, что такое ограничение лишит нас в известной мере непосредственности в восприятии прошлого, скроет некоторые оттенки мысли и некоторые из ее противоречий, ограничит горизонт и, наоборот, введет образы и представления условные, отличающие произведения сознательного творчества. Поправку мы найдем в истории текстов и комментариев к ним, которые расширят поле нашего зрения. Намерение наше ограничить источники эпитафиями, кроме того, опирается на то, что ни одна категория источников не представлена так полно.

Таким образом, тема, поставленная нами выше, допускает кризис мирозерцания, отличающий эпоху Возрождения, и рассматривает гуманистов как носителей этого кризиса. Таков смысл нашего детального аналитического вопросника, рассматривающего разные аспекты той же темы. Совершенно очевидно, что эта тема имеет отношение к существу проблемы Возрождения и гуманизма, поставленной современной исторической наукой в связи с ревизией концепций Я. Буркгардта и вопросом об основных «реперах» принятой исторической периодизации: Средние Века, Возрождение, Реформация. Тем самым наше специальное исследование, в свою очередь, вовлекается в эту контрверзу.

В этой контрверзе, разросшейся и затянувшейся, остановимся только на самом существенном. В ней, с одной стороны, уже определились конструктивные элементы нового построения, согласные с нашими выводами, с другой стороны, обнаружился уклон группы историков-неокатоликов и специалистов по истории точных наук, исходя из разных предпосылок, выхолостить гуманизм, лишить его боевой зарядки и критического жала. Собранный нами эпиграфический материал, по нашему мнению, вскрывает тенденциозность этой последней литературы.

В отношении конструктивных новых элементов надо отметить работы, в разной мере выросшие на почве марксизма и трактующие социально-экономический генезис эпохи Возрождения, прежде игнорируемый. В. Зомбарт, А. Дорен, Х. Коот, А. Мартин, М. Гуковский [281; 282; 100; 152; 175; 320] рассматривают Возрождение как эпоху раннего капитализма и на этой базе строят как производную, по типу «*Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen*» [281], так называемую социологию Возрождения. В эпоху ломки старого экономического, политического и общественного уклада гуманисты явились главными идеологическими носителями Возрождения, отразив вражду буржуазии к феодальной иерархии, средневековой церкви, схоластике и школе. Эпитафии дают здесь воз-

возможность следить за разрушительной работой мысли гуманистов в их стремлении к эмансипации.

Параллельно эпиграфике те же тенденции в современной западной историографии констатируют новейшие труды по истории философии Возрождения, которая также долго выпадала из поля зрения исследователей и равным образом труды А. Варбурга и его школы. Авторы первых в лице Дж. Джентиле, Э. Кассирера, Г. де Руджери [126; 127; 64; 253], стоя на разных позициях, решительно вводят в общий круг развития всемирно-исторической мысли гуманистов.

В своей разрушительной работе — в качестве предтеч просветителей XVIII в. (Л. Валла, П. Помпонацци), так же как в созидательной — в новом понятии человечности и в трактовке основных философских проблем в том виде, в каком они унаследованы были от схоластики (о свободе воли, бессмертии души) они знаменуют отрыв от этой схоластики. Критическая филология с требованием чистоты речи дает здесь общий толчок философской мысли.

Рядом с этим А. Варбург и его школа¹¹ вскрывают «возрождение языческой древности» как многосторонний кризис религиозно-философской и научной мысли, сопутствуемый усвоением готовых античных «форм пафоса» и находящий выражение в символах искусства в их круговороте от античности через Восток и арабов к Италии эпохи Возрождения и в рождении новой космологии.

Обратимся к новейшей литературе по истории итальянского гуманизма. Неокатолики-модернисты в лице Л. Пастора, М. де Вульфа, В. Забугина, Ф. Ольджати, Дж. Тоффанина и др. [220; 309; 310; 207; 294] стремятся перебросить мост от церкви к современности и спасти для себя как свой еще один островок культуры. Самый лицемерный из них, Тоффанин, спрашивает на обложке своей книги: «Что такое гуманизм?», чтобы настаивать на еретической окраске мысли XII—XIII вв., в противоположность чему гуманисты будто бы ставили себе задачей прелестью цicerонианства и культом совершенной формы украсить и спасти церковь, в чем и преуспели.

Такую же отрицательную позицию, хотя и с другого фланга, заняли видные историки точных наук в эпоху Возрождения — Л. Ольшки, Дж. Сартон и Л. Торндайк [208; 261; 262; 291], причем последнему тоже присуща клерикальная окраска. Утверждая тезис мнимой вражды гуманизма к возрождению точных наук, они отрицают умственную независимость и значимость гуманистов, представляя их скудными мыслью педантами, чем-то вроде заскорузлых учителей классической гимназии. Неправильному освещению содействует извращение у Ольшки исторической перспективы: положение вещей, справедливое для второй половины XVI в., когда Джордано Бруно противопоставляет в «Candelaio» вырождающихся педантов

приверженцам Коперника, они отодвигают на эпоху предшествующую, когда отношения складывались иначе. Гораздо ближе к истине были старик Гумбольдт и Мейер в своей «Истории ботаники» (IV, 1857), отмечая оплодотворяющее значение гуманизма для естествознания.

«История гуманистической эпитафии», которая мыслится автором как вклад и иллюстрация к контрверзе о сущности и основных признаках Возрождения, должна установить тенденциозность этих построений церковников и исторически недостаточно образованных историков точных наук.

В заключение еще несколько слов для уточнения терминологии. Надо различать разные виды эпитафии, ибо жизнь ее течет по нескольким руслам, хотя истоки на первых порах на некотором протяжении сливаются. Эпитафию-надпись, высеченную и выгравированную на плите, на памятнике, на стене, на своде, эпитафию-эпиграф как документ надо отличать от эпитафии литературной именной, которая фактически не получила эпиграфической санкции. Последняя также остается связанной с определенной исторической личностью и автором могла предназначаться для той же цели, но осталась за флагом как формально менее удачная или забракованная неофициальной цензурой по содержанию. Литературную эпитафию как таковую мы имеем тогда, когда автор с самого начала в вольном подражании античности прибегал к излюбленной форме, не стесняясь никакими посторонними соображениями соблюдения приличий, подходящих сану и месту.

Литературная эпитафия часто близка к «titulus»¹² стихотворной надписи, поясняющей портрет или бюст или являющейся введением к ученому либо поэтическому труду, с той разницей, что первая не имеет связи с памятником изобразительного искусства. Вместе с тем известны случаи, когда «tituli» в такой мере угождали вкусу, что превращались в эпитафии-надписи. Еще дальше от эпитафии-надписи отходит та, что можно назвать эпитафией литературного мотива, воскрешенной «Гермафродитом» Беккаделли Панормиты и заимствующей ту же форму с точки зрения ситуации, легкомысленной или патетической (для оплакивания, как у Понтано в «Liber tumulogum»: «ruellae ripae oppressae», «ruellae in adulterio occisae», «ruellae naufragae»* и т. д. до охотничьего сокола и любимой собаки). С такой же легкостью эпитафия превращалась у подножия бюста Пасквино в шутливую пародию или едкую общественно-политическую инвективу, которая прибегала к фикции посмертного приговора, чтобы предать врага публичному презрению и осмеянию. По содержанию, мотивам и поводу к эпитафии близки «epicedion», «threnos», «elegieion» — греческие

* Девицы, захваченные на берегу, девицы, убитые за прелюбодеяние, девицы, потерявшие кораблекрушение (лат.).

обозначения элегий, первоначально причитаний, которые оплакивали какую-нибудь потерю. Но здесь уже начинается чистая лирика, выходящая за пределы эпитаграмматического жанра.

Исследование посвящено эпитафии-надписи, а остальных родственных видов касается только попутно в связи с историей своего формального развития.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Я. Буркгардт [315. Т. 1. Гл. 10] сообщает несколько фактов в связи с историей эпитаграммы. Антологии эпитафий, вышедшей в 1472 г., касается L. Bertalot [23]; другую, вышедшую из кругов Римской академии, посвященную памяти 16-летнего Чинуцци, описал F. Patetta [221]. Две работы относятся к Понтано: M. Romano [248] — осталась автору недоступной; G. Masucci [176] не выходит из узкой сферы отражения в них семейных привязанностей поэта. Следовало бы ожидать оценки эпитафии от T. L. Rizzo [246], но он почти полностью игнорирует ее, зато можно назвать немало статей и исследований, относящихся к отдельным эпитафиям эпохи, вроде блестящих этюдов G. Spolì об эпитафиях и надгробных памятниках куртизанки Империи и Сатурно Джероне, апостолического скриптора [130; 131]. Знаток города Рима, Spolì здесь, быть может, первый показал, что римские могилы Возрождения скрывают для ученого не меньше сокровищ, чем античные погребения. Специальная литература такого рода, поскольку она касается отдельных текстов, приведена каждая в своем месте в «Опыте библиографии гуманистической эпитафии», помещенной в Приложении. Среди нее надо отметить R. Filangieri di Candida [113], который превосходно описал Tempietto Джан Джовиано Понтано.

² Так Джованни Ауриспа в письме называет Чириако Д'Анкона [12. Vol. 2. P. 185].

³ Обращение Карло Марсуппини к Чириако Д'Анкона [79. P. XLIX].

⁴ Булла 28 апреля 1462 г. «Cum aliam nostram urbem» [283. Appendice. P. 33; 1590. P. 230—231]; см. также: Codex diplomaticus [290. Vol. 3. P. 422—423] и E. Müntz [192. Vol. 1. P. 352—353].

⁵ Текст издан отчасти S. Maffei [169. Vol. 2. P. 519—522]; полностью: P. Kristeller [153. P. 472—473] и G. Fiocco [114].

⁶ Речь идет о кодексе, переданном им каноникам S. Giovanni in Verdura в Падуе [312. Vol. 1. P. 143].

⁷ См. также Приложение. Эскурс I.

⁸ Проблема бессмертия, поскольку она отражена в эпитафии, посвящена глава X; из других источников известны как скептики: Лоренцо Валла, Филиппо Каллимако Буонаккорси, Домицио Кальдерино, Кодро Урчео, Манилий Марулло, Никколо Макьявелли, Пьетро Помпонати. Что касается Джан Джовиано Понтано, то он является эклектиком. Иногда он верен христианским воззрениям [234. De tum. I. 17; II. 22], чаще обнаруживает скепсис [234. De tum. I. 7; I. 15; II. I. II. 2]. В диалоге «Aegidius» Понтано сопоставляет доктрины язычников и христиан; бессмертие во плоти признается, но доказывается словами Ахилла у Гомера.

⁹ К Римл. 5, 12.

¹⁰ О папе Николае V см.: Vita, auctore Janotto Manetti [239. Vol. 3. Pars. 2. Col. 949—952]. О достоверности традиции — T. Pagnot [211. P. 411—3]; L. Pastor [220. Bd I. S. 628—629 и примечание 496¹]; Lucca della Robbia [165]; V. Cian [70] (письмо написаное Antonio Broccardo).

¹¹ «Studien», «Vorträge» der Bibliothek Warburg.

¹² Историю и библиографию titulus'a см. у J. Schlosser'a [268. P. 27—30].

Глава I

ИСТОЧНИКИ

Подлинные надписи, сборники биографий и элогий, антологии, сборники надписей Средних Веков и эпохи Возрождения, общие и местные, ученые каталоги и т. д. Характеристика источников с точки зрения достоверности. «Элогии» Павла Йовия; «Mopimenta Italiae» Л. Шрадера; ранние итальянские эпиграфисты, главным образом Б. Буркелати. Компилятивные сборники эпитафий XVI—XVII вв., эпохи барокко. Новейшие труды по гуманизму. Итоги и возможность использования источников для постановки темы.

Corpus'a Inscriptionum Средних Веков и эпохи Возрождения не существует. Надо указать, где за его отсутствием искать материал.

а) Прежде всего существуют и поныне на местах подлинные надписи, если они сохранились. Но гораздо большее число их осталось в записях, в составе разных трудов. Если группировать эти записи с точки зрения их давности, в хронологической последовательности, то их можно найти раньше всего:

б) в сборниках биографий и элогий, начиная с «Жизнеописаний флорентийцев» Филиппо Виллани конца XIV в. [304], за ними следуют глава о великих мужах у Доменико ди Бандино д'Ареццо в «Fons regum mirabilium univarsi» XV в. [296], приложение к хронике Филиппо Форести да Бергамо конца того же века [20] и, наконец, «Элогии» Павла Йовия [149], который в Комо в своем музее хранил вместе с портретами великих людей их эпитафии, чтобы использовать их в тексте элогий. Кроме сборников биографий есть и отдельные жизнеописания, которые могут быть использованы таким же образом.¹

в) Надо включить и старые антологии, посвященные па-

мятникам эпиграфики и сохранившиеся в рукописном виде или в старопечатных изданиях; в XV в. и начале XVI в. они обычно включают без разбора надписи древности и надписи новые, памятники эпиграфические вперемежку с литературными [57; 23] до тех пор, пока в конце XVI в. не появляются

г) специальные сборники надписей Средних Веков и Возрождения, вроде «*Monumenta Italiae*» Л. Шрадера (1593) и др. В этой области, с одной стороны, работают местные люди, антиквары и эпиграфисты, с другой стороны, по стопам Шрадера, путешественника-иностранца, начинают списывать надписи и другие более или менее ученые ученые путешественники. На основе публикаций Шрадера и Иовия затем идет ряд компилятивных в большей мере сборников, начиная с «*Variarum in Europa itinerum deliciae*» Натана Хитрея [67].

д) Нельзя также игнорировать и ученые каталоги местных писателей или деятелей церкви, тип издания, который складывается также к концу XVI в. у М. Поччанти [229] для флорентийцев, у В. Скардеоне [266] для Падуи, у А. Чакония [68] для кардиналов; все эти каталоги, между прочим, включают также надгробия. Этой традиции остаются верны и эрудиты XVII—XVIII вв. в лице Ф. Аргелати [8] для Милана, Дж. Фантуцци [111] для Болоньи. Дж. М. Маццукелли [179] для итальянских писателей вообще, Ф. Угелли в «*Italia Sacra*» [298] для епископов и т. д.

е) Такую же услугу оказывают авторы, дающие описания церквей или церкви определенного центра, например Дж. Рика [242] для Флоренции.²

ж) В области эпиграфики хронологически последними идут уже современные критические издания надписей по городам, которые представляют разную ценность. Рядом с прекрасной работой Е. А. Чикконья для Венеции труд В. Форчелла по отношению к Риму при всей своей пространности — он включает 14 фолиантов — оставляет вследствие клерикальной тенденции желать многого в смысле точности и полноты.³

з) В конце концов ряд текстов надо искать параллельно в многочисленных поэтических антологиях, издававшихся с XVI в., и в критических современных изданиях лирики Возрождения, где собрана большая жатва разного рода эпиграмм [95; 58—61].

К характеристике источников

Надо считаться прежде всего с гибелью надписей, полной и частичной, случайной и преднамеренной. Разные обстоятельства могли тому способствовать: разрушение и перестройка церквей, реставрация памятников, их перенос в другие церкви, стаптывание на полу надписей богомольцами, бесцеремонный захват

и хищническое использование старых плит для нового назначения, — несмотря на все призывы к пиетету, — политические революции и войны, имевшие следствием уничтожение и увоз памятников, в немалой мере и строгости по отношению к наивной вольности Возрождения, новой духовной цензуры католической реакции, жертвой которой явились даже эпитафии и надгробные памятники пап. Классическая нагота кардинальных добродетелей Пруденции и Юстиции работы Гильельмо делла Порта на гробнице Павла III Фарнезе (ум. 1549) раньше всего была прикрыта одеждой мастером Бернини; великолепный памятник Сикста IV с полунагими богинями Поллайоло, в которых так трудно узнать олицетворение свободных искусств тривия и квадрия, из собора Св. Петра в конце концов попал в музей, а первоначальная эпитафия папы Льва X на его гробнице в Ватикане, где автор оплакивал его как «*deliciae humani generis*»,* была устранена и заменена другой при переносе праха. Хорошо известная П. Иовию и А. Чакконю, она замалчивается по сию пору клерикальной эпиграфикой и историографией XIX—XX вв. в лице В. Форчелла и Л. Пастора.⁴

Все эти превратности создают для каждого отдельного случая свою проблему, которая сводится к проблеме установления текста, современной смерти, и правильной его интерпретации. Историческое исследование заинтересовано, конечно, в первой, наиболее непосредственной редакции. Но из этого еще не следует, чтобы надпись позднейшего происхождения, надпись потомков — если она не выходит из хронологических рамок той же культурной эпохи — значения не имела. Так, около полувека, который отделяет смерть Лапо да Кастильонкио Старшего (ум. 1381) от даты надписи, составленной одноименным внуком, не выводит нас за пределы летописи гуманизма. Но по мере увеличения промежутка между обеими датами наступает момент, когда надписи, внушенные фамильным пиететом или уважением к большому имени, должны выпасть из нашего поля зрения, поскольку их оценки зиждутся на новых критериях.

Исторической критике известны случаи фальсификации эпитафий. Так, например, подделана надпись на могиле Никколо Никколи (ум. 1437), в лучах посмертной славы которого захотел искупаться некий его земляк, флорентиец Франциск Карозий, никакими узами родства или свойства с ним не связанный, из тщеславного желания установить себе более почетную генеалогию [313. Р. 64—65]. На флорентийской же почве, освященной Пантеоном Санта Кроче, выросла недавно лишь разоблаченная фальсификация надписи мнимого изобретателя очков, Сальвино дельи Армати. В данном случае, как доказал

* Усладу рода человеческого (лат.).

Изидоро дель Лунго, подделка вызвана была муниципальным самолюбием флорентийца Фердинанда Леопольда дель Мильоре, который в книге о древностях родного города «*Firenze, città nobilissima illustrata*» (1684) не пожелал уступить пальму первенства Пизе и прибер, ничтоже сумняшеся, к выдумке [94: 185].

Если выше мы имеем дело с попытками сознательного обмана, каковы бы ни были мотивы фальсификаторов, то возможны также недоразумения на почве неверной интерпретации плохо прочитанного текста. В этом смысле любопытна история надписи куртизанки эпохи папы Льва X, знаменитой Империи, по фамилии «*Cognata*», которая была прочитана как «*Corte-giana*», чтобы дать повод к выводам столь же обобщающим, как и поспешным, относительно степени либерализма эпохи [130].

Проблема правильной интерпретации должна быть особо оттенена и ввиду эпиграмматической краткости текстов. Их намеки, условные формулы, аллегорические образы, терминология должны быть вскрыты в сопоставлении с рядом других, относящихся к тем же персонажам и к истории того же времени.

Павел Иовий как источник

Из сказанного вытекает важность современных надписям литературных источников, биографий и сборников, сохранивших много погибших текстов, и прежде всего самых ранних и полных, П. Иовия и Л. Шрадера. Посмотрим, что они дают и насколько достоверны их данные.

При небольшом размере элогий П. Иовия знаменателен его интерес, предписанный, впрочем, античной биографией, к заключительному моменту, к финалу. Он приводит сведения то о завещании и его статьях (для Бартоломео Платины, кардинала Якопо Амманати де Пикколомини, Джованни Аргиропуло, кардинала Алеандро); то о порядке похоронного обряда (для Платины и Домицио Кальдерино); то об обстоятельствах смерти (для Пьер Леоне, Баттисты Пио, Джироламо Алеандро, Архиппиту). Чаще всего, даже как правило, он приводит эпитафии, но эпитафии поэтические и удачные — прозаические отпадают. Элогия обычно заканчивается несколькими текстами этого рода, среди которых рядом с эпитафиями литературными особо выделяется эпитафия-надпись указанием точного местонахождения церкви, даже правой и левой ее стороны, где находится данная гробница. Приводя только стихотворную часть надписи, он вместе с тем часто вносит в свой текст данные прозаической ее части, когда сообщает, например, что памятник Лоренцо Валле был воздвигнут его матерью: Катариной.

а эпитафия миланского гуманиста Мерулло составлена его учеником Ланчино Курцио.

Со своей страстью к злоречью и сенсациям Иовий требует к себе вообще критического отношения, но в смысле интересующих нас сведений проверка не трудна и складывается в его пользу. Не говоря о том, что в смысле доступных для всеобщего обозрения надписей каждый современник был в состоянии его проверить, и это сознание не могло его не связывать. Сличение с надписями, сохранившимися до нашего времени⁵ и изданными в XIX в., а также с критическими изданиями Джан Джовиано Понтано и Анджело Полициано, авторами многих текстов, и сверка с другими свидетельствами, вроде Л. Шрадера и Б. Скардеоне, дают положительные результаты. Ошибается он редко, как тогда, когда приписывает Поджо Браччолини-отцу эпитафию, составленную для его сына Джовани Франческо (ум. 1522), или тому же Поджо авторство мнимой надписи Мануила Хризолора в Констанце — настоящая была составлена Верджеро Старшим. Точно так же *titulus* Амброджо Траверсари он неверно считает надписью. Но во всех этих случаях он имел дело с гуманистами, наиболее удаленными от него во времени. За сказанными исключениями нет основания опорочивать даваемый им материал.

«*Monumenta Italiae*» Л. Шрадера как источник

Итинерарий Шрадера охватывает очень большое число городов и не оставляет в стороне ни одного крупного культурного центра. По собственным записям, составленным между 1557 и 1567 гг., он приводит надписи в церквах, дворцах, библиотеках, на фасадах частных домов, обычно точно их локализуя и отделяя эпитафии, преобладающие по численности, от надписей другого вида. Только в Риме надписи в большей части отнесены к группе церквей, а не к определенному месту. Вместе с тем он включает эпитафии литературные, иногда выделяя их как «*tumuli et inscriptiones quaedam elegantes*»,* местонахождение которых неизвестно (Р. 184—188), а иногда и без оговорок.

С точки зрения не только новейшей, но и современной ему эпиграфики Л. Шрадер не стоит в первых рядах. Тогда как Апиан (истинное имя *Bienewitz* или *Bennewitz*) в 1534 г. издал в Ингольштадте античные надписи *orbis terrarum*** — «*Inscriptiones sacrosanctae vetustatis*» маюскулами и с сохранением деления на строки, пользуясь, очевидно, для своего великолепного издания финансовой поддержкой Фуггера, которому оно

* Гробницы и некоторые искусные [надгробные] надписи (лат.).

** Здесь: Римской империи (лат.).

посвящено. Л. Шрадер такого мецената и магната от капитала за спиной не имел и должен был отказаться от точности как в отношении шрифта, так и деления на строки. Помимо того, он редко приводит даты, не всегда считает нужным списывать до конца и, интересуясь, главным образом, поэтической частью эпитафии, урезывает часть прозаическую. Повторяются ошибки в транскрипции мало знакомых ему имен.⁶ Часто, когда он приводит только имя собственное или прозвище, его надписи можно идентифицировать лишь с помощью других источников; он требует постоянного и обширного критического аппарата, что очень затрудняет пользование им. Без этого аппарата нельзя установить, что под непривычным именем *Luisii Rhetori* (Р. 80^v) скрывается Луиджи Марсили; в лице *Ludovici Patavi* (Р. 282^v) надо видеть Лодовико Одасси; что *Carolus poeta* (Р. 84) известен вообще как Карло Марсуппини Аретино, а *Jacobus Mentebona* (Р. 125) является тем, кого Иовий именует кардиналом Павийским, т. е. Якопо Амманати де Пикколомини, причем прозвище «*Mentebona*» заимствовано из текста той же метрической эпитафии. Можно, также не догадаться сразу, что мантуанская надпись *Peretti* (Р. 337) как известное прозвище философа имеет в виду Пьетро Помпонацци. Наряду с этим, по Л. Шрадеру, гробницу Джованни Боккаччо, что находится в Чертальдо, следует искать в самой Флоренции (Р. 83). Хуже всего обстоит дело с надписью кардинала Карвахалья, составленной кардиналом Виссароном. Она приписана папе Пию II с изменением в двух заключительных строках, где упоминается имя Пия, которое и дало повод к недоразумению. На самом деле эти строки — если привлечь П. Иовия — относятся к гуманисту Джованни Баттисте Пио, который в следующем, XVI веке, был погребен в Риме, в церкви Св. Евстафия. Эта ошибка, в соупутствии грубого анахронизма, встречается как раз там, где Л. Шрадер почему-то не локализирует точно надписей и где он, вследствие этого, допустил слияние двух текстов, отнеся их к третьему, более ему известному лицу. Так как за эпитафией папе Пию II у Шрадера следует эпитафия Карвахалья, приходится предположить произвольный промах при списывании надписей соседних плит. Все эти *qui pro quo* * приводят к тому, что первое знакомство с «*Monumenta Italiae*» не дает возможности воспринять весь их материал в полном объеме; наоборот, к ним приходится возвращаться снова и снова на основании сведений, почерпнутых в других источниках. Как бы то ни было, при всех искажениях, ошибках и анахронизмах Шрадер незаменим как отправной пункт, как ранний, иногда единственный и беспристрастный свидетель, который установил в данный момент местонахождение данной надписи там-то и там-то и сохранил ее текст. При наличности коррек-

* Путаницы (лат.).

тивов, т. е. при сличении с другими независимыми от него записями, он и поныне не утратил своей ценности и своего историографического значения как первый общий свод, ничем до сих пор не замененный. Его громадный по размерам труд, плод германского прилежания — до 800 страниц in quarto* при убогим шрифте, — отразил увлечение надписями Возрождения после увлечения надписями древности.

Ранние итальянские эпитафисты

Заслуги и пробелы Л. Шрадера, неизбежные для первого опыта при широте его захвата, выявляются также при сопоставлении его «Памятников» с трудами местных итальянских эпитафистов, его современников, которые, конечно, не могли не превосходить его, иностранца, точностью, осведомленностью и полной в своем малом масштабе. Все эти труды относятся к северной Италии, в частности к Венецианской области, представляя Венецию, Падую и Тревизо.

«Venetia città nobilissima e singolare» Фр. Сансовино и «Historiae de urbis Patavii antiquitate, et claris civibus Patavinis» Б. Скардеоне (ум. 1574) на фоне описания церквей, архитектуры, нравов и обычаев и в связи с каталогом великих мужей включают эпитафии. У Ф. Сансовино эпитафика занимает главное место в I книге, посвященной церквям; Скардеоне же посвящает ей, кроме того, приложение: «De sepulchris insignibus exteriorum Patavii jacentium», приводя надписи всех тех иноземцев и итальянцев нетуземного происхождения, что нашли последний приют в том городе, который, по меткому слову Э. Ренана, являлся Латинским кварталом для Венеции.

Особый интерес представляет Бартоломео Буркелати, врач и археолог г. Тревизо, которому принадлежат два труда, отделенные друг от друга промежутком более тридцати лет. В 1583 г. вышли его «Epitaphiorum dialogi septem», в 1616 г. — «Commentariorum memorabilium multiplicis hystoriae Tarvisinae locuples promptuarium». Остановимся на каждом из них в отдельности.

Заглавие первого из них «Диалоги» условно. По существу это трактат о древностях г. Тревизо, связанный с надписями местного собора Сан Франческо, написанный большим патриотом и страстным археологом. В «Диалогах» эпитафии сограждан сопровождаются подробными комментариями по истории храма, города, области, фамилий и великих людей, местных и итальянских. Примечания вместе с тем выводят за рамки Тревизо, поскольку расшифровка сигл дает автору основание привлекать надписи античные и даже литературные упомина-

* В четверть листа (лат.).

ния о них у древних; почетные надписи, посвященные Данте, Петрарке и Боккаччо — дать экскурс о надписях, связанных с той же триадой в других городах Италии; эпитафии местных гуманистов соблазняют включить нечто вроде соответственной ранней антологии в зачатке. Есть также ссылки на тревизского предшественника автора, Джироламо Болоньи (ум. 1517) и его труд «Antiquarius», а также на эпитафии, входящие в состав «Сна Полифила», связанного с ядром местного происхождения, любопытное доказательство памяти о загадочном романе в Тревизо [41. P. 134; 175, 176—179, 270—274]. В то же время рядом с другими тревизскими фамилиями автор имеет в том же соборе Сан Франческо свои дорогие могилы: он отводит место эпитафии и поэтической переписке, связанной с памятью его покойной жены. Так собирание надписей, где Буркелати проявляет знание, углубленное внимание и литературный талант, одновременно питается страстью археолога, ревностью патриота и чувствами семьянина.

На одной из последних страниц «Диалогов» автор записывает: «...non qui inciperit, sed qui perseveraverit»* (P. 277). С точки зрения этого девиза терпеливая преданность Буркелати заслуживает всяческого признания. Вторая его книга, «Комментарий», представляет итог упорного труда, труда de longue haleine,** которому посвящена была долгая жизнь во имя дальнейшей разработки той же темы. «Opus historicum plurimum relator antiquitatum...»*** (P. 15) делится на три части: 1) prolegomena seu praeloquia;**** 2) свод надписей г. Тревизо, преимущественно эпитафий с делением их по лестницам на эпитафии клириков и мирян и расположением по иерархии церковной, феодально-коммунальной и ученой по факультетам университета; те, которые соответственно перекрестным признакам имели отношение более чем к одной иерархии, входили в две и более рубрики. Включены были и надписи тревизские, античные, и надписи из «Сна Полифила», хотя и с оговоркой [41. P. 467—472, 479]. 3) Кроме того, несколько индексов и каталогов: список церквей и других архитектурных памятников города, список подеста с 1173 г., список использованных авторов с библиографией (P. 41—69), куда входят также библиография трудов Буркелати, наконец, хроника г. Тревизо.

Как «Диалоги», так и «Комментарий» Буркелати посвящает землякам — гражданам Тревизо, «perillustribus Tarvisii antianis provisoribusque delectis cum civibus cunctis»***** (P. 3), как

* Не тот, кто начнет, но тот, кто успешно доведет до конца (лат.).

** Длительный (фр.).

*** Труд исторический, представляющий множество древностей (лат.).

**** Предисловие или вступительное слово (лат.).

***** Славнейшим старейшинам и возлюбленным почитателям со всеми гражданами (лат.).

десятину или дар — «*laborum fructus et munera*»* (Р. 4), считывая на читателей ученых и просвещенных, «*pro studiosorum coetu ingeniorum*»** (Р. 15). Так как цель его при этом сводится к тому, чтобы служить «городу и отечеству и распространить их имя и славу по Италии и за Альпами» (Р. 21.23), то он пишет по-латыни, на языке науки, Академий, ученых (Р. 24), тем более, что никто не сомневается, что латинский язык заслуживает большего уважения, нежели язык итальянский, язык простонародья.

Самый сорус занимает примерно полкниги, причем надписи изданы с сохранением деления на строки, но обычным шрифтом — маюскулы очень увеличили бы объем книги, — изъясняет автор (Р. 117—118). К надписям даны аннотации разного содержания.

Но эпиграфика была для Буркелати не только страстью антиквара: патриот импульсивный и эмоциональный, он в качестве такового находил нужным восполнять пробелы в надписях и составлять эпитафии тем, кто их не имел, отнюдь не анонимно, а с полной своей подписью. Эти свои эпитафии, всегда пространные, он приводит рядом с другими, так что собрание надписей г. Тревизо иногда превращается в собрание сочинений Буркелати. Некоторые из них, например метрическая эпитафия Венанция Фортуната, родом из Тревизо, который сам в сане епископа так много потрудился в том же литературном жанре, была составлена Буркелати по посторонней просьбе (Р. 404); но большинство вызвано было личной инициативой. Среди них, кстати сказать, была и эпитафия Полифилу, герою романа «*Hypnerotomachia*» (Р. 410). Надписей, составленных Буркелати, так много, что может возникнуть сомнение, не ограничился ли он в большинстве случаев сочинительством. На это предположение наводят его оговорки в предисловии по поводу того, что им помещены также элоги, которых нет на месте: он пользовался рукописными сводами предшественников и прибавлял таковые собственного сочинения (Р. 107). На самом деле сказанное обстоятельство отнюдь не должно умалить доверия к нему как эпиграфисту: между собственным и чужим водораздел всюду сохранен.

По сравнению с «Диалогами» ученая база автора как эпиграфиста еще расширилась, он приводит de visu надписи итальянских городов: Падуи, Вероны, Рима, Неаполя и др. Рядом с этим он проявляет широкую начитанность в современной ему соответственной литературе и умение критически в ней разобраться. Выше всего как эпиграфиста он ставит Шрадера, хотя отмечает его пробелы, один из которых — в отношении род-

* Плоды трудов и дары (лат.).

** Для собрания благодородных ученых мужей (лат.).

ного города — стремится восполнить, а как поэту от эпитафии он первое место отводит Понтано (Р. 204).

Но книга Буркелати желает быть чем-то большим, чем собранием материалов и хроникой. В своих многочисленных и многословных предисловиях: к анцианам и гражданам г. Тревизо, к ученому христианскому философу-другу, к благородному читателю в «*auctoris praeloquia*»* и в послесловиях: к тем же землякам и, наконец, не больше и не меньше, чем в обращении к самой Смерти с большой буквы, Буркелати, как типичный писатель барокко, в унисон своей архитектонике нагромождает страстные тирады, взволнованные периоды накопленных любовно синонимов и бесконечных перечислений, обгоняющих друг друга предметов и образов. Он подходит к своему предмету от «*meditatio mortis*»,** от гражданско-патриотического пафоса, от гуманистической антикварной филологии и дает насыщенную всеми эмоциями диссертацию на ряд тем, связанных с эпитафией.

Речь идет о пиетете к гробницам (гл. V); о выборе для эпитафии латинского языка (гл. VII); о причинах исчезновения и уничтожения надписей (гл. XI); о способах составления их (гл. XVI); о синонимах смерти, ее оценке как блага и зла, ее различных видах (гл. XVIII—XX); о днях поминовения, кладбищах, похоронных обрядах, наконец, о цветах красноречия и поэтических метафорах — «*poetische grazie*», которые специально предназначены для украшения эпитафии (гл. XXVII). Но реалии, конечно, больше почерпнуты из древности, чем из современности автора.

Указанные особенности трудов Буркелати заставляют ценить его в двух направлениях: с одной стороны, как источник, а рядом с этим, как эхо стимулированных эпиграфикой эмоций и интересов его эпохи во всем их объеме, во всей их остроте.

Компилятивные сборники XVI—XVII вв.

Интерес к эпиграфике античного и нового времени вызвал в конце XVI в. и XVII в. целый ряд компилятивных сборников, включающих преимущественно эпитафии. Первые соответственные опыты Натана Хитрея (1594) и Ф. Свеерция (1608) вышли под заглавием «*Deliciae*», могущим по несоответствию ассоциаций ввести в заблуждение читателя XX в., который вряд ли был бы способен подойти к данному предмету в поисках «наслаждений»: «*Variorum in Europa itinerum deliciae...*»,

* Предисловие автора (лат.).

** Размышление о смерти (лат.).

«*Selectae christiani orbis deliciae*»*... Более поздние сборники П. А. Канонерия (1627) [51a], О. Айхера или Д. Рихеа (1675) и Ф. Лаббэ (1686) носят более подходящие к содержанию заглавия: «*Flores illustrium epitaphiorum*», «*Theatrum funebre*», «*Thesaurus epitaphiorum*».**

Из составителей только Хитрей побывал в Италии, остальные черпали у Иовия, Шрадера и других источников, рукописных и печатных. Все эти сборники, при европейском масштабе материала, но где Италия всегда представлена в большой мере, характеризуются установкой на «*meditatio mortis*» как возвращение к превзойденному эпохой Возрождения этапу, установкой на учительную цель, на эпитафии великих людей или замечательные по содержанию. Всякий объективизм им чужд. Они теряют характер историко-литературный и исторический, присущий П. Иовию и Л. Шрадеру. «Пользу и приятность» своей книги Хитрей видит в том, что она призывает к «*meditatio mortis*» многообразными примерами суетных похвал перед лицом небытия, являет разные «виды смерти» и столь же различное отношение к ней близких и остающихся. Канонерий хочет смягчить страх перед ней эстетическим наслаждением поэзией гробниц, пропагандировать пietet к памяти усопших среди неблагодарных людей и наследников и учить достоинству и мере в изъявлении скорби надеждой на бессмертие.

При таком подходе понятно, что составители не считали нужным не только строго разграничивать надписи от «*tituli*» и эпитафий литературных, но даже точно их датировать и локализовать. Для вящей поучительности не всегда даже помещены имена тех лиц, к которым относится надгробие, ибо, по мнению Канонерия, все это неважно ни живым, ни мертвым. Только Ф. Свеерций и отчасти Ф. Лаббэ ограничивают вольность в этих направлениях.

Установка на каталог знаменитостей и на пикантность или поучительность содержания берет начало от первой по времени антологии Н. Хитрея. Он выбирал те образцы, которые «содержат особое поучение или спасительное назидание, или относятся к какой-нибудь достопримечательной истории, или отличаются особо умом, элегантностью, остроумием» (Р. IIIV).

Принцип классификации остается топографическим только у Хитрея и Свеерция; Айхер и Лаббэ заимствовали от издателя латинских надписей Грутера классификацию фамильную, по родственным отношениям, и хронологически-иерархическую, которая ведется, конечно, от древности. Она строго выдержана

* «Услады различных путей Европы...», «Избранные услады христианского мира» (лат.).

** «Цвет славнейших эпитафий», «Фунеральный театр», «Сокровищница эпитафий» (лат.).

у Айхера, а у Лаббё сочетается и перебивается распределением по формально-стилистическим признакам.

Более ранние сборники при топографическом порядке включают, помимо эпитафий и всякого другого содержания, надписи, в более поздних представлены также надписи античные. Большая часть сборника Канонерия включает эпитафии литературные. Состав, таким образом, пестр и беспорядочен, единообразной редакции нет нигде.

Н. Хитрей назначение своей небольшой книжки видел в том, что она одновременно избавляла от необходимости передвижения, так как в ней все можно было прочитать, сидя на месте, и в то же время она могла служить туристу как путеводитель. Его сборник, вышедший в ряде изданий, и все последовавшие за ним доказывают, что они действительно удовлетворяли современной им потребности и любопытствующему спросу на эпитафию нового времени, являясь источником своеобразных наслаждений — «*deliciae*», для каких-то многочисленных до некоторой степени образованных читателей, коим доступен был латинский поэтический язык. Но, помимо такой их показательности, они при всех дефектах часто хранят крупницы записей, представляющих фактическую ценность, и заслуживают поэтому внимания.

Итоги отсева материала

Выше были рассмотрены самые ранние и основные труды разных категорий, которые явились отправным пунктом для отсева материала согласно интересующему нас признаку. Наличие этих трудов в связи с данной им характеристикой показывает осуществимость и возможность подбора эпитафий в определенном направлении, и можно заранее сказать, что трудность задачи вырастает не из скудости источников, а из чрезвычайной разбросанности материала по источникам и качественной неполноценности последних. Окончательные итоги отсева сводятся, примерно, к двумстам датированных и именных текстов, подавляющая часть которых относится к гуманистам в широком смысле слова, но на фоне общей университетской жизни. Можно ли почитать такое число достаточным для каких бы то ни было выводов и, в частности, можно ли считать примерно исчерпанным материал гуманистической эпитафии, на которую делается упор?

По этому поводу надо сказать, что в данной области пробелы несомненны, но отчасти неминуемы и в будущем. Известны случаи гибели надгробий, не сохраненных в записи, как эпитафия Георгия из Трапезунда в Риме, которая была затоптана молещиками [312. Vol. 2. P. 6]. Интерес представляют надписи, не выходящие из хронологических рамок исследова-

ния, и приходится отбрасывать надписи позднейшего происхождения, хотя бы они были подлинные, как надписи Никколо Перотти, Христофоро Ландино, Никколо Макьявелли, Андреа Новаджеро, Антонио Тебальдео, не говоря уже о поздних надписях фальсифицированных, как то установлено для Никколо Никколи. В других случаях эпитафий или не существовало вообще, или гробницы по тем или иным основаниям на первых же порах были заброшены и забыты. Веспасиано да Бистиччи сообщает, например, что Поджо Браччолини оставил распоряжение относительно установки памятника и надписи в Санта Кроче рядом с прекрасными гробницами своих предшественников на посту флорентийского канцлера, Леонардо Бруни Аретино, и Карло Марсуппини, но завещание осталось неисполненным [302. P. 426]. Из современников и земляков Поджо — Амброджо Траверсари и Джанноццо Манетти были похоронены во Флоренции, но без надгробий.⁷ Место последнего упокоения Леона Баттисты Альберти неизвестно [171]. До самых последних лет неизвестны были точные даты смерти Чириако д'Анкаона и Эноха д'Асколи, Дзаноби да Страда и Пьетро Паоло Верджеро Старший скончались на чужбине, один в Авиньоне, другой в Будапеште, где некому было позаботиться для них о «*honor sepulcri*».*⁸ Лишены были церковного погребения погибшие на плахе, вроде Пандольфо Колленуччо, или самоубийцы, как Косма Раймонди из Кремоны. Не могли его иметь и без вести пропавшие, вроде Помпонио Гаурико. Есть, таким образом, рубрика, — и здесь она отнюдь не исчерпана, — которая должна быть озаглавлена «*Ignorabimus*».**

Это не значит, конечно, что круг специально интересующих нас надписей не может быть увеличен, даже за счет уже опубликованного материала, в особенности монографий XX в., посвященных гуманистам второго и третьего рангов, не говоря о том отдаленном времени, когда надписи Возрождения дождутся критического полного издания. Но условия научной работы автора, который мог пользоваться только ленинградскими библиотеками, если не считать двух десятков томов, предоставленных Берлинской библиотекой, и заканчивал свой труд в провинции, исключали возможность исчерпывающего знакомства с литературой, в особенности новой. Несмотря на это, собранный материал казался достаточно законченным и значительным, чтобы оправдать постановку темы и попытку синтеза.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Можно указать биографию Кодро Урчео, составленную Бианкини, и биографию Филиппо Буанаккорси (см. Приложение Опыт библиографии гуманистической эпитафии).

* Достоинство погребения (лат.).

** «Не узнаем» (лат.).

² Труд G. Sarpelletti [52] остался автору неизвестным.

³ См. главу VI, эпитафию Лоренцо Валлы и Экскурс III.

⁴ См. Приложение. Экскурс III.

⁵ Надгробия Джованни Пико делла Мирандола, Эрмолао Барбаро, Джан Джовиано Понтано, Ланчино Курцио, Марсилио Фичино, Христофора Лонголия, Иоанна Ласкариса и др.

⁶ Volranio вместо Bolzanio [270. P. 303^v]: Ulasius Pelasanus вместо Blasius Pelasanus [270. P. 395^v]; Marcанона вместо Marcанова [270. P. 15]. В особенности пострадало фамильное имя Della Torre или Turriani из Вероны. Шрадер прочел его Moturriani, соединив последний слог имени Gigolano с фамильным именем в неслыханной комбинации [270. P. 332^v].

⁷ По поводу Амброджо Траверсари см. J. Mabillon [168. T. 1. Pars I. P. 180]; по поводу Джаноццо Манетти, который был похоронен во Флоренции, Сан Спирито: G. Rica [242. Vol. 9. P. 5]; M. Poccianti [229. P. 88].

⁸ О Дзаноби да Страда см. P. Guidotti [137. P. 249—294]; о Пьетро Паоло Верджерио: L. Smith [279. P. 149—157].

Глава II

ИСТОКИ: ЭПИТАФИЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ И АНТИЧНАЯ

*Средневековая эпитафия ученого-клирика IX—XI вв. Эпитафия XII—XIII вв. универсального схоласта. Общие черты в отношении содержания, стиля и метрики. Философия смерти от апостола Павла. На пороге гуманизма: эпитафия и гробница Ловато де'Ловати, мощи Антенора. Состав латинских эпитафий в их эволюции. *Carmina sepulcralia latina*.*

Пусть в Средние Века эпитафия никогда не умирала, пусть существовала под теми же именами, так же предпочитала латинский язык, так же, хотя и реже, прибегала к размеренной речи. Но не надо забывать, что этот вид словесности, как многие другие, прошел через отцов церкви и через монашескую школу. Известно, что культ эпитафии разделялся папой Дамасием, Св. Амвросием, Паוליном из Нолы, Св. Иеронимом, Сидонием и Фортунатом [123. P. 211]. Позднее, во имя освященной ими традиции, по братским монастырям рассылались «*grotuli et brevia mortuorum*», списки представших для поминаения и молитв. Они же вдохновляли на «*tituli*» — сетование в стихах по поводу смерти замечательных чем-либо людей.¹ Вместе с тем можно пожалеть, что дошедший до нас материал, систематически почти не собиравшийся, очень скуден,² и в частности, в области традиции, которую можно связать с гуманистами. Эпитафии ученых, в особенности в раннее Средневековье, представлены слабо, соответственно состоянию культуры. Любопытно отметить, что, поскольку в IX—XI вв. и в Италии, несмотря на существование светской школы, образованность оставалась преимущественно достоянием клира, самые ранние надгробия относятся к лицам духовного звания, причастным к просвещению, а с XI в. — эпохи расцвета университетов — к про-

фессорам-схоластам, и в виде исключения — к канцлеру, представителю красноречия, «*artis dictandi*».*³

В IX в. объем науки скромн, но включает упражнения в метрике, коим своих учеников обучал Сан Донато, епископ фьезоланский:

*Gratuita discipulis dictabam scripta libellis,
Schemate metrorum, dicta beatum senum.*⁴

Ученикам твердил я поучения из книг,
Правила стихосложения, речения блаженных отцов.

На пороге XII в. в миланском канонике Гвидо, который на-читанностью в древних, судя по виршам эпитафии, мог поспори-ть ученостью с известным Гунцоне, автором инвективы про-тив монахов Сан-Галленского монастыря [202], хотели видеть претечу гуманистов:

*Leto Widonis moriuntur dicta Platonis,
Leto Widonis deletur opus Ciceronis,
Leto Widonis tacuerunt facta Maronis,
Leto Widonis cessavit musa Nasonis.
Pitagoras, Socrates, Plato, Tullius et Maro vates
Quicquid senserunt, quicquid cuncti docuerunt,
Hauserat hic totum; placet ergo fundere votum
Liber ab inferno regnet cum rege superne.*

Со смертью Гвидона умерла слава Платона,
Смерть Гвидона разрушила дело Цицерона,
Со смертью Гвидона замолк Марон,
Со смертью Гвидона погибла муза Назона.
Что бы ни передумали, чему бы ни учили
Пифагор, Сократ, Платон, Туллий и Марон,
Он все исчерпал. Итак помолитесь,
Дабы избавился он от ада и вознесся к Всевышнему Царю.

При нагромождении классических имен замечательны не только утверждения, но и умолчания этого текста, как было отмечено А. Графом. «Не в качестве христианина, не в качестве служителя церкви, не в качестве праведного исполнителя божественного закона заслуживает этот Гвидон, по мнению анонимного эпитафиста, в награду царство небесное; награда ожидает его за то, что он богат поэтическим даром, красноречив и умудрен античной ученостью. И все это мы читаем на могиле, лицом к лицу со смертью, развенчивающей человеческое величие, вечным символом бренности земных благ» [134. Vol. 2. P. 171—172; 249. Vol. 1. P. 232—233]. Не оспаривая комментариев по существу, надо заметить, что данный текст нельзя целиком отнести за счет культуры итальянской. Дюммлер первый опубликовал его по германской рукописи Трирской соборной Библиотеки № 93 [103, S. 181], которая написана в предместье Падеборн в монастыре Абдингофе, но прежним жителем города Оксерр в Бургундии, где скончался магистр Гвидон, милан-

* Искусству письменного красноречия (*лат.*).

ский каноник. Надо полагать, что составитель, монах монастыря Абдингоф, который первый состав братии получил из Клуни, учился в Оксерре у Гвидона. Эпитафия, следовательно, написана бургундцем на германской почве, хотя и внушена личностью и школой итальянца. Но и с этими оговорками текст в своей исключительности представляет важное раннее звено в истории классической традиции, всегда подозрительной для церкви, хотя бы и воплощенной в клириках. В лице Гвидона и Гунцоне мы, очевидно, имеем единомышленников Вильгарда, равеннского грамматика, их современника, позднее осужденного за ересь. Тому во сне являлись демоны под лживым обликом античных поэтов во главе с Вергилием, благодаря за ревностное их изучение и обещая приобщить к их славе. Для всех этих поклонников античности оправдывается слово летописца Радульфа Глабера: «В Италии всегда пренебрегали другими свободными искусствами ради грамматики» [210. Р. 10].

Около 1200 г. эпитафия переносит нас на следующую ступень, на высту универсальных схоластов, соответственно чему и надпись, своего рода микрокосм, приобретает торжественную широковещательность, как у болонских глоссаторов Одофредо и Бозиано или Базиано из Кремоны, учителя Аккурсия и Ацоне и в особенности у Боргондио или Бургундио из Пизы, судьи, богослова, поэта и медика:

*Omne quod est natum terris sub sole locatum
Hic plene scivit, scibile quicquid erat.*

Все, что ни родилось на земле и ни жило бы под солнцем,
Он знал так же хорошо, как все, что можно было знать.

Бургундио притом также приобщился классической учености и, приняв участие в посольстве в Константинополе, проявил познания в греческом языке:

*Optimus interpres graecorum fonte refectus,
Plurima Romana contulit eloquio...*

Превосходный толмач с греческого, из обновленного источника
Он много перевел на латинский язык...

В той же связи можно упомянуть болонскую надпись Мондино де Луцци (1318), знаменитого как первого университетского преподавателя анатомии на трупах, «равного Гиппократу» «в таланте возвращать жизнь умирающим».

При ограниченном числе образцов эпитафия периода схоластики в отношении содержания, стиля, размера имеет ярко выраженные постоянные признаки, независимо от того, принадлежит ли она Пизе, Болонье, Падуе или Риму.

В смысле содержания в ее канон входит нравственная оценка личности, изъявление надежды на бессмертие и презрения к миру. Последнее как неотъемлемый элемент отмечено в XIII в. Буонкомпаньо из Флоренции, болонским профессором

грамматики и риторики «*artis dictandi*» в его руководстве: «*Capdelabrum Eloquentiae*» или «*Retorica antica*». На гробницах знатных персон и ученых мужей, по Буонкомпаньо, «начертываются эпитафии и стихи, которые сохраняют в памяти потомства их достоинства и заслуги, а в конце всегда твердят о пресрени к миру» [46. S. 21; 285; 87. Bd 1. S. 810 sq.].

Этого требует мрачная философия смерти Средних Веков, которая позднее нашла себе одинаковое выражение под разными долготами и широтами столько же во Франции, Фландрии и Германии, сколько в Италии, в лирике, проповедях и трактатах «*de arte bene moriendi*» в той же мере, как в надгробных памятниках и в быту. Ею вдохновлялась баллада «*Lis trois Morts et lis trois Vifs*»,* а затем многообразные гриумфы и пляски смерти, в проекции ли на фреску, полотно, лист гравюры или на подмостках в виде образов мистерии [303; 99; 170; 145. Кар. 2; 237. Кар. 3].

В той капле воды, отражающей господствующий образ, какой в данном случае является надгробие, типична в смиренно-мудрии и отталкивающем натурализме падуанская надпись грамматика и хрониста Роландино (ум. 2 февр. 1276 г.):

Grammaticae doctor, simul artis rhetoricorum
Rolandinus eram; nunc Rege iubente polorum
Vermibus hic escae jaceo; quam tu tibi sortem
Qui legis exspecta: neque fas tibi iallere mortem

Доктор грамматики, а также риторики
Я носил имя Роландино; ныне по воле царя небес
Лежу здесь добычей червей; ту же участь ты,
Читатель, ожидай для себя: и ты не избежишь смерти

В смысле формы для схоластической эпитафии характерна пространность; у Боргондио из Пизы (ум. 1194) она разбухает до 30 строк, у глоссатора Бозиано из Кремоны (ум. 1197) — до 24.

Эта пространность нужна потому, что надпись, по правилам риторики, в четком расчленении имеет обязательное введение, которое оправдывает ее существование, обещая объяснить читателю, сколь именитого мужа заключает гробница:

Quis, qualis, quantus jacet hic in marmore clausus
(Borgondio)

Кто, какой, сколь замечательный муж лежит под сим мрамором

Quis sit, metra docent, quae subscribuntur in illo. . .
(Bosiano)

Кто это был, поясняют стихи, начертанные на плите . . .

* «Трое мертвых и трое живых» (старофр.)

Надпись разбухает и потому, что в стремлении быть законченной и самодовлеющей она включает даты рождения, смерти и длительности жизни, и притом не просто, а подчиняясь требованиям размера, в парафразах, в сложных описательных арифметических формулах, операции которых подлежат вычислению, а иногда требуют разгадки. Так, например, год смерти Бозиано дан приведением вычитаемого и уменьшаемого:

Si tres excipias annos de mille ducentis,
Terminus occurret, quo mortis jura subivit.

Если вычтешь три из тысячи двухсот,
То найдешь год, когда он покорился закону смерти.

Наконец, в отношении размера средневековую эпитафию отличает примитивный вкус к «esametri caudati», «distici leonini», которые вытесняют античные гекзаметры и дистихи. Тяжеловесная и однообразная рифма, слышная самому неискушенному уху, обрубает не только концы строк — *in cauda*,* но завершает и вторую или третью стопу — *in pectore*,** причём У. Ронка считает эти размеры характерными главным образом для верхней Италии, тогда как в Риме и в центральной Италии в большей мере культивировались размеры древности [249. Vol. 1. P. 279].

В истории эпитафии нет скачков, хотя есть провозвестник: Гвидон-каноник. Все остальные тематические и стилистические признаки сложившейся средневековой надписи — и пространный, и парафразы дат, и «distici caudati» — повторяются, как мы увидим, и позднее; запаздывающие встречаются всюду. Но есть вместе с тем грани, диалектический пример начала и конца. Генеалогию эпитафии можно вести из Падуи, от Ловато де'Ловати, в латинизированной редакции Лупато де'Лупати, «рыцаря, судьи и поэта» (ум. 7 марта 1309 г.), соратника и старшего друга Альбертино Муссато. Самый текст, впрочем, как будто оснований таких не дает. В засвидетельствованной автоэпитафии с сиглей V. F. — *vivens fecit**** Ловати дает вариацию на тему о презрении к миру. В первом четверостишии начальная риторическая ухищренная строка вовлекает в *danse tascabre***** роковое имя смерти, склоняя его пятикратно в разных падежах:

Mors, mortis, morti, mortem, si morte dedisset. . .

тогда как ниже, во второй строфе, путник читает стародавнее «*memento mori*», построенное на игре словом, на игре глаголом «*esse*», выражающим понятие «бытие» и спрягаемым в разных лицах и временах:

* Букв. — в хвосте (лат.).

** Букв. — в груди (лат.).

*** Сделана при жизни (лат.).

**** Танец смерти (фр.).

Id quod es, ante fui; quis sim post funera quaeris?
Quod sum (quicquid id est) tu quoque, lector, eris.

Раньше я был тем, что ты есть ныне. Чем, вопрошаешь ты,
стал я после погребения?
Чем будешь ты, читатель, и всякий другой, кто бы он ни был.

В круговороте общего течения избежит гибели только «огненная часть», душа, а суетное имя «Lupi» исчезнет. Центральная часть — *memento mori** — представляет формулу античной мудрости гробниц,⁵ которая в упорном повторении так примелькалась в Средневековьи, так давно и органически с ним ассимилировалась, что происхождение ее было забыто, и она приобрела и вообще, и для нашего автора в частности, штамп мудрости аскетически-церковной, здесь преподнесенной в изысканно-претенциозном стиле.

Но если шаблонно содержание нашего манерного мадригала, если он в бессознательном усвоении античного наследия слишком бьет на эффект и в то же время выдает потуги ученого педантизма на словесный акробатизм, то совершенно иного порядка ассоциации, связанные с ним и с гробницей Ловато де'Ловати. Он похоронен был в саркофаге, им воздвигнутом себе при жизни в храме Сан Лоренцо с таким расчетом, чтобы между его собственной гробницей и его домом находилась так называемая гробница Антенора. В 1283 г. в Падуе были найдены останки античного воина. Ловати убедил своих земляков в том, что это прах легендарного основателя Падуи, троянца Антенора, в истинном существовании которого никто из его «потомков» тогда не сомневался. Кости заключены были в саркофаг, и ныне стоящий на старом месте под четырьмя тяжеловесными колоннами, и на нем выгравирована была метрическая надпись сочинения Ловати. Обретением античных мощей и можно начать новый период в истории эпитафии. Гробница Ловати, по его сознанию и воле, была освящена троянской бэлью, хотя бы надгробие, в качестве его же творения, и учило «*meditationi mortis*». С этого времени могилы латинских предков становятся священны, а надписи на них являются предметом изучения и подражания. Начинается возрождение языческой древности.

Здесь уместно еще раз обернуться назад и сосредоточить внимание на античной эпитафии, предпослав Средние Века — древности в том хронологически перевернутом, но согласном с диалектикой развития порядке, в котором XIV в. отправлялся обратно, в глубь времен, в старину, отталкиваясь от схоластов. Наш обзор при своей краткости должен будет на этом отрезке времени взять не какую-нибудь отдельную разновидность эпитафии, как это было сделано для Средне-

* Помни о смерти (лат.).

вековья, а выделить ее общие признаки, которые впитывались эпитафией гуманистической из всей массы античной эпитафики *en bloc*.*

Черты эпитафии античной мы сейчас различаем, конечно, отчетливее уже потому, что располагаем материалом для суждения более обширным, чем гуманисты, которые начинали его собирать. Если нам поэтому и несколько трудно поставить себя на их место в смысле полной адекватности характеристики отодвинутому от нас историческому моменту, то задача облегчается тем, что мы можем следить, как постепенно элементы эпитафии античной вливаются в эпитафию гуманистическую и таким образом контролировать объем и этапы знакомства второй с первой [49. P. 245—257; 123, 97].

Надгробные надписи составляют главную массу латинских надписей. Древнейшие очень кратки и не дают ничего, кроме имени. Постепенно с III в. до н. э. они становятся обстоятельными и даже растянутыми. В смысле состава:

1) с эпохи Августа они обычно начинаются посвящением мапам — *Manibus, Diis Manibus*. Существенными частями, кроме этой начальной формулы, являются:

2) имя, с указанием фамилии, рода, родины или местожительства, иногда имени отца или супруга, далее ранга илисловия умершего, причем приводятся главные занимавшиеся им должности или дается полное их перечисление — *cursus honorum*. Сюда могли присоединяться упоминания об общественном характере деятельности умершего, а также перечисление достигнутых его деятельностью результатов. У людей низших классов приводится профессия умершего, с принадлежностью к той или иной признанной государством или вообще известной ремесленной корпорации кратко: *faber, pictor* и т. п. или с присоединением указания на место, например, *aurifex de sacra via, argentarius macelli magni*;** у артистов: число, место, повод одержанных ими успехов:

3) возраст покойного или дата рождения (редко) и смерти: *vixit annis* или *annos...* (*V. A.*) или *defunctus annorum* (*D, D. E. F. A. N.*).***

4) Формулы, которые указывают, что покойный похоронен в гробнице с данной надписью (в отличие от почетной гробницы): *hic iacet* (*H. I.*); *hic situs* или *sepultus est* (*H. S. E.*).****

Следуют затем дополнения разнообразного свойства:

5) характеристика нравственных качеств покойного, иногда очень краткая (*bona, pudica, carus suis, patronis placu-*

* Целиком (*фр.*).

** Кузнец, живописец... золотых дел мастер со Священной дороги, серебряных дел мастер с большого мясного рынка (*лат.*).

*** Прожил... лет, жил... лет (*лат.*).

**** Здесь лежит, здесь покоится, здесь погребен (*лат.*).

it), * позднее манерная, широковещательная. Выражение скорби о понесенной утрате.

6) Слова прощания и добрые пожелания, обращенные к покойному: *sit tibi terra levis* (S. T. T. L.); *ossa tua bene quiescunt* (O. T. V. Q.), ** и, наоборот, привет покойного к прохожим и их ответы.

7) Указание на размер территории, принадлежащей надгробному памятнику.

8) Имена тех, кто воздвиг памятник, родственников или друзей, или указание на сооружение его за государственный и общественный счет: *ex decurionum decreto, publico decreto decurionum*, *** или, наконец, ссылки на завещание.

9) Запрещение наносить вред памятнику под угрозой штрафа, которому подвергается виновный.

Поэтические эпитафии, «*Carmina sepulcralia latina*», в знатных римских семьях появляются уже с III в. до н. э.; затем обычай демократизируется. Первоначально эпитафия пишется в 3-м лице; со II в. есть пьесы, написанные во 2-м лице, представляя обращение путника к мертвому, и, наконец, в 1-м лице (38. 958). Развитие эпитафии параллельно развитию элегии и эпиграмм. Ограниченная вначале несколькими стихами, она постепенно «привыкает» к пространности под влиянием близких жанров, от которых заимствует риторические приемы, украшения и рефлексию смерти. Позднее рядом можно указать эпитафии, которые являются подлинными и выразительными автоэпитафиями возницы, моряка, ми-ма и т. п. [38. II. 1279; 66. N 1148; 6. N 68; 187. Vd I. S. 108]. В дальнейшем изучение гуманистической эпитафии покажет постепенное ее приближение к этому древнелатинскому пласту, который она научилась различать и видеть вслед за пластом средневековым и под ним.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. Du Cange. Glossarium. Слово «titulus» [102].

² Библиографию 32 эпитафий XI—XII вв. приводит U. Ronca [249. Vol. 2. P. 87—88]. Больше всего материала дает L. Schrader [270], а для средневековой поэтической эпитафии у схоластов вне Италии — M. Manitius [170. Vd 3. S. 727, 777, 795, 814, 899, 914, 922].

³ См. Приложение. Опыт библиографии гуманистической эпитафии. Гвидо да Пиза, канцлер, 1153 г.

⁴ Аналогична эпитафия Стефано да Новара (ок. 970 г.) — Ms. капитула Новарского собора. См. U. Ronca [249. Vol. 1 P. 212].

⁵ *Viator, viator! Quod tu es, ego fui, quod nunc sum, et tu eris.* См. E. Engström [105. N 43] и др.

* Добрая, скромная, дорогой близким, угоден был патронам (лат.).

** Да будет тебе пухом земля, покоятся благим образом твои кости (лат.).

*** По декрету декурионов, публичным декретом декурионов (лат.).

Глава III

ЭПИТАФИЯ-НАДПИСЬ, ЕЕ ГЕНЕЗИС И СУДЬБЫ

Тип ранней гуманистической эпитафии начала XIV в. в падуанском кругу и у Феррето деи Феррети. Поэтическое состязание на похоронах Данте Алигьери. Петрарка как пионер. Генетические разновидности эпитафий у Петрарки и его преемников в смысле отношения автора эпитафии к ее герою: отношение клиентуры, школы, дружбы и родства. Обратимость «titulus'a» и эпитафии. Эпитафия в семейных капеллах Антонио Беккаделли—Панормиты, Джан Джовиано Понтано, Микеле Марулло. Автоэпитафия и ее аналоги. Роль Петрарки как сознательного реставратора обычая древности. Как устанавливается факт составления автоэпитафий. Их судьбы. Кенотаф Яна Паннония в Ферраре. Приписывание автоэпитафии Данте. Конкурс эпитафий от эпохи Данте до Римской Академии. Связь с «Carmina XII Sapientum». Сборники эпитафий, посвященных одному лицу. Сборник памяти А. Чинуцци. Период окончательной дифференциации эпитафий как самостоятельного литературного жанра у поэтов (Дж. Дж. Понтано. «De tumulis») и в антологиях. Историко-литературное ее изучение и начало научного собирательства. Эпитафия как «условный рефлекс».

По отношению к эпитафии Ловато де'Ловати можно отличить текст *an und für sich*,* независимо от ближайших обстоятельств и поводов его появления, и рядом с текстом — эти самые обстоятельства, его историю, культурную среду, его родив-

* Сам по себе (нем).

шую. На этом же примере мы видим, что история текста по смежности, в своих ассоциациях, а затем в своей судьбе, иногда может быть не менее показательна, чем его идейное содержание. В дальнейшем мы разделим эти два ряда и аналитическому изучению текста в его эволюции от треченто к чинквеченто предположим исторический экскурс, который на ряде примеров покажет место эпитафии как бытового явления, *in statu nascendi*,* до того момента, когда она высекается на камне или на мраморе и становится эпитафией-документом. Круг ее охвата станет обозрим, когда независимо от ее содержания мы узнаем, кому она нужна и где имеет спрос, кем и для кого пишется, какова ее роль в похоронном ритуале, по каким поводам появляется в памятниках письменности и в каких именно, какими представлена разновидностями, в какой мере эти разновидности зависят от античности, какие в ней можно различить этапы развития, каковы пределы и формы ее популярности.

Генетические разновидности эпитафии. Эпитафия Ловато де'Ловати, которая в желанном соседстве с останками древности твердила прохожему о памятовании смерти, представляет цезуру в истории эпитафии. Отсюда начинается новый ее этап, когда в эпоху «Божественной Комедии» и хроники Джованни Виллани складывается тип эпитафии раннегуманистической у младших современников и соратников падуанского судьи. Эта эпитафия в такой же мере изменяет средневековой метрике, в какой оформляется в мистическом классическом преломлении образ нового духовного вождя, вещего певца, «*poeta-vates*», который под оболочкой басен скрывает глубокие истины. Такой же мистический поэт, как Данте, который римского орла, герб всемирной державы, возносит в одну из райских сфер «под сенью своих священных перьев» за то, что он подготовил пути для распространения вселенского учения Христа, такой же богослов, как схоласт, он, пришедший на смену обоим, кроме того и прежде всего классик.¹ Как поэт, он в лице Альбертино Муссато защищает свое высокое призвание от нападков темных монахов. Его бессмертная слава требует и стимулирует культ эпитафии непременно поэтической как необходимого и гармонического завершения жизни, посвященной искусству. В этом культе сходятся автор «*Esseginis*», Феррето деи Феррети и люди их поколения, о чем свидетельствует в такой же мере латинская их поэзия, как современная им литературная хроника.

Ловати и Альбертино Муссато, учитель и ученик, люди одной закалки [205. P. 138]. Как старший, так и младший проявляют заботу о «*honor sepulcra*»,** выливая ее в форму элегии к сыну как поэтического завещания; скорбь об отце, мужественно стоическая и достойная, должна соблюдать меру в проявлении:

* В состоянии возникновения (лат.).

** Достоинстве погребения (лат.).

Parce tamen lacerare genas, nec scinde capillos,
Не раздирай себе ланит и не остригай волос, —

кости должны быть заключены в урну, украшенную листвою и благоуханиями, а крупные буквы надписи говорят мимо торопящемуся путнику о славе поэта и гражданина:

Quosque legat versus oculo properante viator
Grandibus in tumuli marmore caede notis.* [195. P. 951].

В римской элегии, как из-под пепла, что сохранил тлеющую искру, через много веков возрождаются у Муссато античные мотивы: искания меры, красоты и славы как убежища от смерти.

По смерти Бенвенуто Кампезано из Виченцы (ум. 1313) историограф Феррето деи Феррети проводил его в могилу тремя элегиями и тремя эпитафиями [232. Vol. 9. 1183—1189]; повторные редакции говорят о заданиях нового формализма, причем первая элегия, в свою очередь, кончается эпитафией, вложенной в уста музе Урании:

...tristia dona
Carminibusque novis decorent lugubre sepulchrum,
Ut, signata brevi titulo, vocet urna patenlem
Et doceat positum qua sit tellure cadaver...

... пусть печальный дар
Новых стихов мрачную украшает гробницу,
Дабы урна краткой надписью призывала прохожего
И объясняла, чей прах хранит земля.

В шестой пьесе, обращенной к Альбертино Муссато, автор вызывает того на соревнование, поскольку во власти последнего дать Кампезано вечную славу в стихах.

Эхо, вызванное смертью Данте Алигьери, было еще более многоголосо. Известен рассказ Боккаччо [27. P. 28; 92. Vol. 1. P. 269—272] о том, как, узнав о намерении Гвидо да Полента почтить поэта гробницей, многие отозвались эпитафиями, одни, будучи искренно потрясены утратой, другие — из желания показать себя или угодить синьору. Ни одна из них не стала надписью, так как Гвидо не осуществил своего замысла, вследствие чего Боккаччо из числа многих приводит только эпитафию Джованни дель Вирджилио, «per arte e per intendimento più degni»,** и никого из других авторов даже не называет по имени. Для их удовлетворения должно было быть достаточно, что в качестве поэтического украшения (ornamenti poetici) эпитафии покрывали прах Данте на смертном одре и с ним вместе были погребены.

* И каковые стихи, чтобы прочитал поспешающим глазом путник, вырубил в мраморе гробницы большими буквами.

** [Стихи:] Наиболее достойные по искусству и намерению (ит.).

Новый толчок, и в разных направлениях, эпитафия получила от Франческо Петрарки, пионера на разных путях; с него начинается новая глава в ее истории. В этом смысле больше всего вскрывает его обширная переписка, где он часто возвращается к этой теме. Утешая письмом друга Перегрини из Мессины² по случаю утраты брата, он по собственному почину заканчивает его эпитафией; также радеет он о соратнике, поэте и астрономе, Диониджи дель Борго ди Сан Сеполькро в метрическом послании королю Роберту Анжуйскому, его меценату.³ По ходатайству земляков он отзывается надгробной надписью на смерть своего учителя Гильельмо да Пастренго (ум. 1363).⁴ Естественно, что в качестве царедворца он провозжал элогиями венецианского дожа Андреа Дандоло и синьора Якопо II Каррарского, у могилы которого он не без лицедейства, отстранив спутников, искал вдохновения: «Один приблизился я к гробнице, присел возле нее и обратился с речью к немому праху».⁵ Не скрывая слез, он, мастер инсценировок, затем продиктовал 16 элегических строк и передал их друзьям, толпившимся у врат храма. Осаждаемый заказами, он в другой раз в подобных случаях отказывал менее важным клиентам, отсылая их к другим стихотворцам.⁶ Исповедуясь другу в своей слабости, он рассказывает, что любимому маленькому внуку, который, по общему мнению, поражал сходством с дедам, он как последнюю суетную дань поставил мраморный памятник, на котором элегия деда высечена была золотыми буквами, чтобы случайный путник знал, как дорог был ребенок семье.⁷ Наконец, известно, что он составил автоэпитафию, которая была воспроизведена на его памятнике в Арквâ, месте паломничества для следующих поколений [119. Vol. 2. 349 nota; 71. P. CLXXV³³].

На примере Ф. Петрарки мы видим, кроме категории автоэпитафий, всевозможные генетические разновидности эпитафии в смысле отношения автора к отошедшему: отношения клиентуры, школы и ученичества, дружбы и товарищества, родства и семьи. Те же категории можно различить и в дальнейшем.

Эпитафия пишется гуманистом на заказ:

«Ты повелел, превосходный отец, — пишет в 1369 г. Колюччо Салютати к Никколо да Озимо, нотариусу церкви и секретарю папы Урбана V, — чтобы в честь и в добрую память Никколо де'Капоцци, некогда епископа Тускуланского и кардинала Римской церкви, я составил для его саркофага стихотворную надпись, что включала бы не только обычные похвалы прелатам, но особенно указала собственные его достоинства и заслуги [256. Vol. 1. P. 92—94]. В надписи прелата персональные заслуги, «*singularia*», уже должны попасть в фокус.

Эпитафия может быть составлена на заказ, но не в порядке клиентуры, а по пиетету единомышленника, земляка и друга, когда тот же Колюччо Салютати отсылает 24 ноября 1389 г. из

Флоренции по просьбе Убальдино Буонамичи две строфы памяти Лапо да Кастильонкио Старшего, который скончался в Риме 27 июня 1381 г. и гробнице которого грозила гибель. «В самом деле, кто в нашем городе более ревностно изучал право и красноречье? Кто лучше знал поэтов и Цицерона?» [256. Vol. 2. P. 220].

В аналогичном случае по отношению к Пьетро да Мольо в письме сыну последнего Бернардо от 1383/84 г. [256. Vol. 2. P. 130] замечательно то, что Салютати свой дистих посылает в третий раз — два предыдущих письма затерялись — вместе с ревнивым авторским предписанием отнюдь ничего не изменять в тексте: «...nulla facta mutacione vel additamento».*

Через 100 лет можно услышать о целом конкурсе эпитафий, когда они одновременно заказываются многим поэтам. Так, в 1482 г. Пьетро Спаньоло, посланник Федерико Гонзага, заказывает в Ферраре для покойной жены маркграфа эпитафии шести докторам и студентам, «li quali de tale gentilecia el se delectano»,** и получает от них на выбор и усмотрение три эпитафии прозаические и тринадцать поэтических [167. P. 214—215].

В меньшем масштабе то же явление в эту пору наблюдается не только по отношению к венценосцам и вельможам, но и в среде буржуазии. Джованни Антонио Кампано в письме к Андреа Лючентино [51. Vol. 9.40] по поводу смерти жены последнего, Катарины Пикколомини, посылает ему произведение своего пера, но вместе с тем отсылает к консультации более, по его мнению, искушенных Агостино Патрици и Якопо Амманати де Пикколомини.

Эпитафия может быть преподнесена самопроизвольно — как своеобразный знак внимания, любезности, куртуазии. Так, после подробного осмотра надгробного памятника Леонардо Лайнинга, епископа Пассауского, воздвигнутого себе тем при жизни, Эней Сильвий Пикколомини шлет ему в письме надписи [226. S. 433—434], толкуя заботу епископа о гробнице как «meditatio mortis»:*** каждый понимает любезность по-своему. Как дань сочувствия по поводу утраты отца, Кодро Урчео, болонский гуманист, заключает в письме к Андреа Маньянимо свое возмущение жестокостью рока тем же [78].

В среде гуманистов эпитафия по преимуществу должна была являться таким самопроизвольным откликом и последним прощанием. Действительно, эпитафией провожают ученики учителя, как миланец Ланчино Курцио — Джорджо Мерулу или поэт Джан Джорджо Триссино — Дмитрия Халкондила; при нарушении естественного течения вещей учителя прощаются с учениками, как Помпоний Лет с Антонио Сеттимулейо Кампано

* Притом, что не было произведено никакого изменения либо дополнения (*лат.*).

** Которые увлекаются таким благородным искусством (*ит.*).

*** Размышления о смерти (*лат.*).

(ум. 1467) или покровитель Пьетро Бембо со своим клиентом, фламандцем Христофором Лонголием (ум. 1522).

В недрах той же школы, того же кружка, «sodalitatis»^{*} или Академии, эпитафия бывает «supremum amicitiae munus»,^{**} когда Колюччо Салютати продолжает дифирамбом автоэпитафию Боккаччо, когда похороненный рядом с Джованни Пико делла Мирандола друг его Джироламо Бенивьени не желает быть отделенным от него и у гробовой доски.

При гибкости близких форм случалось, что и эпиграмма — *titulus*, предисловие к чужому труду, как дар приязни, помимо намерения автора, была использована как эпитафия. Говоря о происхождении и начале эпитафии, следует упомянуть о таких случаях обратимости *titulus*'а и эпитафии. Таково происхождение надгробия Альбертино Муссато, которое являлось вводной эпитафией к трагедии «*Esceginis*» [204]; то же отметим для эпитафии эпитафиста Джованни Маркановы, что следует из самого ее текста; наконец, эпитафия Варино да Камерино заключается греческим четверостишием Полициано по поводу появления труда эллиниста «*Thesaurus Cornucopiae*» [93. P. 213]. В свою очередь, и эпитафия особо выразительная превращалась в «*titulus*», в надпись под портретом, как это имело место по отношению к надгробию-диалогу епископа Пьетро делла Валле.⁸ Наконец, автоэпитафия каноника-поэта Аврелия Авгурелли (1524) с самого начала нарочито была отредактирована как «*titulus*» и помещалась на надгробном памятнике под живописным портретом автора.

Эпитафия в семейных капеллах. Особого внимания заслуживают среди перечисленных категорий две группы: эпитафии и комплексы эпитафий в семейных капеллах, принадлежавших ученым и гуманистам, и автоэпитафия с ее большой распространенностью. Обратимся по очереди к тем и другим.

Самыми замечательными комплексами фамильных гуманистических эпитафий-надписей являются надписи храма-капеллы «Темпетто» Понтано в Неаполе и погибшие надписи капеллы Микеле Марулло в Анконе, Сан Доменико.

Надписи «Темпетто» отчасти еще попали в число «*Inscriptionum sacrosanctae vetustatis*» Апиана (1534), затем полностью были списаны Шрадером, а недавно стали предметом прекрасного описания Р. Филанджери ди Кандида [113]. Основанная в 1490 г. капелла-церковь Понтано представляла независимый отдельный храм, посвященный пресвятой деве Марии и Иоанну Евангелисту, но стены ее были украшены многочисленными морально-философскими изречениями в духе стоической философии. Храня прах поэта и его близких, она заключала на равных правах и античную реликвию, так называемую руку Тита

* Содружества (лат.).

** Высший дар дружбы (лат.).

Ливия, что Антонио Беккаделли Панормита некогда привез для короля Альфонсо Арагонского из Падуи, а король завещал канцлеру. Там же собраны были античные эпитафы, находки, подобранные, вероятно, самим поэтом на месте, из коих ныне сохранилось два греческих и пять латинских. В «Темпьетто» каждое 1-е число каждого месяца чтилась память первой жены Понтано, Адрианы, или Адреаны Саксоны, и здесь же порой происходили заседания Академии, как о том говорят диалоги «Antonius» и «Actius» и предисловие трактата «De prudentia».*

Надписи на гробницах «Темпьетто», кроме двух, входят в состав второй книги «Titulogium», причем подлинные надписи по сравнению с печатным текстом кое-где урезаны по недостатку места. Зато сборник не включил выразительной прозаической части надгробия Адрианы, добавленной в годовщину ее смерти.

Надписи «Темпьетто» склоняют к предположению о вероятном существовании в Неаполе в предшествующий период капеллы Антонио Беккаделли Панормита. В самом деле, именно автор «Гермафродита» проводит после Петрарки следующую мастерством эпитафмы, первым овладевая техническим искусством эпиграммы. Он же позднее вкладывает в совершенную латинскую форму вместе с лирической легкостью и музыкальностью сердечную эмоцию: его неаполитанскому периоду принадлежат две прекрасные в своей взволнованности пьесы, относящиеся к погибшим в младенчестве детям [160. P. 17—21]. Мы к ним еще вернемся позднее.⁹ Совершенно естественно предположить, что пьесы стали надписями и что к ним позднее была присоединена в общей семейной капелле и автоэпитафия поэта. Так восполнено было бы выпадающее ныне звено традиции, которое крепко спаяло имена Антонио Беккаделли и Джовиано Понтано. Второй сменил первого и в должности канцлера, и в звании главы Академии, и в качестве *arbiter elegantiarum*,** которым он признавал предшественника и, наконец, как корифей от эпитафии, в частности, от эпитафии, напутствующей близких.

Существование в Анконе капеллы фамилии Марулло устанавливает тот же Шрадер. Помимо того, эпитафии известны по изданиям лирики Марулло [230; 263. Appendix. P. 173—235], причем текст последних вообще совпадает с Шрадером, если не говорить о том, что последний приводит существенную прозаическую часть эпитафии отца поэта, которая доказывает, что в данном случае эпитафист независим от литературного источника. Среди лирики Марулло есть также пьесы, отсутствующие у Шрадера. Эпитафии «литературные» оказываются, таким образом, эпитафиями-надписями, ныне, очевидно, в качестве та-

* «О благоразумии» (лат.).

** Ценитель искусных произведений (лат.).

ковых погибшими.¹⁰ После трагической гибели поэта-страдиота три военной переправе через реку капеллу на чужбине некому было охранять. В ней нашли последний приют византийские беглецы, отец и мать поэта Тарханиота — Марулла, деды и дяди обеих линий. Надо думать, что и эта капелла примыкает к традиции фамильно-поэтического пиетета Панормиты — Понтано. Как известно, Марулло среди своих скитаний провел ряд лет в Неаполе, и образ его на непринужденных сборищах и пирах Академии много раз запечатлен в лирике Понтано; ему должен был быть знаком и «Темпьетто».

Автоэпитафия. Подобно тому, как ряд художников, начиная с фра Филиппо Липпи и Синьорелли, оставили свой автопортрет на фреске или полотне, а ряд других деятелей Возрождения, вроде Леона Баттисты Альберти, Франческо Гвиччардини, Джероламо Кардана, Бенвенуто Челлини, Баччо Бандинелли, Луиджи Корнаро, известны своими автобиографиями, — подобно тому, как давно и широко распространен был обычай при жизни строить себе гробницу, так приобрела права гражданства и автоэпитафия как обращение «к самому себе», с той только разницей, что до сих пор этот вид многоликого эгоизма недостаточно был отмечен и выделен.

Особенно тесно автоэпитафия связана, конечно, с заботой о достойном жилище для своего праха, с заботой «*de domo sepulchrae*».* Этот обычай давно известен по его обличениям. Так, Леонардо Бруни Аретино упрекал своего бывшего коллегу Бартоломео Арагацци да Монтепульчано, папского аббревиатора и гуманиста, за суетность, повествуя в письме 1431 г. о встрече при восхождении на высокую гору с тяжелыми глыбами мрамора, вышедшими из мастерской Донателло, которые возчики подымали к храму на вершину, сопровождая свой труд проклятиями всем поэтам [35. Vol. 6. P. 45—48].

Подобно тому Якопо Саннадзаро в сатирическом гротеске изобразил Вегустино, который соперничая с древностью (*vetustas*), заботу о надгробном памятнике превратил в самое важное дело жизни, терпя ради него всякие лишения: с утра до вечера чужак занят беседами с ваятелями и зодчими или переброской на место постройки похищенных у древних материалов.¹¹ Карикатуры и обличения, однако, оставались гласом вопиющего в пустыне и никого не обращали; аскеты по-прежнему звали прилепиться к мысли о бренности плоти созерцанием места будущего упокоения, а люди попроче боялись доверить случаю заботу о честном погребении:

*Certa dies nulli est. mors certa, incerta sequentium
Cura, locet tumulum qui sapit ante sibi*¹²

* О месте погребения (лат.).

Никто не уверен в днях своей жизни, смерть неминуема,
забота потомства
Сомнительна; кто это знает, пусть воздвигнет: заблаговременно
себе гробницу.

Естественно, что рядом с другими и не отставая от них, гуманисты также обдумывали, в каком художественно-символическом окружении им хотелось бы предстать перед чуждыми взорами далеких потомков,¹³ но еще чаще они, вослед Ф. Петрарке, завещали им свою автоэпитафию.¹⁴

Нет сомнения, что последний и здесь сознательно стремился к реставрации: он нашел готовым и литературное предание о дистихе на могиле Вергилия, который тот будто бы продиктовал «in limine mortis»*, и известие о гекзаметрах Энния у Цицерона,¹⁵ и мнимую автоэпитафию Сенеки [б. Pars. 1. Fasc. 2. P. 124. № 667], у Авла Геллия он читал соответственные произведения ранних римских поэтов Пакувия и Невия;¹⁶ не мог быть ему неизвестен и сложившийся обычай подражания им в Средние Века [173. Bd 3. S. 777, 814, 914, 922 и др.]. Но, вступив снова на тот же путь, он освятил его своим авторитетом, ввел его в канон литературный и бытовой. Его пример заразил не только Боккаччо.

Факт составления автоэпитафии можно документировать разными путями. Иногда это доказывается, как мы видели, сиглей V. P. или S. V. F.: vivens fecit, sibi vivens fecit** (Ловато де'Ловати). Иногда это следует из текста:

Ipsimet Felicianus Veronensis sacrum const.***

Sum enim Jovianus Pontanus...**** 17

Иногда автоэпитафия входит в состав элегии к другу, как у будущего самоубийцы Космы Раймонди (ум. 1436), который давно предвидел неизбежность для себя такого конца;¹⁸ то же у Помпонио Гаурико в элегии к брату: «De sua sepoltura»*****¹⁹ Автоэпитафии придается такое значение, что нередко она включается вместе с разъяснениями в нотариально засвидетельствованное завещание,²⁰ не менее часто сохраняется в собраниях сочинений, как любопытные опыты Франческо Берни и Лодовико Ариосто.²¹

Судьба таких более или менее торжественно завещанных эпитафий была различна. Бывали душеприказчики нерадивые, вроде детей Поджо Браччолини (см. заключение гл. I). Иногда текст мог быть забракован, как автоэпитафия Базинио Базини, с точки зрения стилистического несовершенства и заменен дру-

* На пороге смерти (лат.).

** Сделан при жизни, сделан себе при жизни (лат.).

*** Себе самому Феличано-веронец соорудил святилище (лат.).

**** Я был Джованни Понтано (лат.).

***** О своем погребении (лат.).

гим [16. Vol. 1. Prefazione]. Зато известны и случаи трогательного пиетета, проявленного, например, друзьями в отношении Яна Паннония, памятник которого Шрадер во второй половине XVI в., т. е. через 100 лет, нашел в Ферраре:

Hic situs est Janus, patrium qui primus ad Istrum
Duxit laurigeras ex Helicone deas. . .

Здесь похоронен Ян, который впервые в пределы
отечественной Истрии
Привел с Геликона венчаных богинь. .

Но венгр Ян Панноний (настоящее его имя Joann de Cisin-ge, или Czezmisze), епископ пяти церквей, умер у себя на родине при трагических обстоятельствах, замешанный в заговоре, в королевской опале и потому два года лишенный церковного погребения, вдали от Италии, где прошли его лучшие годы и остались товарищи и друзья по школе Гварино да Верона, с которыми он долго продолжал поэтическую переписку: Баттиста Гварино — сын, поэт Тито Веспасиано Строчици и Галеотто Марцио.²² Они-то и воздвигли кенотаф, для которого надпись была заимствована из элегии самого поэта. Памятник этого не говорил или, во всяком случае, этого не отметил эпитафист, как не сообщает о соответственном использовании этих строк в собрании сочинений поэта их издатель. Однако элегия «De se aegrotante in castris»* [216. Poemata. P. 319] включает их как желанную на могиле надпись, как «vota suprema».** Их сохранили в памяти верные друзья, к которым они были обращены и которые должны были найти поэту, носившему епископский сан, язычески мирный приют под сладкие жалобы птиц и хороводы дриад:

Ad vos defuncto tumulum componite amici,
Roscida qua multo gramine vernat humus.
Frondosos inter saltus et amoena virentis
Prata soli et Dryadum concelebrata choris,
Assidue Zephiri spirent ubi mitibus auris,
Semper ubi argutae suave querantur aves,
Quin etiam tacita jaceam ne ignotus in urna,
Signari hoc cineres carmine mando neas. . .

Друзья, похороните меня
В земле, что обновляется росистой травой,
Где среди богатых листвою рощ и прекрасных
Зеленых лугов ведут хороводы Дриады,
Где непрерывно и мягко веют Зефиры,
Всегда жалобно и без умолку сгуют птицы,
Дабы не лежал я безвестный в немой урне,
Я шлю свои стихи — отметить ими место праха.

Трудно сказать, был ли когда-нибудь столь идиличен вблизи урны пейзаж, как того хотел Панноний, но несомненно, что

* «Как я заболел в лагере» (лат.).

** Прощальное пожелание (лат.).

на пороге XVI в. могила была местом паломничества: дистих значительно позднее произвольно ассоциировался в сознании летописцев гуманистической поэзии с его именем.²³

Популярность автоэпитафии иллюстрируется, наконец, тем, что она приписывалась иногда задним числом в таких случаях, когда ее на самом деле не было. Такова была судьба эпитафии на могиле Данте Алигьери «Jura Monarchiae» уже с конца XIV в.; в 1483 г. при реконструкции памятника к надгробию присоединена была сигля: S. V. F. — sibi vivens fecit. Дель Бальцо [92. Vol. 1. P. 269—272] высказывает мнение, что слух о таком происхождении стихов был пущен истинным автором стихов или их поклонниками с целью защиты их великим именем от пертурбаций. После всего сказанного, особенно в связи со временем возникновения легенды, которое совпадает с периодом, когда стали известны автоэпитафии Петрарки и Боккаччо, кажется более вероятным предположить, что Данте впоследствии понадобился, чтобы заполнить отсутствующее звено в цепи традиции.

Аналогично — хотя и не по мотиву возникновения — значение мистификации потомства, историю которой во всех подробностях и в связи с текстом любопытного завещания критически восстановил Доменико Ньюли. В поэтической автоэпитафии притязал на звание поэта — без каких бы то ни было на это прав — испанский клирик Сатурне Джерона, после того как 50 лет он прожил в Риме и испытал на себе заразу гуманизма (ум. 1523). Обман здесь был вызван специфическим честолюбием посмертной репутации на могильном памятнике.

Конкурс эпитафий и сборники. Не только разнообразие прошедших перед нами генетических разновидностей эпитафии, но и конкурс их, конкурс самопроизвольный и конкурс на заказ, несколько раз отмеченный выше, может служить показателем исключительной популярности этого литературно-эпиграфического вида и должен, в свою очередь, привлечь наше внимание. Боккаччо засвидетельствовал такой конкурс для Данте Алигьери, а еще раньше можно было констатировать то же явление на основании вариантов Феррето деи Феррети на смерть Кампуано. Разница только в том, что в одном случае в конкурсе принимали участие ряд поэтов, а в другом — один автор пробует решить разными формальными способами ту же задачу.

«Конкурс эпитафий», так же как автоэпитафия, имел свой классический прообраз в «Латинской антологии», широко популярной в Средние Века и, очевидно, вдохновившей Феррети. Речь идет о «Carmina XII Sapientum»,* виртуозной вариации на смерть Вергилия, где повторяются двенадцать дистихов и столько же тетрастихов, которые парафразируют на множество ладов два-три основных мотива и в формальном единстве соче-

* «Стихи 12 мудрецов» (лат.).

тания отражают руку одного автора, хотя и были приписаны двенадцати мудрецам [6. Pars 1. Fasc. 2. P. 51—53. № 507—518. P. 59—62. № 555—566].

О конкурсе эпитафий можно почерпнуть сведения и дальше из писем, биографий и, наконец, соответственных сборников. Ведущая роль принадлежала здесь Римской академии, которой, как коллективу, на протяжении всей ее истории свойственно было тяготение к античному ритуалу и зрелищу, как это сказалось на сборищах в катакомбах, праздновании дня основания Рима и возобновлении сценических постановок. Также обогащается обрядовая сторона смерти с упором на эпитафию. На похоронах Помпиона Лета — понтифекса, по сообщению Павла Иовия, эпитафии были оглашены над могилой в поэтическом состязании, причем пальма первенства присуждена была Понтано. То же в еще более пышной ритуальной форме повторилось по отношению ко второму столпу той же Академии, Бартоломео Платине, кустоду Ватиканской библиотеки и историографу пап. В базилике Санта Мария Маджоре, где он был похоронен, в годовщину его смерти в апреле 1482 г. после мессы и традиционной «*oratio in funere*»* последовало, как и над могилой Лета, речитативное чтение с церковной кафедры элегантных элегий: читал их Астрей Перузин, мирянин в мирском платье, внешнеюстью и поведением шокируя религиозную совесть рассказчика эпизода, летописца Якопо Волатеррано [232. Vol. 23. Col. 171]. Чтение элегий, монодий, воспоминаний и эпитафий продолжалось и на поминальной трапезе. Верный душеприказчик и преемник Платины в качестве кустода Ватиканской библиотеки, Дмитрий из Лукки, собрал позднее воедино все эти стихи в специальный сборник.²⁴

Сохранились помимо того сборники, рукописные и печатные, подобных произведений, объединенных около определенных имен и без указаний на какое-нибудь использование их в ритуале. У Гварино была антология «*Chrysologina*» [50. P. 285], посвященная памяти Мануила Хризолора (ум. 1415). Преждевременная смерть 17-летнего поэта Микеле Верино из Флоренции (ум. 1483) вызвала целый рой поэтических эпитафий из разных городов, полученных и собранных его отцом, гуманистом Уголино [12. Vol. 3. P. 463—468]. Самый замечательный сборник по стопам «Гермафродита» Антонио Беккаделли Панормиты вышел из недр той же Римской академии в 1477 г. после ее возрождения из пепла.

Сборник посвящен памяти умершего 16 лет от роду 8 января 1474 г. пажу Джироламо Риарио, по имени Алессандро Чинуцци из Сиены. Редчайшая ныне книга — «*Epigramma poetarum multorum in obitum Alexandri pueri senensis*»²⁵ — есть по-

* Надгробная речь (лат.).

смертный *homage** платонический, в духе древних, любви издателя Флавио Эрлите к прекрасному эфебу, «*elegantissima forma conspicio*». Другим издателем был знакомый нам Дмитрий из Лукки. Цель их — «содействовать бессмертию покойного юноши» — объединила 17 поэтов, которые отозвались 36 эпитафиями — метрическими на языках латинском и итальянском и восемью эпитафиями прозаическими. Вместе с тем гравер увеселен резцом профиль окруженного поклонением юноши.²⁶

Эти рукописные и печатные сборники приводят нас к последнему этапу в истории итальянского Возрождения — этапу махрового цветения эпитафии, когда после длительной стадии микроскопического распыления в конце XV в. для нее начинается период самостоятельного существования, окончательной дифференциации, собирательства под разными углами зрения и, наконец, попыток теоретического изучения.

В литературный жанр *sui generis* эпитафия дифференцируется с появлением двух книг «*De tumulis*» Понтано, относящихся к старости поэта (1490—1501). Здесь в своем формальном совершенстве и эмоционально-идейном богатстве — при всем эклектизме и тенденции к виртуозности — элегия подымается до высоты истинной поэзии. К истории эпитафии-надписи эти сборники имеют отношение уже постольку, поскольку ряд пьес, входивших в них, как было отмечено, действительно стали надписями; дальнейшие изыскания в будущем, вероятно, установят этот факт и для некоторых других из 55 именных эпитафий, входящих в их состав. Историк литературы, однако, кстати сказать, мог бы встать и на обратную точку зрения, он мог бы предложить рассматривать не сборники Понтано ради эпитафии-надписи, а, наоборот, эту последнюю ради них как подготовку и ступень, как культурно-исторический комментарий, которого он до сих пор не получил. В самом деле, только эта история показывает, как широка была база сеполькравной поэзии Понтано, как крепко был он спаян с богато разветвленным стволом традиции.

Вслед за Понтано надо назвать двух несоизмеримых с ним эпигонов: Джано Витале из Палермо (ок. 1485 — ок. 1560) [305; 297] и Джироламо Казио [63; 65]. Витале в качестве поэта при папе Льве X был щедро награжден званием аббата, палатинского графа и римского гражданина. Он составил 230 элогий в память римских первосвященников, причем имел честь среди них дать первую надпись для папы Льва X.²⁷ В последние годы жизни он же издал «*Epigrammata*», где много пьес неплохой фактуры, но подражательных по мотивам, относящихся как к его современникам, так и к гуманистам XV в. Что касается Джироламо Казио, то более достойный известности по своему прекрасному портрету Бельтраффио в Брере (Милан),

* Отдание почестей (фр.).

он был купцом и поэтом, тоже коронованным при папе Клименте VII; его сборник эпитафий на итальянском языке хромает на обе ноги.

В то же время составлялись и расходились по рукам, отчасти издавались антологии и сборники всякого вида, помимо сборников, посвященных памяти одного лица. Первый такой печатный сборник «*Liber de epitaphiis*» («*De laude atque epitaphiis virorum illustrium compendiosus et delectabilis tractatus*»), обильно приписанный папе Пию II, но, несомненно, итальянского происхождения, был издан в 1472 г. в Утрехте или Гарлеме [22; 23]. Большинство из сборников анонимны, вроде «*Carmina ad Pasquillum*» [57], сборники эти не сатирического, а элегического характера, со многими эпитафиями современников, латинскими и итальянскими. Встречались сборники эпитафий именитых женщин, начиная с девы Марии и кончая куртизанками по «Гермафродиту»,²⁸ сборники эпитафий неудачных и смешных, предназначенных для общего увеселения,²⁹ и т. д.

Со второй половины XVI в. эпитафия как особый вид эпиграммы подвергается историко-литературному изучению в «Поэтике» Скалигера, в диалоге «*De re funebri*»* Понтано — иезуита, позднее у Б. Буркелати, о котором речь шла выше. Если у всех этих авторов и преобладают наблюдения над античной эпитафией, то все-таки это не лишает их интереса и со специфической точки зрения данной работы.

Рядом с научной обработкой начался и период научного, так сказать, собирания эпитафии Возрождения: П. Иовий соединил в своем музее эпитафии ученых мужей с их портретами и ими закончил свои элегии; местные антиквары, так же как путешественники во главе со Шрадером, списывали надписи. Еще долго каждый уважающий себя турист почитал признаком хорошего тона проявлять внимание к надписям, и не только древним.³⁰

На этой стадии круг развития эпитафии итальянского Возрождения можно почитать законченным. Каждый ее этап, как мы видели, ознаменован или «почкованием» новых видов или поворотом художественной эволюции, или новой нотой пафоса, или, наконец, обогащением обрядовой стороны — мозаика мелких и мельчайших фактов складывается в четкий узор. Обзорные вместе с тем вернулись к тем источникам, которые были подробно рассмотрены выше в качестве отправных пунктов исследования.

Напрашивается в заключение еще одно замечание общего порядка.

Летопись эпитафии итальянского Возрождения, которую мы читали страницу за страницей, лишней раз убеждает в том, насколько условна в своих формах историческая культура. В самом деле, за ее пределами эти формы теряют смысл, посколь-

* О погребении (лат.).

ку рушится сеть опор, убеждений, предпосылок, вкусов, привязанностей, привычек, условных рефлексов, которые лежат в ее основе. Не все ли нам равно, будет ли что-нибудь написано на плите над нашей могилой, и что именно, и сколько времени существует эта надпись? Кому ныне придет в голову в качестве режиссера, желая предупредить вердикт потомства, обдумывать «mise en scène»* для своего надгробного памятника? Все это нам чуждо и не может вызвать никаких созвучных эмоций, мы стали умнее и суше, мы состарились душой. Но не станем называть этого своего ума сошедшим со сцены поколениям; мы никогда не пойдем прошедшего, если будем применять к нему мерило «разумного» наших дней, тем более, что и самая наша современность не выдержала бы этой марки. Слишком много нас окружает и сейчас на каждом шагу неразумного и нелепого, достойного нового издания «Похвалы Глупости». В качестве историков, а не моралистов воспримем поэтому, по словам Гегеля, все существующее в данную эпоху как разумное, не в смысле оправдания его, а в смысле понимания законности его возникновения. В этом-то направлении мы должны нащупать его преходящий «исторический» разум. Прошлое мы постигнем только тогда, когда обнаружим в нем некую форму или некие формы, обладающие гибкостью, цепкостью, стойкостью, как предмет привязанности своей эпохи, — какими бы странными и даже нелепыми они не казались на расстоянии, — и сделаем эту форму или формы в их неповторяемом своеобразии темой исследования, орудием зондирования коллективного сознания эпохи. Предыдущий обзор выявил эпитафию как форму, обладающую этими данными гибкости, цепкости, стойкости; идя от нее, мы проникаем в сферу эмоций и представлений, куда до сих пор мало заглядывали.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Dante. Par., VI; о poeta-vates см. K. Vossler [306].

² Petrarca. Fam., IV. 10.

³ Petrarca. Fam., I. 13.

⁴ Petrarca. Sen., XVI. 1.

⁵ Petrarca. Fam., XI. 3.

⁶ Petrarca. Var., 18.

⁷ Petrarca. Sen., X.

⁸ Об этом говорит в письме Пьетро делла Валле иль Пеллегрино [69. P. 16].

⁹ См. главу VII и конец главы IX.

¹⁰ Старые путеводители по Анконе, так же как G. G. Palermo [214], остались автору недоступны. В последнем издании 1924 г. (Tourning Club. Italia Centrale. Vol. 1. P. 186—200) под рубрикой «Анкона» упоминания о них нет.

¹¹ См. J. Sannazzarius Opera omnia [257. Epigrammaton. Liber 1. P. 149—151]; его цитирует J. Burchardt [43. § 139].

* Мизансцена ((фр)).

¹² Надпись Didaci de Valdez, мажордома папы Александра VI Борджиа (magistratum dom'exerceret), 1506, Рим, Сан Джакомо де' Спальюли. Дистих цитирует уже В. Burchelati [40. P. 98].

¹³ О памятнике себе при жизни из гуманистов позаботились: Ловато де' Ловати, Бьяджо Пелакане, Бартоломео да Монтепульчано, кардинал Виссарин, Джан Джовиано Понтано, Ланчино Курдио, Марк Антонио Коччо Сабеллико, Бернардо Руччелли, Аврелий Авгурелли.

¹⁴ В порядке хронологического следуют: Ловато де' Ловати (1309), Франческо Петрарка (1374), Джованни Боккаччо (1375), Ломбардо да Серико (1390), Уберто Дечембрио (1427), Леонардо Джустиниани (1446), Базини Базини (1457), Поджо Браччолини (1459), кардинал Виссарин (1466), Антонио Бекаделли Панормита (1471), Ян Панноний (1472), кардинал Якопо Амманати де' Пикколомини (1479), Феличе Феличано да Верона (ок. 1480), Порчеллио де Пандони (1480), Бартоломео Платина (1481), Кодро Урчео (1500), Элизио Каленцио (1501), Джан Джовиано Понтано (1503), Марк Антонио Коччо Сабеллико (1506), Антонио Галатео де' Феррари (1517), Аврелий Авгурелли (1524), Леонико Томео (1531), Пьетро Суммонте, Филиппо Децио (1535), Иоанн Ласкарис (1535), Челио Кальканьини (1541), Джано Анизио (ок. 1540), кардинал Алеандро (1542), Лелло Грегорио Джиральди (1560), Джироламо Вида (1566).

¹⁵ Petrarca, Tuscul., I, XV. 34.

¹⁶ Petrarca, Fam., IV, 9 — в письме к Thomas'y Messanensis'y: «Aulus Gellius in Noctibus Atticis, ubi amborum (Naevii et Plauti) epigrammata describit sermone vetustissimo».

¹⁷ Также для Джироламо Болоньи (1517), Филиппо Децио (1535), Пьетро Суммонте, Челио Кальканьини (1541), Спероне Сперони (1587).

¹⁸ Послание к Никколо Чембольдо см. G. Mercati [180].

¹⁹ P. Gaurico [124] по E. Percoro [223. P. 87—88].

²⁰ Базинио Базини, завещание 24 мая 1457 г. [15. Vol. 1. P. XIII—XIV]; кардинал Виссарин, завещание 1464 [14. Appendix VIII. P. 134—139]; кардинал Якопо Амманати де Пикколомини [218. P. 100—107; 227. P. 907—909]; Джироламо Болоньи, завещание 1 июня 1509 г. [273. P. 359]; Марино Санудо, завещание 4 декабря 1533 [260. Pref. P. 101—107], кардинал Алеандро, завещание 29 января 1542 [208a.]; Джан Джорджо Триссино, завещание 11 октября 1543 [191. P. 433], Челио Кальканьини, завещание 4 мая 1539 г. [33. P. 199], Джироламо Вида, завещание 29 марта 1564 г. [206. Vol. X. P. 195; Vol. 11. P. 5].

²¹ Эпитафия Франческо Берни: 59. Vol. 2. P. 155; 179. Vol. 2. Parte 2. P. 786—787; 20. P. 232. N 8. Для эпитафии Ариосто см. Приложение. Опыт библиографии гуманистической эпитафии, Лодовико Ариосто.

²² Посвященные Панниону элегии Баттисты Гварино [59. Vol. 5. P. 370—375]. Послания Тито Веспасиано Строцци в Альдовском издании его сочинений 1513 г. Что касается Галеотто Марии, то Ян Панноний был изображен вместе с ним на портрете работы Андреа Мантенья (портрет утрачен).

²³ F. Arsilli (De poetis urbanis) цитирует элегию в тексте [292. P. 119—120].

²⁴ «Diversorum academicorum panegyricum in Platinae parentalia» входит в состав «В. Platina. De vitis pontificum romanorum» [228]. Принимало участие 13 человек, в том числе Проспер Спирит, Джованни Антонио Кампано, Манилий Ралл, Сиджизмондо Фульчино, Липпо Брандолини, Лодовико Лаццарелли и др.

²⁵ Romae, apud S. Marcum, ок. 1477 г., 4^о, 16 л.: Hain [139a] 809; Pellechet [222a] 457; GKW [129, 1, 1925, N 931]. Имеется 7 экземпляров в 6 библиотеках.

²⁶ F. Patetta [221. P. 153, 170, 175]. A. Della Torre [96. P. 230—237] восстанавливает имена участников. Среди сонетов Микеланджело есть 50 эпитафий памяти пятнадцатилетнего эфеба Чеккино Браччо [184. P. 62—77]; известно, что он носился также с мыслью воздвигнуть ему памятник.

В том же издании (Р. 267—273) собраны эпитафии других поэтов памяти того же Браччо.

²⁷ См. Приложение. Экскурс III.

²⁸ См. *Epitaphia clarissimarum mulierum quae virtute, arte aut aliqua nota claruerunt*. Ms. Hartmann Schedels. Мюнхенская городская библиотека [220. Bd 3. S. 107].

²⁹ *Lettere de principi*. 1.88.89 по Я. Буркгардту [315. Т. 1. Гл. 10].

³⁰ Эпитафии Христофора Лонголия, Джорджо Мерулы, Леонардо Бруни, Джованни Боккаччо приводятся в I части F. Schottus и F. Hieronymus ex Sarignano [269. P. 45—50, 113, 176, 183 и др.]. F. M. Misson [188] описывает эпитафии в Падуе, Венеции, Неаполе, Риме и других местах; исправляет ошибки предшественников (для гробницы Антенора), ищет преимущественно надписи поэтов и великих людей, помещает также изображения их гробниц.

Глава IV

ПОЭТИКА И ЭПИГРАФИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ЭПИТАФИИ-НАДПИСИ

Обозначение эпитафии. Ее язык. Соотношение прозы и метрики. Вкус к последней. Явление ритмической прозы. Состав прозаической части текста. Редакция в смысле глагольного лица. Общие места классического происхождения. Подражание определенным литературным образцам античности. Метры. Эволюция вкуса от XIV до XVI века в стремлении к элегантному лаконизму. Роль Петрарки и Боккаччо. Связь с развитием эпитафии литературной. Значение «Гермафродита» Беккаделли — Панормиты. Корифеи литературной эпитафии. Эпиграфическая техника: материал надписей и техника их воспроизведения. Местонахождение. Размеры букв, их позолота. Их пропорции согласно палеографическим трактатам, начиная от трактата Ф. Феличано Антикварио из Вероны. Сиглы. Судьба D. M. S.

Выше мы заставили другие источники рассказать об эпитафии-надписи в ее разновидностях. Мы заставили говорить эпистолографию, завещания, биографии и элоги, хроники и трактаты, роман и путешествия, наконец, лирику, которая помогает установить генезис тех или иных надписей. Нет сомнения, что эта бытовая хроника эпитафии-надписи могла бы быть и будет со временем еще пополнена, но и предыдущего обзора достаточно в качестве доказательства настойчивого интереса к эпитафии: люди итальянского Возрождения находили нужным много думать на эту тему. По этим живым следам, после того как мы убедились в возможности постановки самой темы на основании обзора источников и получили представление о средневековом и античном наследии в этом направлении,

надо идти дальше, ибо почва перед нами расчищена. Можно теперь подойти к самой эпитафии в ее строении и внутренней истории, формальной и тематической, чтобы понять, чем она могла быть нужна своей эпохе.

Идя в порядке постепенной последовательности, на первых порах поставим себе предварительно задачу формального ее изучения в смысле состава, поэтики и эпиграфической техники, чтобы потом, исходя из ясного представления об этих общих рамках, иметь возможность перейти исключительно к тематике. Как всякий логический прием, так и этот делит то, что в природе, в предмете изучения неразделимо. Эти общие рамки в своей эволюции, конечно, служат тематике, и нужно вскрыть эту их эволюцию в зависимости от ее велений, но вместе с тем они представляют комплекс условных данных, которые нужно характеризовать как некую систему. Вот почему мы остановимся по очереди на обычных обозначениях эпитафии и затем на сумме признаков ее от филологии и эпиграфики в их эволюции. В смысле признаков филологических обратимся к языку, к соотношению прозы и метрики, к редакции в смысле глагольного лица, к начальной и заключительной формуле, метрике, к общим местам и мере подражательности. В смысле признаков эпиграфических коснемся методов воспроизведения надписи, их материала, местонахождения, шрифта в отношении величины и пропорции букв и, наконец, сиглелей.

Материал для дальнейших выводов прежде всего дадут собранные нами надписи, но рядом с ними ценные сведения можно почерпнуть из разных источников, в частности у названного Б. Буркелати, в «Поэтике» Ю. Ц. Скалигера, в специальных трактатах и, наконец, в письмах.

Обозначения эпитафии очень различны. Встречаются термины: *inscriptio*, *epigrapha*, *epitaphium*, *versus*, *versiculus*, *carmen*, *titulus*, *tumulus*, *laus*, *elogium*, *epigramma*, *epicedium*, *elegia*, *carmen elegum*, *scriptura*, *schaeda*, *memoria*, *threnus*, *honor*, *potā*, *tessera*. Самая гробница именуется: *urna*, *saxum*, *lapis*, *petra*, *marmor*, *arx*, *moles*, *tumbicus*, *tumulus*, *domus ultima*. Обозначения эти показывают двойственный характер эпитафии-надписи. С одной стороны, они вскрывают вкус к эпитафии поэтической: *versus*, *versiculus*, *carmen*, *threnus* и т. д., причем самая пестрота этой терминологии обусловлена, очевидно, потребностями преимущественно поэтического языка в образности и разнообразии, а также поглощением терминологии античной: *epicedium*, *threnus*; с другой стороны, она обнаруживает ее эпиграфический, документальный характер: *inscriptio*, *epigrapha* и т. д. Наконец, третьи термины говорят о ее близости к элогии и дифирамбу.

Язык. Как правило, эпитафия итальянского Возрождения написана по-латыни. В начале XV в. появляется параллельная греко-латинская и чисто греческая надпись у немногих элли-

нистов¹ и изгнанников-византийцев.² Итальянская эпитафия встречается не ранее XVI в., в эпоху борьбы за права *voigage*, и то в виде исключения.³ В самом деле, эпитафия была рассчитана прежде всего на ученую публику, на высшие сословия, «*pro studiosorum coetu ingeniorum*».* Требуя для нее латинского языка, Б. Буркелати на пороге XVII в. аргументирует это, исходя из большего его веса и строгости. «Нехорошо, клянусь, быть понятным всем без разбору: люди желают сохранить память о себе не среди простых и невидных, а среди мужей благородных и ученых» [40. P. 105].

Соотношение прозы и метрики. Рядом с чисто прозаическими надписями — их не так много — преобладают надписи смешанного типа. Однако современники интересовались, главным образом, метрическим придатком, который удовлетворял в большей мере эстетический вкус. Джованни Антонио Кампано в письме к Андреа Лючентино в ответ на просьбу о составлении эпитафии для жены посылает ему на выбор прозу и стихи, высказываясь за предпочтение второй формы: «Стихи [в эпитафии] кажутся мне более элегантными, хотя этот обычай и не был самым древним, ибо стихи особенно легко запоминаются и доставляют некую усладу» [51. Epistolae. IX. 40]. Это не мешает Кампано ценить деловые достоинства прозы для той же цели: «...проза дает читателю больше сведений и восхищает лаконизмом» [51. Epistolae. IX. 40]. Мнение Кампано мы на расстоянии веков не всегда разделили бы; прозаическая эпитафия и прозаическая часть эпитафии смешанного типа сплошь да рядом, как мы будем иметь случай убедиться, непосредственно и больше выдают тайны сердца и противоречия мысли. Однако эпоха, как сказано, равнялась по Кампано: Иовий приводит исключительно стихи; даже Л. Шрадер в чисто эпиграфическом труде часто калечит прозаическую документальную часть. Благодаря этому сведения, которыми мы располагаем для части прозаической, заведомо неполны.

Соотношение частей поэтической и прозаической в надписях смешанного типа было различно. Иногда упор делался на прозаическую часть, которая заканчивалась дистихом,⁴ или, наоборот, в центре была эпиграмма, которая сопровождалась краткой прозаической частью,⁵ или, наконец, соблюдалось приное равновесие.⁶

Исключительно случайным, поздним и редким явлением остается ритмическая проза: в этом направлении можно назвать только обращение родителей к Джироламо Беллакомбо XVI в., где приливы много раз обновляющейся скорби выражаются в повторных причитаниях последнего прощания.

Прозаическая часть текста обычно, как в древности, указывала имя, фамилию, место рождения, возраст или даты рожде-

* Для собрания благородных ученых (лат.).

ния и смерти, приводила «*cursus honorum*»,* а также имена заказчиков памятника, родственников и друзей. Иногда сообщалось, при каких обстоятельствах воздвигнут был памятник, за счет ли города или государя.⁷ Бывали ссылки на статьи завещания.⁸ Иногда встречается запрет посягательства на памятник, но в форме культурной и мягкой по сравнению с XI—XII вв., которые обрушивали на осквернителей анафемы. Так, Бартоломео Платина (1481) предупреждает: «Кто бы ты ни был, если ты набожен (*pius*), не тревожь Платину и его родных, они лежат тесно и желают быть одни». У аббата Джано Анизио (ок. 1540) читаем: «Памятник сооружен за его счет; место священо, не касайтесь его».

Случалось, что, не пускаясь ни в какие сообщения, надпись ограничивалась немногими основными данными. У лиц духовного звания мотивом такой сухости было христианское смирение.⁹ Что же касается ученых и видных мирян, то они редко разделяли такую сдержанность.¹⁰ Нечасты сравнительно и цельные прозаические надписи, выходящие за пределы дат и имен. Среди них особенно замечательны надписи Леонардо Джустиниани (1446), Гемиста Плетона (ум. 1450, надпись 1465) и Челио Кальканьини (1541).

Но будь эпитафия в стихах или прозе, в смысле глагольного лица она оформляется различно; если в большинстве случаев речь идет в 3-м лице, то в поисках большей выразительности и живости появляется надгробие в 1-м лице от имени отошедшего, где он представлен говорящим, то в виде обращения к Мадонне, как у Петрарки, то к музам, как у Беккаделли Панормиты, то к путнику. Встречается и непосредственное обращение к усопшему оставшихся. Обращение от 1-го лица, независимо от того, есть ли это поэтическая фикция или реальность, не было забыто и в Средние Века, судя по фьезоланской надписи епископа Сан Донато и новаррской — каноника Стефана Хв. В XV в. его возобновление принадлежит венецианскому поэту и гуманисту Леонардо Джустиниани, и вслед за ним оно характерно для автоэпитафии;¹¹ встречается оно нередко и как риторическая фигура.¹² Эпитафия во 2-м лице, как дружеский голос, словно продолжающий звучать и обращенный к тому, кого уже нет, в XV в. мы впервые встречаем у Энея Сильвия Пикколомини в прощании с юристом Лодовико Понтано, погибшим от чумы во время Базельского собора (1439); затем у Помпония Лета в его напутствии юноше-ученику Антонио Сеттимулейо Кампано (1467), которого погубила близость к главе Римской академии во время преследований последней при папе Павле II. Таково же непосредственное от потрясенного сердца обращение супруга к супруге, родителей к детям, например Понтано к жене Адриане, к сыну и дочери и плач роди-

* Прохождение ступеней службы (*лат.*).

телей над могилой отрока Джироламо Беллакомба. Патетичность формы во всех этих случаях обусловлена сугубым драматизмом обстоятельств или силой привязанности. Но тот же прием существует и как условная фикция.¹³

Диалог встречается так же редко, как диалог с подчеркнуто вопросительной формой. Для первого можно указать замечательную по судьбе надпись Пьетро делла Валле, епископа Асколи (1463), где брат сетует на его безвременную кончину, а тот его утешает. Нарочито вопросительная форма появляется около 1500 г. в поисках динамизма; она выразительна у Понтано в вопросах его, обращенных к куму Голино, и саркастических пессимистических репликах последнего; в надписи же юриста Язона да Майно скопляющиеся вопросы звучат как напряженно-холодная декламация.

При своем малом размере эпитафия-надпись имеет определенное строение. Во второй половине XVI в. и позднее, в эпоху упадка, повторяются попытки вложить в прокрустово ложе предписанного мелочно строгого состава и все содержание эпитафии. Это делает, например, Ю. Ц. Скалигер, перечисляя части эпитафии следующим образом: «*laudes, iacturae demonstratio, luctus, consolatio, exhorlatio*»* [265]. В подлинных текстах более ранних, к счастью, нельзя обнаружить следов такой схоластической фактуры, зато часто можно отличить как обрамление начальную и заключительную формулу, заимствованную у античности. Представляя обычно обращение к путнику, прохожему, читателю, оно имеет свое развитие на протяжении двух веков, XIV и XV. В более ранний период это обращение, явное или подразумеваемое, преимущественно встречается в середине и в конце, а не в начале, где оно больше фиксирует внимание.

У Ловато де'Ловати оно появляется в середине второй строфы в эмбриональном еще, так сказать, состоянии:

Quod sum (quicquid id est), tu quoque, lector, eris. . .

Я стал тем, чем будешь ты, читатель, и всякий другой,
кто сы он ни был.

У Якопо Донди, строителя падуанских часов (1355), это обращение представляет совершенно развитую мысль, но развитую в финале и в духе традиционно-христианской молитвы за помин души:

Inventum cognosce meum, gratissime lector,
Et pacem vel veniam tacitusque precare.

Узнай о моем изобретении, благодарный читатель,
И молча помолись о мире и прощеньи моей души.

То же у юриста Лодовико Кортузия в Падуе (1418).

* Похвалы, изображение несчастья, скорбь, утешение, ободрение (лат.).

«Funde graeces pie» (Вознеси набожные мольбы), — просит прохожего его надгробие.

Но в середине XV в. в эпитафии папы-гуманиста, Николая V, составленной его преемником на престоле Энеем Сильвием Пикколомини, этот финал, оставаясь допустимым в пределах католического ритуала, в неменьшей мере приличествовал бы — и это не случайно — языческому культу, любившему дым каминов:

En tumulo fundite thuro...

Окадите гробницу фимиамом...

Позднее анонимный поэт, похороненный в Риме, но родом из Пезаро [118. Vol. 6. N 1185. P. 337], который именует себя Пиндаром, славою муз, просит путника окропить гробницу святой водой:

...tu sacram sparge, viator, aquam...

Такие же перебои у Челио Кальканьини (1541), который повторяет просьбу о молитве, но в ней сочетает бога и манов:

*Tu quisquis es, rogo, ut hominis B. M. Manibus
Deum Optimum Maximum propositum preceris...*

Кто бы ты ни был, прошу тебя вознести Богу Всевышнему мольбы о моих монахах...

В этом состоянии синкретических колебаний, стилистического неустойчивого равновесия переходной эпохи постепенно, однако, берет верх античная традиция. Начинается надгробие в первый раз обращением к прохожему у Леонардо Джустиниани (1446):

Hospes amice, scire cupis qui sim...

Друг-прохожий, ты хочешь знать, кто я...

Позднее у гуманистов-вождей Беккаделли Панормиты, Полициано, Марулло и последующих это обращение становится выдержанно-классическим:

Adsta, viator, pulverem vides sacrum...

Остановись, путник, ты видишь священный прах...

(Надгробие Домицио Кальдерино, автор Анджело Полициано)

Siste, hospes, atque haec verba, si placet, lege...

Стой, прохожий, и, если тебе угодно, прочти эти слова...

(Микеле Марулло)

Si tibi sit felix et faustum iter...

Да будет счастлив и благополучен твой путь...

(Элизио Каленцио, 1501)

Da sacro cineri flores...

Забросай же цветами священный прах...

(надпись Якопо Саннадзаро, автор Пьетро Бембо, 1538)

Quid hospes astas? tymbion vides L. G. Gyraldi... (1560)

Что стоишь, путник? Ты видишь гробяницу Лелио Грегорио

Джиральди...

Аналогично звучит заключение: прощанье то сухое, то элетическое, то мольба о сочувствии и внимании или об уважении к праху:

Abi, viator, sat tuis oculis debes...

Проходи же, путник, ты уже видел достаточно...

(эпитафия Домицио Кальдеринио, автор Анджело Полициано)

Ne tibi sacratum praetereatur have...

Не минуя священное место...

(эпитафия Кампано Сеттимулейо, автор Помпоний Лет)

Legisti? Amabo dic abiens, vale hospes...

Ты прочел? Так уходи; прощай, путник...

(Элизио Каленцио)

Noli obsecro iniuriam mortuo facere...

Молю тебя: не оскорби мертвеца...

(Джан Джовиано Понтано, автоэпитафия)

In tuam rem abi...

Иди, куда тебе нужно...

(Лелио Джиральди)

Подражательность при этом не ограничивается формулами вступления и заключения. Как это доказано Ф. Бюхелером и Дж. Э. Толменом для античных «*Carmina epigraphica sepulcralia*», которые питались крохами со стола больших классических поэтов, так то же наблюдение распространяется и на эпитафии итальянского Возрождения. Иногда вариации повторяют столь сильно ассимилированные классические мотивы, что их происхождение, теряющееся в веках, было забыто. Так оно было, например, с излюбленной, восходящей к Овидию, антитезой, противопоставляющей, согласно концепции стоиков, прах, тень, маны и дух:

Terra tegit carnem, tumulum circumvolat umbro,
Orcus habet Manes; spiritus astra tenet.¹⁴

Земля скрывает прах, тень вьется близ гробницы,
Маны пребывают в Орке; дух парит в звездной высоте.

В XIV в., когда тень и маны неприлично было противопоставить душе, мотив Овидия снова возвращается у Гвидо

да Баньоло, врача и корреспондента Петрарки, в модернизованном виде надежды на двойное бессмертие: духа в эмпиреях, славы на земле:

Saxum tenet ossa. Locatur
Mens superis. Mundo vivax sua fama sedebit.

Могильный камень скрывает кости. Дух
пребывает горé. В мире продолжает жить слава.

К тому же мотиву, по существу, мы вернемся в гл. X.

Таких общих мест, и притом классического происхождения, в своде гуманистических эпитафий немало: наш хороший знакомый Б. Буркелати называет их «poetiche grazie». К ним относится излюбленное, несмотря на примитивность, построение на этимологической игре именем или фамилией:

Sponte fui pauper, tam re quam nomine foelix;
Quaesivi potest, quaerat avarus opes. . .

Добровольно я был беден и счастлив (foelix) на самом
деле, как и по имени
Я хотел оправдать свое имя, тогда как скупец ищет
богатств. . .

(Феличе Феличано, ок. 1480)

Barbariem Hermoleos Latio qui depulit omnem
Barbarus hic situs est. . .

Тот, кто поборол варварство
В Лациуме, Эрмолао Барбаро поконится здесь. . .

(Эрмолао Барбаро, 1494)

Musure, ô mansure parum, properata tulisti
Praemio, namque cito tradita, rapta cito. . .

Музур, помедли немного, награда тебе досталась быстро,
Но, скоро взятая, она скоро была отнята. . .

(Марко Музуро, 1517)

К тому же разряду общих мест надо сопричислить: дар цветов на могилу; дым кадила; антитезу малой урны и великого праха как форму дифирамба; образ парок, режущих нить; представление о зависти рока и позднее всего — как находящееся в противоречии с господствующей догмой — о жестокости богов. Здесь достаточно отметить эти общие места как стилистическую особенность эпитафии; по существу же к этим мотивам предстоит возвращаться в связи с тематическим анализом.

Более интересно иллюстрировать примерами сознательное подражание определенным литературным образцам античности. Такое имеет место, например, в надгробии Леонардо Бруни Аретино, где автор, Карло Марсуппини, парафразирует прежде

всего эпитафию Плавта, приведенную Авлом Геллием («Noctes Atticae». I, 24). Это видно из сравнения обоих текстов:

Postquam Leonardo e vita
emigravit
Historia luget, eloquentia
muta est... *

Postquam est mortem aptus
Plautus, Comoedia luget,
Scena est deserta... **

Окончание того же надгробия Леонардо Бруни внушено эпитафией Невия, сохраненной теми же «Аттическими ночами». Если бы, гласит первоначальный текст, бессмертные оплакивали смертных, Камены проливали бы слезы над поэтом. В варианте XV в. сослагательное наклонение сменяется несомненною склонением изъяснительного и вводным «fertur»:*** музы греческие и латинские не могут удержать слез, провожая Леонардо.

Так же не гнушался работать Беккаделли Панормита, несмотря на поэтическую одаренность и жестокие издевательства в послании к Порчеллио над бездарными поэтами, что кропают вирши, имея перед собой сборники общих мест и звонко звучащих слов:

Exprimit ex clausis oculis laetissima quedam
verba sonora quidem... [160. P. 59—60].

Оказывается, он говорит это по опыту, если сопоставить с его автоэпитафией псевдоэпитафию Сенеки, в подлинности которой в его время никто не сомневался, и вслед за тем повторить ту же процедуру со строкой Энниевой автоэпитафии. Читаем у Беккаделли Панормиты:

Me Pater ille ingens hominorum sator atque redemptor
Evocat...

Меня призывает к себе Великий Отец людей и их искупитель...

Это подсказывал из суфлерской будки псевдо-Сенека:

Me procul a vobis deus evocat...

Бог отзывает меня от вас...

Предыдущая строка Беккаделли Панормиты: *qui regum fortia facta canat*— кто воспел великие деяния царей— также несомненно построена по типу Энния:

Hic vestrum rapxit maxima facta patrum...

Кто описал великие деяния предков— с той разницей, что республиканская тенденция римского поэта вытеснена монархической.

Если эпитафия длиной от 4 до 6 строк оказывается в зависимости от двух прототипов, то для дистиха достаточно одного:

* После того как Леонардо ушел из жизни, история надела траур, красноречие онемело (лат.).

** После того как Плавт принял смерть, комедия надела траур, сцена опустела (лат.).

*** Сообщается (лат.).

Горациево «Eхegi monumentum»* варьирует Бенивьени, относя его к Пико делла Мирандола (1493):

Ioannes iacet hic Mirandula, caetera norunt
Et Tagus, et Ganges, forsan et Antipodes. . .

Здесь покоится Иоанн Мирандола, чье имя известно
Тагу, Гангу, а быть может, и антиподам.

Тот же Гораций дает камертон пятистишию на барельефе Ланчино Курцио (1511):

En virtutem mortis nesciam. . .**

Надпись Кальфурнио (1503) представляет дистих, но зависит не только от антиязы Овидия, но и от Энния: *volito vi- vos per ora virum* — летаю живых по устам живых.

Большие мастера Возрождения, в свою очередь, являются прообразами для следующих поколений. Так, Ломбардо да Серико (1390) повторяет петрарковскую молитву к Богородице, а Квадрарио да Сульмона, вслед Боккаччо, вменяет себе в заслугу культ «божественной» поэзии (1402).

Приведенные выше примеры достаточно иллюстрируют ученическую, почти рабскую на известной ступени, зависимость поэтов Возрождения от античности; замечательно, что, несмотря на эту зависимость, те же надписи, вроде надписи Беккаделли Панормиты, как мы увидим ниже, могут тематически и культурно-исторически представлять тем не менее самостоятельный интерес. С другой стороны, на этом же ученичестве дальше и позднее вырастает новое подлинное мастерство Возрождения.

В смысле метров, уже Альбертино Муссато, Феррето де'Феррети и Джовани дель Вирджилио эмансипируются от «*esametri leonini e caudati*» со свойственной им навязчивой рифмой. Однако на протяжении XIV в. нельзя говорить о полном их изжитии, о чем свидетельствует хотя бы Тревизская эпитафия Пьетро Алигьери, сына поэта (1361). Рифма есть не только в миланской автоэпитафии Уберто Дечембрио-отца (1427), которому она еще, быть может, простительна, но и у Пьер Кандидо Дечембрио-сына (1470), вызывая в этом смысле строгое порицание Павла Иовия в соответственной «элогии».

Самым распространенным размером с XIV в. становится античный гекзаметр и, в частности, элегический дистих; с конца же XV в., с легкой руки Понтано, конкурируют самые различные метры.

Рядом с этим стремлением к обогащению формы эволюция вкуса выражается в нарастающей тенденции к лаконизму. Заданные эпитафии, по существу, всегда сводящиеся к заданию ска-

* Я воздвиг себе памятник (лат.).

** Не познало ли силу смерти (лат.).

зять многое на возможно меньшем протяжении, еще было не под силу XIV в. В эпитафиях Альбертино Муссато, Джованни Донди и других погоня за краткостью часто приводила к языковым неловкостям или темноте ухищренных ученых намеков, которые требовали подстрочных примечаний. Без них, например, неясно, о каких метрах Архилоха идет речь по отношению к автору «Ессеринис»:

...tragica qui voce tyranni
Edidit Archilochis impia gستا modis.

...кто в трагедии
Размером Архилоха изобразил жестокие деяния тирана.

Ключ надо искать в трактате Ловато де'Ловати о метрике Сенеки, образце для Муссато, которому посвящен самый трактат: ямбы Сенеки носили имя Архилоха [204. P. 412].

Желание в эпитафии-элогии сказать многое вкратце приводит, между прочим, к педантическому приему перечисления всех творений поэта и писателя в сопровождении характеризующих их эпитетов, превращая текст в тяжеловесный ученый каталог. Таково послесловие Салютати к автоэпитафии Боккаччо на его гробнице. Фактически поэтому эпитафия-надпись начала XV в. иногда доходила до 48 гекзаметров.

На фоне языковых неловкостей, темноты и тяжеловесности эпиграмматической поэзии XIV в. надо выделить Петрарку и Боккаччо. Петрарка оставил ряд эпитафий. Его толчок в смысле популяризации этого вида несомненен, но также несомненно невелика эстетическая ценность его опытов на этом поприще. Автор нанизывает общие места по определенному поводу и не трогает даже тогда, когда по совокупности других свидетельств, как при смерти внука, он на самом деле был взволнован. Автоэпитафия Петрарки и формально в смысле сохранения рифмы не порывает с эпитафией Средних Веков: она только выгодно отличается от них той краткостью, которая сообщает слову силу.

В XIV в. одиноким образцом изящного лаконизма и выразительности в отчетливом членении законченных и символически осмысленных частей остается Боккаччо как в автоэпитафии, так и в «Proseropeio di Dante», которая на итальянском языке в насыщенный сонет вливает формы говорящей от первого лица античной могильной надписи:

Fiorenza gloriosa ebbi per madre...
Ravenna fummi albergo nel mio esilio,
Et ella ha il corpo e l'alma — il sommo Padre...

Славная Флоренция была мне матерью...
Равенна была убежищем в изгнании,
Она же хранит прах, а душа пребывает у Всевышнего отца.

Дальнейшее развитие эпитафии проходит под знаком тен-

денции к элегантности, к лаконизму — к «gentilecia». С этой точки зрения Кампано предпочитал, мы видели, метрическую эпитафию прозаической.

Говоря о том, какой должна быть эпитаграмма, Л. Б. Альберти в трактате «Об архитектуре» ратовал за лаконизм, ссылаясь на Платона, который находил, что надгробие не должно превышать четырех стихов:

«И посреди начерти на колонне мне должную надпись,
Но коротко, чтобы мог едущий мимо прочесть, —

говорит некий поэт. — И конечно, чрезмерная растянутость, особенно здесь, весьма неприятна. Если все же эпитафия более растянута, то пусть будет она изящно выражена и заключает в себе то, что склоняет душу к благочестию, милосердию и благодарности, и что приятно прочитать и стоит запомнить и пересказать» [314. С. 274—275].

Б. Буркелати тоже требует краткости, предостерегая от полярно противоположных опасностей: недоступности в силу темноты и слишком вульгарной ясности; «пусть не будут слова столь ясны и общедоступны, чтобы быть понятными всем проходим и невеждам» [40. Р. 412].

Начиная с XV в. художественное развитие эпитафии-надписи особенно тесно связано с развитием эпитафии литературной и родственных ей поэтических видов: элегии, эпицеция и т. д. Здесь достаточно этого вопроса коснуться бегло, поскольку, избрав темой гуманистическую эпитафию-надпись, мы отмежевались от области чистой лирики, лирики социально безответственной. Впрочем, в истории эпитафии как литературного вида гораздо меньше имен, чем в истории эпитафии-надписи. И не потому, чтобы в этом направлении не все пробовали свои силы, а потому что круг призванных, оставивших след индивидуального творчества, невелик. При этом немногие, которые заслуживают быть отмеченными, представлены иногда одним хрестоматическим образцом. Отцовство художественной поэтической эпитафии, как уже было сказано, принадлежит Беккаделли Панормите и датируется годом издания «Гермафродита» (1426). Так же как по-своему правы были те, кто сборник сжигал на костре за показ элегантного порока, правы были и те, кто воспринял как новое откровение мастерства эту элегантность, читая хотя бы эпитафию юной белокурой Баттисты (XXII), образ которой в непринужденной грации напоминает танагрскую статуэтку:

Epitaphium Baptistae virgunculae sororis Horiectae

*Hic tumulus longe tumulo felicior omni
Baptistae auricomae virginis ossa tegit.
Dulciter haec agili pulsabat cymbala dextra,
Movit et artifices saltibus apta pedes.
Omnibus et canto plus quam Philomela placebat.*

Matre quidem pulcra pulcrior illa fuit.
Indolis egregiae minimo pro errore rubebat,
Sparsa rubore placens, fusa rubore decens.
Quum satis haec fecit naturae luce suprema,
Transierat vitae vix duo lustra suae.

Эпитафия юной Баттисты сестры Горьекты

Эта гробница, счастливейшая всех других.
Хранит останки Баттисты, златокудрой девы.
Правой она легко сотрясала кимвал
И в такт передвигала искусно ногами
Пением своим она пленяла всех более Филомелы,
Она, что красотой затмила прекрасную мать.
Превосходного нрава, она краснела от малейшей ошибки,
Прелестная во вспыхнувшем румянце, пристойная
в разлившейся краске стыда.
Так как природа создала ее достойной высшего света,
Жизнь ее длилась едва два пятилетия.

После Беккаделли и рядом с ним законченными художниками являются корифеи: не говоря о Понтано, особое положение которого было отмечено, надо назвать А. Полициано, Л. Ариосто, Ф. Бераальдо Младшего, П. Бембо, Я. Саннадзаро, П. Валерьяно и рядом с ними мало известного Пьетро Миртео. Искусство малых форм у них напоминает современное им деликатное мастерство ювелира или резчика по камню, какого-нибудь Карнеоли или Белли. Ничего лишнего: слово скупое, образ четок, архитектурника гармонична, ритм разнообразен; все сопротивление материала преодолено, как в том лирическом эпиграфическом аккорде, в котором для Пьетро Миртео разрешается смерть епископа Никколо Перотти (1480):

In obitum N. Perrotti

In villa Fugicura obit Perottus,
O villam nimis et nimis beatam,
Quae viventis haeri levare curas
Posset, nunc cineres tenet sepulti.
O villam domino beatiorem,
Cui curas moriens reliquit omnes [181. P. 119].

На смерть Н. Перотти

На вилле «Беги Забот» умер Перотти.
О вилла, столь счастливая,
Что при жизни недавно могла избавлять
Хозяина от забот, а ныне хранит его прах.
О вилла, более счастливая, чем хозяин,
Что, умирая, завещал ей все заботы.

Тем не менее это искусство не всегда удовлетворяет — часто отвращает от него некоторый внутренний холод и сухость виртуозного варьирования мотивов, нечто от литературного штампа, который вытравляет личную эмоцию. Характерно, что у Полициано, как некогда у Феррето деи Феррети, мы встречаем ряд эпитафий, посвященных одним и тем же лицам: юной Аль-

бицци и Феодору Газе. Словно поэт примеряет им наиболее элегантный костюм, не испытывая внутренней необходимости данному человеку выразить определенные вещи.

Аналогична и линия художественного развития за это время эпитафии-надписи: вместе с ростом технического мастерства, в чем мы не раз будем иметь случай убедиться ниже, она не всегда избегает перепевов. Удельный ее вес в смысле содержательности и самобытности, однако, все время остается выше эпитафии литературной.

Вслед за поэтикой эпитафии-надписи коснемся эпиграфической техники. Обычно эпитафии вырезались или гравировались на камне или мраморе — только такие и дошли до нашего времени. Но Буркелати упоминает, что первая эпитафия Роланделло, тревизского гуманиста XV в., была написана всего-навсего на пергаменте [40. P. 125], а швейцарский путешественник, который посетил в XVI в. могилу Мануила Хризолора в Констанце, читал там рядом с прозаической надписью на своде эпитафию поэтическую опять-таки на пергаменте [140. Т. 1. Prolegomena. P. 10—11]. Когда Чаконий рассказывает, что первая временная гробница папы Льва X в Ватикане покрыта была многими эпитафиями, то, вероятно, они были воспроизведены именно таким путем.¹⁵ Впрочем, рядом с материалами основными и общеупотребительными Буркелати [40. P. 197—198] свидетельствует, что встречались надписи: «in ligno, tigno, tabula... in saxo, in chartis, membranis, in papyro, in coltro, in telis».* Вместе с тем способы воспроизведения эпитафии он резюмирует так: надписи «inscribuntur, inciduntur, scalpuntur aut imprimuntur».**

В зависимости от конфигурации гробницы эпитафия помещалась на постаменте или крышке саркофага, на плоскости барельефа в стене, просто в стене, даже на своде, над гробницей или у ног на полу, в виде вмурованной в него плиты в знак смирения, дабы быть потоптанной ногами богомольцев.

Рядом с материалом и местоположением надписи особое внимание было обращено на шрифт. Надпись обычно воспроизводилась крупными буквами, маюскулами, чтобы быть видной издали, о чем напоминал сыну в элгии Альбертино Муссато; через полтора века кардинал Якопо Амманати де Пикколomini просит в завещании о том же.¹⁶ Стой же целью их часто покрывали позолотой, как это было сделано, например, для внука Франческо Петрарки и на памятнике Гварино да Верона [20. P. 197—198].

Но имели значение не только величина букв и позолота их для лучшей видимости, но и пропорции [43. Buch. 2. Kap. 5. §. 161; 151]. Ряд трактатов, посвященных этому столь специаль-

* На дереве, на свинце, на доске, в камне, на бумаге, на пергамене, на папирусе, на ткани (лат.).

** Начертываются, высекаются, вырезаются или оттискиваются (лат.).

ному, на наш взгляд, вопросу, показывает, какое внимание изощренный глаз эпохи уделял палеографической технике. Первый из этих трактатов под заглавием «De formis litterarum Latinorum» был написан известным эпитафистом Феличе Феличано из Вероны, который ссылается на изучение римских надписей в смысле прообраза. Кодекс в издании Р. Шене [106. Т. 1. Р. 225—268] помечен 15 июня 1481 г., тогда как ныне «Enciclopedia Italiana» в статье «Calligrafia» относит его уже к 1463 г. [104. Vol. 8. Р. 429]. В 1881 г. Дехио нашел в рукописях Хартманна Шеделя копию аналогичного трактата итальянского происхождения под заглавием «Ars litteraria»* [91]. Давно были известны более поздние приложения к трактату «De divina proportione» Луки Пачоли¹⁷ и указания А. Дюрера в «Unterweysung der Messung mit dem Zirkel und Richtscheyt» (1515). Зависимость Пачоли и Дюрера от более ранних опытов выяснилась после публикаций Р. Шене и Г. Дехио, а роль Феличе Феличано как родоначальника доказывалась мной в другой работе.

Построение, лежащее в основе трактатов, отчетливее всего формулирует во введении аноним Дехио. Исходной величиной является высота букв, которая может быть выбрана по произволу. Соответственно высоте чертится квадрат. Одна двенадцатая, десятая или девятая его часть как коэффициент пропорциональности дают по желанию предельную толщину частей.

Сигли. В состав эпитафии эпохи итальянского Возрождения часто входят сигли, отчасти заимствованные у античной эпитафики, отчасти новейшего происхождения. Ввиду того, что многие из гуманистических эпитафий сохранены только литературной традицией, которая ими пренебрегала, сведения в этом направлении пока остаются недостаточными. Кроме того, насколько известно автору, для раскрытия сиглей новейших не проделана и общая предварительная критическая работа. Списки аббревиатур, а также трудов, их содержащих, приводит Буркелати [40. Р. 124—126].¹⁸

Интереснее всего было бы проследить судьбу сакраментальных букв DM и DMS (Dis Manibus и Dis Manibus sacrum).** В очень ранний период они получили христианскую интерпретацию и вариацию Deo Maximo и Deo Optimo Maximo (DOM).*** Встречаясь в надгробиях лиц духовного звания, часто они и должны иметь такой смысл.¹⁹ Но в XV—XVI вв. они несомненно начинают принимать и старое значение, если они не намеренно двусмысленны. В сигле DMS на памятнике Пико делла Мирандола (Флоренция, 1493) они, видимо, воспроизводят античную формулу. В то же время термин «маны» прони-

* Искусство письма (лат.).

** Богам манам, богам манам святилище (лат.).

*** Высшему Богу, Богу всеблагому и высшему (лат.).

кает и в самый текст надгробий, как, например, у Челио Кальканьини (1541). Несомненно, это имеет место в мраморной плите памяти Ю. Помпония Лета [82. VI⁵ 3477*], воздвигнутой его учениками Марк-Антонио Альтьери и Кампано Антонио Сеттимулейо на Аппиевой дороге. О возобновлении обряда заклинания манов рассказывает Пьеро Валериано в трактате «О несчастьях ученых людей»: гуманист Марио Каттенео из Новары так поминал своего ученика Иоанна Бонифация, погибшего от чумы в 1527 г. при осаде Рима и оставшегося без погребения [299. P. 101—102]. Проблема этого сигля заслуживала бы специального исследования на более богатом материале.²⁰

Можно резюмировать:

Гуманистическая эпитафия-надпись в результате нашего изучения ее с точки зрения фактуры в направлении поэтики и эпиграфической техники является ученым архаизмом, который с постоянной оглядкой на нормы античности возрождает одну из «форм его пафоса», один из видов своеобразного искусства малых форм, где перед лицом смерти слово и письмо состязаются в четкости, силе и изяществе. На искусство тем самым ложится отпечаток серьезности и трагизма, хотя бы оно имело своим источником бегство в эстетику и архаику от трагического.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Уберто Дечембрио (1427), Бартоломео Платина (1481), Джованни Кальфурнио (1503), Агостино Маффеи (1526), Леонико Томео (1531), Фаворино да Камерино (1537), кардинал Джироламо Алеандро (1542), Андреа Альчато (1552).

² Кардинал Виссарион (1466), Иоанн Ласкарис (1535).

³ Пьетро Аретино (1556), Спероне Сперони (1585).

⁴ Леонико Томео (1531), кардинал Джироламо Алеандро (1541).

⁵ Бьяджо Пелакане (1416), папа Николай V (1544), епископ Пьетро делла Валле (1463), Антонио Сеттимулейо Кампанс (1467) и т. д.

⁶ Лоренцо Валла (1457).

⁷ Луиджи Марсили (1394), Гварино да Верона (1460).

⁸ Филиппо Бераальдо Старший (1505).

⁹ Джованни Ауриспа (1459), Пьетро Марси (1481), Аннио да Витербо (1502), Джироламо Вида (1566).

¹⁰ Флавио Бьондо (1463), Роберто Вальтурио (1482), Николетто Верниа (1499), Бернардо Ручеллаи (1514).

¹¹ У Беккаделли Панормиты, Элизио Каленцио, Джан Джовиано Понтано, Челио Кальканьини, Лелио Грегорио Джиральди.

¹² У Мануила Хризолора, Донато Аччайуоли, Пьетро Помпонаци.

¹³ У Баттисты Паллавицино (1466), Пьетро Марси (1481), Марка Музуфра (1517), Агостино Нифо (1538) и др.

¹⁴ Fast. T. 2. P. 530—580. По учению стоиков, на земле погибает тело; «mens» и «anima» поднимаются на луну, там «mens» очищается и подымается в эфир, а душа бродит (Plutarch. De facie in orbe lunae).

¹⁵ См. Приложение. Экскурсы III.

¹⁶ См. Приложение. Опыт библиографии гуманистической эпитафии (с. 195), Якопо Амманати де Пикколомини (1479).

¹⁷ Переиздано С. Winterberg'ом [308a].

¹⁸ Приводим встречающиеся в наших надписях сиглы:

1467. Antonio Settimuleio Campano. H.S.F.A.M.B.

1477. Antonio degli Agli. T.P.I.

1481. Pietro Marsi. D.T.M.M.

1521. Marsilio Ficino. S.P.Q.F.

ок. 1540. Giano Anisio. H.M.H.N.S.

1541. Celio Calcagnini. H.M.H.N.S.

1522. Lazaro Bonamico. D.H.M.D.M.A.

¹⁹ Антонио делья Альи (1477), Аннио да Витербо (1502).

²⁰ Из надписей в этом смысле можно указать: эпитафию веронского судьи Agostino de Julfinis (1476) [270. P. 239^v; 169. T. 2. P. 64]; автоэпитафию Лодовико Страццароли Помтико да Тревиджи (1504) и венецианскую эпитафию Никколо да Понте (1520) [73. T. 1. P. 58. N 72]. Призыв к манам содержит также элегия Филиппо Буонаккорси на смерть Марка «Deplo-ratio Marco», имевшую место во время их бегства из Рима после процесса римских академиков 1468—1469 гг. [155. P. 89—90].

Глава V

STUDIA HUMANITATIS *

От «*alta poesis*» к «*ars loqui*». Эпитафии Боккаччо и Лоренцо Валлы как вехи от гуманизма «мистического» к гуманизму критическому и филологическому. Обзорение гуманистических эпитафий в этих пределах. Приемы ранних количественных оценок от схоластической учености: прием библиографического списка трудов (по Колюччо Салютати); от числа трудов (по Пьер Кандидо Дечембрио); от универсализма (Карло Марсуппини Аретино); от художественного почерка (Баттиста Паллавичино). Поворот от «*altae poesis*» к идеалу неолатинской поэзии. Содержание *ars vivendi* как суммы индивидуальных достижений. Комментарии, словари, археология, нумизматика, история, педагогика, философия. История эллинизма. Переводы с греческого. Греческие тексты в эпитафиях. Отражение в них профессионального пафоса гуманистов и его эхо в окружающей среде. Эпитафия как трибуна и рупор.

Eine Grabschrift ist ja eigentlich eine Lebensschrift, indem sie die Grabstätte durch die Erinnerung an das Leben beleben will. Dient sie also als Gegengewicht des Todes, warum sollte sie nicht auch dem Lebendigen ein Übergewicht geben?
(W. Goethe, 1807, in einem Brief)**

* Ученые занятия гуманистов (лат.).

** «Надгробная надпись является собственно надписью жизни, так как она имеет целью придать жизнь местам погребения через воспоминания о жизни. Если она, стало быть, служит противовесом смерти, почему она не может дать и живому некоторое превосходство?» (Гете. Из письма. 1807).

Джованни Боккаччо, который отчеканил первую совершенную по форме эпитафию, в ней же дал формулу раннего «мистического» гуманизма:

Haec sub mole iacent cineres et ossa Ioannis,
Mens sedet ante Deum meritis ornata laborum
Mortalis vitae genitor Boccatius illo,
Patria Certaldum, studium fuit alma poesis.

Под этой плитой покоятся прах и кости Иоанна,
Душа предстоит перед Богом, украшенная заслугами трудов,
Смертную жизнь дал ему родитель Боккаччо,
Родиной был Чертальдо, предметом занятий — кормилица-поэзия.

«*Studium fuit alma poesis*», — исповедует он публично, видя заслугу в трудах, предметом которых была «*alma poesis*». Эпитет «*alma*» употреблен им в смысле книг XIV и XV «Генеалогии богов», для которых «Фьяметта» и «Декамерон» — заблуждения юности, а истинное назначение вдохновенного поэта, «*vates*», в том, чтобы под аллегорической оболочкой прорицать сокровенное и божественное — «*sub verborum cortice excelsa divinorum misteria*»* [28.XIV.8].

Почва для такого понимания взрыхлена была давно. На пороге XIV в., как мы говорили выше по поводу генеалогии гуманистической эпитафии, «смена веж» на передовой пост вместо схоласта и поэта «*del dolce stil nuovo*»** выдвинула новый тип «властителя дум», гуманиста, «*poeta-vates*»,*** ученого и поэта в одном лице; но поэта классического, который хотел говорить и писать на языке древних. Однако ни уши, ни глаза его еще не раскрылись достаточно, чтобы воспринимать древних непосредственно, и он смотрел на них через привычную призму богословия и мистического символизма: прошлое всегда живет в настоящем. С этого поколения рождается на свет под импульсом индивидуализма гуманистическая эпитафия, чтобы у Боккаччо вместить символ веры гуманиста и его теодицею поэзии. Вослед Альбертино Муссато Боккаччо вел теоретическое обоснование его от плохо понятого тезиса Аристотеля: «*Gentiles poetas mythicos esse theologos, poetae — primi theologisantes*»**** [28], как Музей, Лин и Орфей. Аристотель выражал этим мысль, что поэзия родилась из мифа, от богословов — его концепция находится в плоскости истории и бытия. Категория бытия по недоразумению была интерпретирована как категория долженствования — между сказуемым и подлежащим оказалась подмененной связка. В раннюю пору гуманизма Боккаччо перед собой и перед другими стремился оправдать смысл своей жизни таким толкованием призвания поэта, которое успокаивает

* Под оболочкой слов — высочайшее таинство божественного (лат.).

** В сладостном новом стиле (ит.).

*** Поэта-пророка (лат.).

**** Языческие поэты — суть богословы, поэты были первыми, кто рассуждал о божественном (лат.).

вало бы угрызения его собственной религиозной совести и заставляло бы других признать его историческую миссию. Равняясь по богословию, Боккаччо хотел видеть в поэзии только ее разновидность, а в себе ее глоссатора, в каком-то поэте будто бы нуждаются так же, как философы, медики, юристы и богословы. Заключение автоэпитафии «Sub verborum cogitice»^{*} формулирует, таким образом, догмат мистического гуманизма и поэзии как священнослужения. Он нелегко достался автору: в нем целый клубок притяжений и отталкиваний, сомнений и страхов, усилий мысли и софизмов.

Формулу для следующего этапа гуманизма дает эпитафия Лоренцо Валлы. Самый большой и принципиально важный сдвиг в истории гуманизма есть шаг от гуманизма мистическо-богословского, который на самом деле ведет свою поэтику, оглядываясь на «Божественную Комедию» и поэзию «сладостного нового стиля», но ищет ей санкции у Аристотеля, — к гуманизму филологическому и критическому, шаг от «poeta-vates» к «poeta-philologus»,^{**} если воспользоваться терминологией К. Фосслера [306]. На расстоянии от первого до второго гуманизм становится на собственные ноги и перестает нуждаться в контрфорсах.

Однако эпитафия Лоренцо Валлы предварительно должна быть восстановлена в первоначальной полноте. Валла похоронен был в Риме, в древней Латеранской базилике, каноником которой он был; там до сих пор можно прочесть надпись:

Harum aedium sacrorum Canonico Alphonsi Regis et Pontifis Max. Secretario, Apostolico scriptori, qui suo aetate omnes eloquentia superavit, Catharina mater filio pientissimo pos. vixit annos L, obiit Anno MCCCCLXVII Augusti Kalend.

Сего святого храма канонику, секретарю короля Альфонса и папы, апостолическому скриптору, который в свое время всех превзошел красноречием, преданнейшему сыну, поставила сей памятник Катарина мать. Жил 50 лет, скончался 1 августа 1467 г.

П. Иовий и Шрадер читали дальше дистих:

Laurens Valla iacet, Romanae gloria linguae,
Primus enim docuit qua decet arte loqui.

Здесь покоится Лаврентий Валла, слава латинского языка,
Ибо он первый научил искусству речи.

В. Форчелла, эпиграфист 60-х годов XIX в., который обычно справляется с литературной традицией, приводит только прозаическую часть. Биограф Лоренцо Валлы, Дж. Манчини готов усомниться в существовании дистиха [172. P. 325—326]. Возникает вопрос о составе первоначальной надписи.

* Под оболочкой слов (лат.).

** Поэту-филологу (лат.).

История памятника Валлы у Манчини изложена неполно. Он сообщает, что при папе Клименте VIII при перестройке статуя Валлы была временно удалена; установлена вновь в современном виде после длительного промежутка в 1825 г. аббатом Франческо Канчелльере. Манчини умалчивает, что надпись своим сохранением была обязана иностранцу, ученому Б. Г. Нибуру; она уже была использована для мощения [197. S. 11]. Эти перипетии в полной мере могут объяснить исчезновение части надписи. Если для Манчини этого недостаточно, то это объясняется тем, что он затрудняется оценить достоверность свидетельства Иовия. Что же касается В. Форчелла, то у него фигура умолчания обусловлена его клерикальной точкой зрения: он предпочитает не обнаруживать лишний раз обмирщения и попустительства церкви. Вопрос должен быть, следовательно, разрешен критическим обращением к Иовию и Шрадеру.

Не приводя по обыкновению *in extenso** прозаической части эпитафии, Иовий точно описывает местоположение памятника — *quod in Laterano introeuntibus ad dexteram spectatur*** — и сообщает, что памятник был воздвигнут матерью гуманиста, Катариной, и снабжен элогией. Имя матери почерпнуто из прозаической части, ему тоже, следовательно, известной, но он не мог назвать элогией эту прозаическую часть, представляющую перечисление титулов. Вместе с тем спорный дистих у него следует непосредственно за текстом на первом месте, как у него, обычно выделяются среди всех эпитафии-надписи,¹ точно им всегда локализуемые. Таким образом, вопрос решается уже свидетельством Иовия; но тот же текст приводит и Шрадер как очевидец и бесспорный авторитет XVI в. Наконец, можно сослаться дополнительно на «Итинерарий» Ф. Шотта и Ф. Иеронима, куда входят только эпитафии-надписи, которые эти путешественники видели около 1600 г. [269. Pars 2. P. 33], причем среди них есть и та, что нас специально интересует.

Теперь можно перейти к смыслу надписи. Это есть резюме знаменитых «Элегантций латинского языка», кредо гуманиста-филолога. Во введении к этому трактату, в красноречивой хвале латинскому языку, язык этот трактуется как ключ ко всякой образованности, к мировой культуре. Римляне, гласит текст, покорили народы вселенной, но совершили еще большее, дав им свой язык. Народы сбросили с себя иго римского владычества, но сохранили латинский язык как лучшее сокровище. Через посредство латинского языка Рим духовно и поныне владычествует над миром, ибо в нем заключаются все науки, достойные свободного мужа [300. Linguae Latinae Elegantiarum. L. 1. Praefatio]. Борьбой за возрождение латинского языка Л. Валла ста-

* Подробно (лат.).

** Который вступающий в Латеран видит по правую руку (лат.).

вит себя тем самым в средоточие всей культуры. Те же мысли Валла проводит в диалоге «О наслаждении»: то, чем обладают философия и диалектика, они получают как держание от «царицы — Речи» [300. De voluptate. L. 1. Cap. X. Fol. 907].

Когда в эпоху католической реакции слух к диссонансам обострился, он был уловлен и в надгробном дистихе Валлы. При той же перестройке базилики при Клименте VIII, когда временно была удалена статуя Валлы, стены капеллы были расписаны фресками, изображающими крещение и дар Константина, легенду, уничтоженную и осмеянную этим самым каноником. По иронии судьбы фрески и порфиновая купель Латеранского баптистерия, где происходило легендарное крещение Константина и где на самом деле мистический омывался Кола ди Риенцо, в конце концов оказались по соседству с памятником Лоренцо Валле. Его окружение по смерти столь же двусмысленно, как двулик был его лукавый образ при жизни.

Эпитафии Боккаччо и Валлы содержат таким образом очередные и сменяющиеся лозунги гуманизма. В своем символизме эти лозунги ставят, как вехи по пути, кардинальную проблему гуманизма в ее эволюции. Эти вехи с полной отчетливостью совпадают с периодизацией, намечаемой современной исторической наукой. Отсюда и на этой базе — от «*alma roesis*» до «*ars loqui*»* — в том условном и широком смысле, какой эти термины имели на языке своего времени, мы обозрим свод надписей гуманистов как свод эпилогов многих жизней, объединенных одним устремлением, ибо в пределы этих формул вмещается весь гуманизм, наивный и зрелый, мистический и критически-филологический, в своем содержании и в смене оценок. В направлении содержания — надо оговориться — этот свод, конечно, не может претендовать на то, чтобы стать источником новых объективных данных; наоборот, в своих кратких вердиктах он представляет только сжатый компендий, рекапитулирующий давно выявленные достижения гуманизма в области поэзии, комментариев к древним, собрания надписей, археологии, нумизматики, истории, права, педагогики, философии — на службе у филологии, «*ars loqui*». В этой части интереснее всего проследить на эпитафиях путь углубления этой «*ars loqui*» от подготовительной стадии ученичества к овладению вместе с языком и языками высшими областями культуры. Для истории гуманизма наш свод вместе с тем представляет интерес, как нетронутый до сих пор наукой вид литературно-эпиграфического творчества, и притом такого, которое, подобно другим, складывалось под непрерывным влиянием древности — в этом смысле нас отчасти занимала выше поэтика эпитафии, так что сфера воздействия античности еще расширяется и соответст-

* Искусства говорить (лат.).

венно богаче становится содержание гуманизма. Основная ценность этого материала для истории гуманизма, однако, в том, что в ранней стадии он представляет его рост в свете ряда современных ему оценок индивидуальных достижений. Эти оценки резюмируют задачи и успехи каждого этапа в том субъективном виде, в каком они являлись своему времени, а это свое время видит все по-своему и видит вместе с тем иногда то, чего потомки, и мы в том числе, можем уже не замечать. В смене времени эти оценки дают для ранней поры меру его наивного педантизма. Вслед за тем в пору зрелого гуманизма они переносят нас в его духовную атмосферу, приобщая к его профессиональному этосу и пафосу, которые оспаривают место у религии и заменяют ее, говоря о самом дорогом достоянии при последних счетах с жизнью; те же надписи показывают, как «заражал» этот пафос меценатов, попутчиков, окружающую среду. В каждом отдельном случае каждое отдельное признание и мнение как будто только субъективно-эмоциональны; в вековом и коллективном накоплении, в хоре голосов те же признания представляют движущее и объективное одушевление как имманентную силу движения, его фермент. В этом смысле эпитафии, быть может, незаменимы.

Вернемся к тому, что мы уже отчасти слышали: ранняя эпитафия XIV в. пытается действовать на воображение множеством, импонировать постатейным перечислением трудов, давая их каталог, их библиографический список как памятник прилежания — «multo digesta labore» — с соответственной для каждого аттестацией.² Так разрешил свою задачу Колюччо Салютати в отношении Боккаччо, сдержанность которого в автоэпитафии побудила его почитателя к полемике на могильной плите и продолжению надписи:

Inclite cur vates humili sermone locutus?
 De te pertransis tu Pascua carmine claro
 In sublime vehis. Tu montum nomina, tuque
 Sylvas et fontes, fluvios et stagna, locosque
 Cum maribus multo digesta labore relinquis;
 Illustresque viros infaustis casibus actos,
 In nostrum tempus a primo colligis Adam,
 Tu celebras claras alto dictamine matres,
 Tu divos omnes ignota ab origine ducens
 Per te quina refers divina volumina. Nulli
 Cessurus veterum, te vulgo mille labores
 Percelebrem faciunt. Aetas te nulla silebit.

Почему, великий поэт, ты говорил о себе столь смиренно?
 Ты превознес в славных «экклогах» пастушескую жизнь.
 Ты оставил, как плод великого труда, в большом списке
 Имена гор, рощ и источников, рек и болот, мест и морей.
 Ты, первый в наше время, собрал
 «Сказания о несчастьях великих людей», начиная с Адама,
 Ты возвышенным слогом прославил «именитых жен»,
 «Генеалогию богов», никому неведомую, от самого начала

Ты восстановил в божественных томах.
Ты не уступаешь никому из древних, известный
Также множеством трудов на простонародном
языке. Будущие века не забудут тебя.

Мы узнаем в парафразах труды эпохи ученого отшельничества в Чертальдо: эклоги, географический словарь, книги о великих мужах и женщинах, генеалогию богов — о трудах на *volgare* речь идет вскользь и мимоходом.

Постатейному каталогу или «*Bibliographie raisonnée*» аналогичен прием, который бьет на эффект числом трудов, как таковых, без характеристик. К нему прибегает эпитафия, достаточно поздняя, Пьер Кандидо Дечембрио (1470), который тут же на барельефе в «*contarresto*»* представлен смиренно преклоняющим колени перед Мадонной с предстоящими святыми, как бы замаливая смертный грех гордости.

Он оставил после себя на память болсе ста двадцати семи трудов, не считая трудов на *volgare*.

Труды на *volgare* в счет не идут, а по поводу самой внушительной цифры надо заметить, что вряд ли она даже составителем текста понималась как число законченных независимых трудов. Скорее, она соответствовала общему числу книг, разделов (*liber*), на которые распадался каждый труд и даже собрание писем. Иначе — к чему нет никаких оснований — следовало бы предположить, что по сравнению с известными нам большинство трудов Дечембрио затерялось.³

Рядом с аргументами от числа надо поставить аргумент от объема, который гуманизм унаследовал от схоластики. Ожесточенная полемика ранних гуманистов с легистами, медиками и богословами не мешала тому, чтобы у противников оставалась и общая платформа — прежде всего в смысле культа энциклопедизма. Эпитафии схоластов передают его вытеснившим их врагам и соперникам. В самом деле, в 1194 г. Бургундио из Пизы представлен таким всеобъемлющим ученым:

Omne quod est natum terris sub sole locatum,
Hic plene scivit scibile quicquid erat...⁴

и далее перечисляются науки, которыми его умудрила «Мудрость в трех лицах». В XV и XVI вв. здесь по существу ничего не меняется, если не говорить о том, что из поля зрения исчезает трансцендентный источник всякого знания. Можно убедиться в том, что те же мерила, только в более элегантной форме, прилагаются к людям такой классической выучки, как флорентийский канцлер Карло Марсуппини (1453), тому,

* Противопоставление (*ит.*). В данном случае фигура гуманиста расположена симметрично в обратном повороте по отношению к фигуре Мадонны.

Ingenio cuius non satis orbis erat,
Qua natura, polus, quae mors ferat, omnia novit. . .

Чей ум вмещал больше, чем мир,
Кто знал природу, небеса, смерть, кто знал все. . .

Это в порядке вещей, если вспомнить, что гуманист первой половины кваттроченто остается верен типу начетничества, который любит подавлять памятью, вечной всеобъемлющей памятью. Критерий эпитафии гуманиста здесь соответствует критерию биографа, книгопродавца Веспасиано да Бистиччи, который так передает впечатление от первой лекции Марсуппини во Флорентийском студиио:

«Первое утро, когда он читал и там присутствовало великое множество ученых мужей, он дал замечательное доказательство памяти, ибо не было ни у греков, ни у латинян писателя, которого мэтр Карло не цитировал бы в это утро. Все тому удивлялись» [302. P. 440]. Множество цитат, которыми ныне нас тяготят авторы XV в., тогда в кулуарах вызывало ропот одобрения по адресу витии.

В хоре согласных мнений⁵ разногласие в оценке энциклопедизма впервые обнаруживается в эпитафии Фра Баттиста Спаньюоло Мантовано (1516), который в области христианско-гуманистического эпоса мерил силы с земляком Вергилием. По мнению Пьетро Миртео, автора надписи, погоня за ученостью повредила поэтическому творчеству второго Марона, отвлекло его от главной цели:

In fluctus varios scientiarum
Musas coluit minore cura

В потоке разных наук
Он меньше лелеял муз. . .

Как угловат и наивен еще живописец и ваятель раннего кваттроченто, так и ученый гуманист XV в. еще в большей мере примитив. Действительно, не только численность и абсолютное число трудов, не только универсальность является достойным предметом отличия для XV в., но может быть поставлен в особую заслугу художественный почерк писца-каллиграфа, причем эстетическое начало здесь своеобразно сочетается с уважением к одному из орудий учености — накануне появления печатного станка. На это указывает надпись Баттиста Паллавичино из знатного графского рода, сперва апостолического секретаря, потом епископа Реджио (1466):

Rarus in orbe fuit qui te vel carmine possit
Vincere, vel calamo se aequiparare tuo. . .

Мало в мире было таких, кто мог в стихах
Победить тебя или сравниться с тобой красотой почерка.

Мерка эпитафии есть опять-таки мерка биографии, и это убеждает в неслучайности сопоставления талантов поэтического

и каллиграфического. Знакомец Паллавичино, Гаспаре Веронский в связи с характеристикой куриалов эпохи папы Павла II пишет: «Паллавичино я знал как отличного героя прозы и метрики; также превосходил он всех смертных в искусстве писать латинские буквы» [241. Fasc. 22. P. 5, 6, 17, 24].

Так мерила ранней гуманистической эпитафии до середины XV в. примерно упираются в схоластическую ученость и культуру и по существу, и формально, и технически. По существу и идеологически — поскольку «мистический» гуманизм оправдывает свое существование теорией «*almae roesis*», формально — общим идеалом начетничества и универсализма; технически — рукописными кодексами, которые в эту пору художественно тщательно переписываются, и в то же время гуманизм вращается в следующую стадию «*artis loqui*» в ее новых задачах и новом пафосе. Количество и объем в оценках отступают на задний план по мере того, как по отношению к объектам знания начинается процесс дифференциации и отчетливо обозначается предпочтение одной из составных частей.

Эволюция сказывается в том, что поэзия как признание теряет свой эпитет «*alma*» в смысле трансцендентно-богословском и спускается на землю, но в античном хитоне. Автономная поэзия получает ценность и сама по себе, и как поэзия неолатинская, по мере того как музы изменяют священным источникам Фессалии и Беотии, Либетрону и Пермессу, ради берегов итальянских озер, откуда родом Домицио Кальдерино (ум. 1478):

Adsta, viator, pulverum vides sacrum,
Quem vorticosa turbat unda Benaci,
Hoc mutat ipsum saepe Musa Libethron,
Fontemque Sisyphi ac vireta Permessi...

Стой, путник, ты видишь священный прах,
Что тревожит бурная волна Бенака.*
Ради него-то муза изменила Либетрону,
И источнику Сизифа, и роще Пермесса...

В юном Джованни Котта, прекрасном эротическом поэте, погибшем в 1510 г. от чумы, ученая Верона хотела видеть второго Катулла, но жестокость богов обрекла ее на вторичное вдовство:

Experta es duros bis viduata Deos.**

Затмение светила вызывает элегический вздох о незаменном певце и ученом над могилой болонца Филиппо Бироальдо Старшего (1505):

O literae, o cantus, o Apollines vobis in posterum (heu)
quid fiet.

* Латинское название озера Гарда (прим. авт.).

** Дважды овдовев, ты испытала жестокую волю богов (лат.).

О науки, о песни, о Аполлон, что-то будет, увы, с вами
дальше.

О Лампридио, поэте и эллинисте, читаем (1540):

Lampridium, carum Musis, hic Mantua servat.

Лампридия, любезного музам, Мантуя хранит здесь.

Несколько холодный риторизм отмечает нередко эти выбранные из большинства или подобные⁶ оценки, которые дорожат больше всего виртуозностью, счастливой легкостью — «*miga facilitas*»⁷, тем более, что она досталась еще недавно и так далеко оставляет позади тяжеловесность схоластической латыни.

Пойдем теперь по линии развития «*artis loqui*», «*artis loquendi*»,* т. е. критической филологии в очень широком смысле, которая на этой ступени является ключом к сокровищнице всего знания, и посмотрим, к чему примерно и в общих чертах сводится ее содержание в зеркале эпитафии.

Древние авторы извлечены из недр монастырских библиотек, но их надо научиться читать и понимать; путь к ним закрыт темнотой текста, и остроумный комментатор освещает его:

Intulit hic vatum caecis pia lumina chartis,
Obstrusum ad musas hic patefacit iter. . .

Темные письма вещей певцов он освещает благодетельным светом,

Открывает прегражденный к музам путь. . .

объясняет А. Полициано как мастер реального комментария заслугу ученого коллеги, Домицио Кальдерино, и к тому же мотиву возвращается во второй эпитафии ему же, написанной для кенотафа на озере Гарда:

Открывая удивительный смысл сокровенных слов поэтов. . .

Ученый аппарат требует далее словарей, и составление такого вменяется в актив эллиниста Варино да Камерино (1537) как Дедалов труд — «*librum daedaleum*»,** требующий столько же знания реалий, как слов. Обнародованием грамматики тот же в единоборстве с греческим языком сравнялся воинственной славой со Сципионом — Леонардо да Порто взял на себя задачу привести к мерам XVI в. «монеты, меры и весы древних» и в нумизматических и метрологических штудиях приблизил их к пониманию в числе и протяжении (1545).

Эти свои разнообразные знания гуманист несет юношеству или применяет их как историк нового времени. В ипостаси педагога Домицио Кальдерино представлен

Dictata dantem romule iuventuti.***

* Искусства речи (лат.).

** Дедалова книга (лат.).

*** Римскому юношеству дающим поучения (лат.).

Гварино да Верона как «превосходный укротитель юношества» известен во всех краях мира (1460), а Франческо Филельфо (1481) «смерть воспрепятствовала воспитывать умы» — *ingeniis grassans mors posuisse pequit*.

Наконец, благодарный ученик, Триссино, присваивает Дмитрию Халкондилу как учителю эпитет «святой», «*sanctissimus*» (1511).

В области исторических штудий обращают на себя внимание эпитафии итальянских гуманистов, которые насаждали новую критическую историографию, порывавшую с традициями средневековой хроники, за пределами своего отечества: Эмилия Павла (ум. 1529), что оставил «*Historiam de rebus Francorum*»,* и Пьетро Англарио Мартира (ум. 1526), «*rerum aetate postea gestarum et novi orbis ignoti illustratori*»,** первого историка Южной Америки, умершего в Гренаде.⁸

Проходит перед нами и история эллинизма на ряде ступеней, в постепенной ассимиляции языка и культуры. В ранней стадии, характерной не только для эпохи «Декамерона», но и для следующего поколения, греческая лексика вторгается в итальянскую и латинскую речь в качестве звучного, широковещательного и ученого придатка, остающегося чужеродным в этой стихии и требующего пояснения. Шегольнуть греческим словом в тексте, хотя бы и с ошибкой, есть признак хорошего вкуса; оно должно сообщить особую выпренность велеречивым гексаметрам, чествующим Бьяджо Пелакане, натурфилософа, математика и поэта:

*Anomomere jacet hic pars ossea molis,
Mens alit in celum felicibus hospita castris.*

Расколовшись на составные части, кости почивают под плитой,
А душа парит в небесах, восхищенная, в более счастливый приют.

Знакомая антитеза Овидия здесь обновлена термином «*аномомегес*» — неравночастного, который надо, очевидно, понимать в смысле человека, состоящего из двух разных начал, праха и духа, и их ожидает разная участь.⁹

На следующей стадии в эпитафии Уберто Дечембрио (ум. 1427) впервые встречается цельный греческий текст, но это есть текст заимствованный и запоминаемый наизусть, текст молитвы: язык есть путь к отцам церкви и христианской древности; ученость служит религии.

Одновременно идет наводнение литературы переводами с греческого языка, которые делают латинскому Западу доступными тех авторов, которые оставались за семью печатями; известно,

* «Историю о деяниях франков» (лат.).

** «Описателю деяний, совершенных в наше время и нового неведомого круга земель» (лат.).

что Петрарка мог только любоваться в своей библиотеке томами с сочинениями Платона. Ценность этих переводов и спрос на них явствует из того, что при подведении последних итогов жизни они в эту пору неукоснительно ставятся в актив. Мы читаем о том же Уберто Дечембрио:

Platonicae dederat translata volumina turbis
Argivae...

Он дал толпе в переводе греческие тома Платона...

О Франческо Барбаро (1453):

Graesaeque praeterea fecit Romana...*

О поощрении переводческой деятельности папой Николаем V (1455):

Attica Romanae complura volumina linguae
Prodidit...**

О Никколо делла Валле (1473), первом переводчике Гесиода и нескольких песен Гомера в стихах:

Iliadem et Hesiodum heroico carmine in latinum vertit,***—

говорит о нем отец, Лелио делла Валле.

Судьба Никколо [150] особенно хорошо вводит в атмосферу культа, которым окружены были тогда эллинистические штудии. Переводы Никколо, умершего в ранней юности, были его миссией, предназначенной ему отцом и дедом, и эти же переводы сохранили его имя среди гуманистов. Его дедом по матери был тот Ченчо Рустичи, ученик Франческо да Фиано и товарищ Поджо Браччолини, с которым в эпоху Констанцского собора он был занят поисками античных рукописей в швейцарских монастырях; позднее тот же Ченчо перевел с греческого диалог «Ахиохус» — «О презрении к смерти», который тогда приписывали Платону. Отец Никколо, Лелио делла Валле — «sacri consistorii et rauperum advocatus», «magister piombi»,**** — коллекционировал вместе с братом Пьетро антики и надписи и был столь учен, что первый мог обратить внимание Юлия Помпония Лета на неизвестного еще тому Варрона. Поэтому путь сыновей Лелио был предуказан заранее, как о том свидетельствовал приятель отца, небезызвестный Джованни Антонио Кампано:

Lelius hoc genitor musis Phoeboque dicavit
Et pleno biberunt ex Helicone manu... [51. Epistolae. VI. 1].

Лелий-родитель посвятил сие Музам и Фебу;
И щедро пили они из Геликона...

* Кроме того, он превратил греческие сочинения в латинские (лат.).

** Множество аттических книг передал языку римлян (лат.).

*** Илиаду и Гесиода он героическим стихом на латынь переложил (лат.).

**** Поверенный святой консистории и бедных, магистр печати (лат.).

Тот же отец позаботился о том, чтобы сохранить имя сына-эллиниста в третьем поколении, если считать от деда, в памяти потомства. При жизни его он издал «Работы и дни» Гесиода в числе первых книг, прошедших через печатный станок в Риме, а Гомер вышел уже посмертным изданием.¹⁰ Одновременно эпитафия-мемория говорила о заслугах поэта-переводчика, которые засчитывались наравне с постоянной кротостью и повиновением отцовской воле. О том же, что Никколо как поэт-переводчик не был забыт последующими поколениями гуманистов, свидетельствуют позднейшие трактаты и сводные труды с каталогами гуманистов: он назван Паоло Кортезе в трактате «De hominibus doctis»: * мы находим его у Пьеро Валериано в его сетованиях «De litteratorum infelicitate».**

На следующей стадии освоения в эпитафиях начинает звучать живая эллинская речь. Естественно, что раньше всего на родном языке говорят в автоэпитафиях изгнанники-византийцы: кардинал Виссарийон, Михаил Апостолийос, Иоанн Ласкарис, очевидно, рассчитывая при этом быть понятными латинянам, у которых они нашли последний приют. Затем и последние начинают к нему прибегать, чаще наряду с латынью, иногда один и тот же текст приведен по-латыни и по-гречески, как у Джованни Кальфурнио (1503). Чаще латинская и греческая часть не повторяют друг друга по содержанию, а взаимно дополняют. В этих двуязычных надписях, относящихся большей частью к XVI в.,¹¹ находят выражение на греческом языке мотивы платоновской и стоической философии и морали, осмысливающие так или иначе смерть, черпая у древних то опору для надежды на бессмертие, то веру в вечную жизнь доброго начала, то представление о смерти как сне без страха и надежды — по содержанию мы встретимся с этими текстами ниже в разной связи. На этом завершительном этапе усвоение языка становится усвоением эллинской мудрости.

Особый резонанс в этом направлении имела пропаганда Марсилио Фичино, хотя она воскрешала отнюдь не подлинного Платона, а Платоновское «богословие» и в этой религиозно-философской интерпретации смысла эллинских штудий возвращалась в известной мере вспять — к Уберто Дечембрио. Эпитафия Фичино от 1521 г. верно воспроизводит дух мистического неоплатонизма, говоря о его «догматах», а о Фичино как апостоле, полном его «святым» духом, — «divino numine»:

Sophiae pater
Platonicum qui dogma, culpa temporum
Situ obrutum illustrans et Atticum decus
Servans Latio dedit: fores primus sacras
Divino aperiens mentis actus numine.

* «Об ученых мужах» (лат.).

** «О несчастиях ученых мужей» (лат.).

Отец премудрости,
Который возродил догму Платона, по вине времени
Косневшую в небрежении, и кто, храня честь Атики,
Вернул ее Лациуму; священные врата открыл он первый
Под наитием божественного откровения.

Но ценность эпитафий зрелой поры гуманизма сводится не столько к возможности на основе их учесть объем и состав гуманистических штудий, — для этого есть другие пути, более совершенные, — сколько в приобщении к духовной атмосфере эпохи, к тому отклику, который они вызывают, к бескорыстной им преданности, к *ars vivendi** ученого эпохи Возрождения в своей идеальной сфере.

Краткая надпись историка и археолога Флавио Бьондо да Форли (1463), характеристика его как ученого — «*sibi... studiisque favente*» — «преданного себе и науке»; ученик Витторино да Фельтре, папский непот и апостолический протонотарий Грегорио Корперо заплатил дань природе «*studiis et otio suo contentus scribensque*» — «удовлетворенный штудиями и своим досугом, среди писаний». Если в лице Флавио Бьондо и Грегорио Корперо гуманист со своими книгами и рукописями замыкается в ученой келье и довлеет себе, то дальше раскрывается моральный смысл этого затворничества, и оно перестает быть только эгоистическим. Падуанский перипатетик Леонико Томео (1531) писал, учил юношество, переводил «*praeter virtutem bonasque artes tota in vita nullius rei appetens*» — «в течение всей жизни ничего не искал, кроме добродетели и добрых наук», по свидетельству Пьетро Бембо. Профессор Феррарского университета, филолог и естествовед, Никколо Леоничено (1524), в искании истины ревностно соперничал со всей древностью — «*studio veritatis cum omni antiquitate acerrime depugnavit*», по представлению своего ученика Бонавентуры. Необходимая для полноты аккорда нота вносится надписью эллиниста Фаворино да Камерино, учителя папы Льва X и епископа Ночеры, представлением об умственном труде как источнике наслаждений в самом своем процессе: бессмертную славу он пожинает по праву за сладостные бдения, проведенные в трудах — «*laudem immortalem adeptus suavissime vigiliarum ac laborum suum fructu potitur*» (1537). Челю Кальканьини, профессор Феррарского университета, археолог, юрист, астроном и поэт, завещает в автоэпитафии своим землякам как самое дорогое достояние свою библиотеку, где он проводил большую часть жизни, и велит себя там же похоронить:

«*Cum Caelius Calcagninus nihil magis optaverit, quam de omnibus pro fortunae captu optime mereri, decadens Bibliothecam, in qua multo maximam aetatis partem egit in suorum ci-*

* Искусство жить (лат.).

vium gratiam publicavit et in ea se condi mandavit» (1541) — «Поелику Челио Калканьини ничего в большей мере не хотел, нежели, по мере отпущенных ему дарований, всем быть полезным, он повелел, умирая, предоставить Библиотеку, где он проводил большую часть своей жизни, в распоряжение своих сограждан, и там же распорядился себя похоронить».

Ни одна из эпитафий здесь не повторяет другую, каждая говорит свое и по-своему. Смысл жизни они полагают в научном искании, познании и творчестве, и этим исканиям и творчеству принадлежит последняя, публично высказанная ими мысль. Это то, что было в них самого ценного и что должно от них было остаться другим, к чему другие должны были по мере сил и способностей приобщиться. Среди междоусобий, вероломства, насилий, рядом с неугомонной погоней за наживой и накоплением богатств люди Возрождения вкладывали столько же страсти, темперамента и преданности в бескорыстное искание истины и красоты. Построенная на диссонансах и питаемая ими, итальянская культура Возрождения впервые после гибели античного мира в процессе социальной дифференциации молчаливо признала право на автономное существование науки и творчества, помимо всякой церковной и богословской санкции, за которую еще во что бы то ни стало цеплялся Боккаччо. Это признание не могло иметь места без молчаливого признания общественной нужности науки и творчества как высшей ценности, становящейся рядом с религией, на известной ступени соперничающей с ней и затем вытесняющей ее. О вытеснении религии можно здесь говорить, поскольку ее игнорируют кредо одного за другим, и свой пафос черпают не из нее. Но особенно важно, как необходимое и достаточное условие, это общественное уважение к автономному умственному труду, при котором речь гуманиста о своем призвании при всей отвлеченности поставленных целей доходила до сознания окружающей среды и будила другие воли.

Эту атмосферу пиетета и сочувствия отражают эпитафии, редактурированные, так сказать, со стороны, вне ученой касты, вне школ и кружков и вдохновленные тем же энтузиазмом. Отчасти это эпитафии ученых, составленные меценатами; отчасти тексты, составленные родными, имеют в виду профанов и дилетантов, людей, посторонних науке, литературе и древности, но тяготеющих к ним.

К первой категории относится знаменитая в истории эллинизма эпитафия Гемиста Плетона, которой он обязан Сиджизмондо Малатеста. Образ византийского мудреца, в котором так много было от древнего восточного мага, запечатлелся раз навсегда воображению князя, кондотьера, безбожника, распутника и мецената и через пятнадцать лет после смерти Плетона, Сиджизмондо вывез его прах во время войны с турками из Пелопоннеса как священные мощи, чтобы похоронить их подле

себя в своем пантеоне в Римини, «ob ingentem eruditorum quo flagrat amorem»*:

Philosophorum sua tempestate principis reliquum Sigismundus Pandulphius Malatesta Pand. F. belli Pelopon. adversus Turcorum regem Imp. ob ingentem eruditorum quo flagrat amorem huc afferendum introq. mittendum curavit MCCCCLXV.

Останки величайшего из философов своего времени, Сиджизмондо Пандольфо Малатеста, сын Пандольфо, во время Пелопоннесской войны с турками повелел, по горячей любви своей к эрудитам, перевезти сюда и здесь похоронить (1465).

Тот же отблеск золотит в заходящих лучах память случайных людей. В этом смысле характерна прежде всего эпитафия Джованни Якопо Боккабеллы (1464), о котором мы не знаем ничего, кроме того, что он был римским нобилем и латеранским каноником в эпоху пап-гуманистов, Николая V и Пия II; к гуманизму его сопричисляют только эти несколько строк эпитафии, составленной братом, где тот называет его «ритором превосходнейшим, поэтом знаменитейшим» —

... hic pedum et syllabarum normam ita tenuit, ut nemo melius.

... так соблюдал он меру стоп и слогов, как никто другой.

В самом деле, ни летописи, ни историки литературы не сохранили в другой связи имени Боккабелла; его запечатлела только эта аттестация страстного дилетантства, которая свидетельствует о таком периоде гуманизма, когда можно было видеть высокое отличие в преодолении метрики, и оно, как некий нимб, провозжало в могилу. Простодушное ученичество, как и эстетическая тяга к ритму, приобщает римского каноника и его брата к профессиональному пафосу гуманизма.

Не менее, нежели надпись Гемиста Плетона, известна еще со времени И. Винкельмана эпитафия того римлянина, Феличе де Фредис, родившегося под счастливой звездой (1529), который нашел при раскопках группу Лаокоона и тем, а также собственными добродетелями, снискал, по мнению своих близких, бессмертие:

reperitum Laocoontis divinum quod in
Vaticano cernis fere
respiran (sic) simulacrum immortalitem (sic)
meruit...**

Одно и то же волнение вибрирует в надгробиях гуманистов-профессионалов и гуманистов-дилетантов, а также их близких, у брата Боккабелла, жены и детей Феличе де Фредис и многих других. Искренность этого волнения как высший критерий

* Из-за огромной любви, которой он пылал к эрудитам (лат.).

** Он заслужил бессмертие [по причине] обнаруженного им божественного образа Лаокоона, которого ты видишь в Ватикане, совсем как бы дышащим (лат.).

совершенства эпитафии в своей непосредственности сообщается и читателю. Вместе с тем эпитафии демонстрируют социальную базу гуманизма, показывая, что адепты его вербовались столько же в придворном обществе, как и в широких кругах городской буржуазии.

Теперь можно дать себе отчет в том, какую цель себе ставит гуманистическая эпитафия; заимствованная у античного мира, она исполняет у гуманистов свои задачи. Это прежде всего след жизни, который упорно не желает быть стертým, — таково первичное и очевидное назначение эпитафии. Однако по мере того, как эпитафия перестает быть изолированным фактом, а становится традиционной и вырастает в свод гуманистических эпитафий, раскрывается ее вторичное, производное и более общее назначение. Для своего времени и в историческом аспекте эпитафия — в стенах католического храма — превращается в трибуну и рупор для пропаганды не только индивидуальной славы, но задач, достижений и идей гуманизма. Эпитафия должна выразить суть человеческой жизни в эпиграмматической сжатости, в наикратчайшей форме; она должна быть веской. По мере овладения «*artis loqui*» она учится и научается этому. Она формулирует символ веры вождя на поворотных этапах; в смене оценок, переходящих от масштаба количественного к качественному, она содержит хронику его медлительных успехов; она отражает его профессиональный энтузиазм и пафос научных исканий без богословской санкции, так же как и эхо этого пафоса в окружающей среде. Позднее всего она, наконец, закрепляет в языке самый новорожденный термин «гуманист»: в 1522 г. в Венеции пресвитер Николао Кьерли, похороненный в Сан Северо, назван «*gramaticus, poeticus et humanista*».*¹²

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Так, он отмечает и поныне сохранившиеся эпитафии Петрарки, Боккаччо, Бальдо Убальдини, кардинала Виссарьона, Бартоломео Платины, Пико делла Мирандола, Эрмолао Барбаро, Джан Джовиано Понтано, Марка Музура, Ланчино Курцио.

² В главе IV.

³ E. Ditt, автор монографии о П. К. Дечембрио [99], насчитывает их без писем 34, в том числе 10 переводов с греческого, 7 оригинальных трудов и критические издания классиков, если еще при этом считать каждую пару жизнеописаний Плутарха в отдельности.

⁴ Перевод см. в главе II, с. 48.

⁵ К той же категории принадлежат оценки Антонио Галатео де Феррари (1517), Никколо Леоничено (1524), Баттисты Пино (1540), юриста Андреа Альчато (1550).

⁶ Об отношении к поэзии идет речь в эпитафиях Феррето деи Феррети, Альбертино Муссато, Гвидо да Баньола, Бьяджо Пелакане, Леонардо Бруни Ареттино, Яна Паннония, Антонио Беккаделли, Баттиста Паллавичино, Фран-

* Грамматист, мастер версификации и гуманист (лат.).

ческо Роланделло, Микеле Веринно, Габриэле Альтилио, Фра Баттиста Спаньюоло, Элизио Каленцио, Джан Джовиано Понтано, Марка Музура, Пьетро Бембо и др.

⁷ Этот эпитет эпитафия прилагает к Марку Музуру как поэту.

⁸ О значении обоих см. у E. Fueter'a [121].

⁹ «Аномомере» сочинено, по-видимому, так: $\alpha(\nu)$ — *a privatium*; *ото* взято от $\acute{\alpha}\mu\acute{o}\tau\omicron\varsigma$ — подобный, равный; *mere* от $\mu\acute{\epsilon}\rho\omicron\varsigma$ — часть. Аномомере — неравночастный.

¹⁰ Hesiodi poete opera et dies Geogicon Nicolai de Valle e greco converso. S. I. S. a. (Romae). 8^o, 24^o. L. Hain [139a. 8538—40]; Iliados libri aliqui per Nicolam de Valle latino carmine redditi Impressum est liber Romae in domo Johannis Philippi de Lignamine. Anno MCCCCLXV, primo die mensis Februarii. L. Hain [139a. 84800].

¹¹ Бартоломео Платина (1481), Агостино Маффеи да Верона (1525), Леонико Томео (1531), кардинал Джироламо Алехандро (1542), Андреа Альчато (1552).

¹² Об истории термина «гуманизм» см. L. Pastor [220], G. Boissier [29], R. Reitzenstein [238], K. Brandt [35], E. Heyfelder [142].

Глава VI

ГУМАНИСТЫ-МИРЯНЕ И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ, ГУМАНИСТЫ-КЛИРИКИ И ЦЕРКОВЬ: ДВЕ АНТИНОМИИ

Часть первая. Социально-экономические предпосылки гуманизма. Дифференциация обособленной прослойки интеллигенции и отрыв гуманистов от социальных корней. Эпитафия конца коммунального периода. Эпитафия гуманиста-патриция. Эпитафии катилитариев. Патриотический мотив у изгнанников-византийцев. Упадок гражданственности у гуманистов-мирян периода синьорий.

Итальянский гуманизм имеет две предпосылки: латинскую культурную традицию и рост городов. Если первая связывает его с древностью, то вторая коренится в предшествующем гуманизму и рождающем его обществе коммун, причем родословное древо по этой линии не менее широко разветвлено, чем по первой.

Подъем итальянских городов, начиная с эпохи крестовых походов, идет параллельно росту населения, эмансипации третьего сословия в эпоху борьбы пап и императоров, учреждению коммун, развитию денежного и кредитного хозяйства. Этот подъем в процессе торговли с Востоком приводит к образованию в бассейне Средиземного моря и в Крыму колониальных держав итальянских городов и наводняет их богатствами. Социально-экономический переворот в глубоко взбалмученных городах, центрах мировой торговли, совершается под знаком быстрого растущего капитализма в торговле, индустрии, банковском деле; общество столь же быстро дифференцируется. Третье сословие, «il popolo vecchio»,* расщепляется на

* Старый народ (ит.) — подразумеваются полноправные граждане.

«лучших» и «меньших», или «молодых», людей, на «popolo grasso»,* т. е. купца-предпринимателя и банкира, и «popolo minuto»,** т. е. ремесленника и мелкого торговца; «popolo grasso» и «popolo minuto», организованные в «arti»,*** вместе бьют феодального магната и рыцаря и помогают в своих интересах эмансипации крепостного сельского населения. Позднее с ростом индустрии из рядов «popolo minuto» и переселившихся в город поселян — «contadini» — образуется пролетариат. Тогда-то, впервые в истории развития западноевропейского общества, из недр главным образом городской буржуазии выделяется и экономически непроизводительная обширная прослойка свободной светской интеллигенции, отрывающейся от сословной базы. Существование этой социально-экономической предпосылки объясняет самую возможность постановки нашей темы в ее условно ограниченном кругу. В самом деле большинство гуманистов по происхождению принадлежит буржуазии, хотя наверху с ними смешиваются патриции, вроде Леонардо Джустиниани, Франческо Барбаро и графа Пико делла Мирандола, а снизу есть приток из contado,**** о чем говорит, например, самое имя Кампано.

Появлению гуманистов предшествует образование в XII — XIII вв. ученой университетской касты схоластов, которая, однако, укладывается еще целиком в корпоративные рамки средневекового общества и удовлетворяет усложнившимся практическим потребностям буржуазии в юристах и врачах. Наоборот, «sodalitas»***** или «politia litteraria»***** гуманистов по мере своего возникновения и расширения не стала цехом, а, подобно некоему бродячему духовному ордену, была связана только общностью интересов и устремлений, хотя бы в эпоху стабилизации гуманизма отдельные представители его в некоторые периоды своей жизни и занимали университетские кафедры. Что же касается Академий, то, как известно, они остались вольными кружками единомышленников без устава, официальной марки и какой-либо иерархии. Вместе с тем гуманисты не несли непосредственно вытекавших из их профессии практических функций, если не говорить об их значении в истории школы. По сути гуманисты представляли только тягу к специфически окрашенному образованию, литературе и науке, но тягу достаточно сильную, чтобы продержаться их на поверхности более двух веков и оставить неизгладимый след на духовном лице Европы.

Отрыв гуманистов от социальных корней шел тем интен-

* Жирный народ (*ит.*).

** Тощий народ (*ит.*).

*** Цехи (*ит.*).

**** Окрестности города (*ит.*).

***** Сообщество (*лат.*).

***** Литературная республика (*лат.*).

сивнее, чем больше «arti maggiori»* привыкали оплачивать наемные войска кондотьеров, и дышала на ладан коммуна уступая шаг за шагом место синьории. В XIV в. еще гуманисты, как Боккаччо и Колюччо Салютати, видят честь свою в том, чтобы служить коммуне и болеть ее интересами, в позднейший период сознание патриотического долга ограничивается патрицианско-олигархической Венецией. Уже в лице Петрарки складывается тип политически неустойчивого гуманиста, интеллигента и литератора, оторванного от полиса, для которого образование перестает существовать ради коллектива, а становится самоцелью [175. S. 44]. Вместе с углублением этого процесса постепенно гложут и сходят на нет гражданские мотивы в эпитафии. По мере того как исчезало представление о малом отечестве предела городских стен, а большого общетальянского еще не было, гуманист, отталкиваясь от настоящего, переносил это последнее эмоционально обратно в великую Римскую державу, а практически, поскольку переставал быть вагантом, оседал слугою князя или церкви. В их интересах он учился понимать пружины государственности и двигать ими, обрабатывая общественное мнение в памфлетах или историографических трудах; его гибкая идеология становилась идеологией места, времени и должности. Эту наклонную при редких и случайных подъемах верно отражают надгробия в их растущем политическом индифферентизме.

Политические страсти еще владеют умами в дантовский период. Эпитафия самого поэта чит в нем в первых же словах вступления политического памфлетиста и апологета Империи, защищавшего «Jura Monarchiae»,** и сочувствует в его лице изгнаннику, «patris extorris ab oris»*** Альбертино Муссато (1329) — человек такой же непреклонной закалки и также кончает жизнь в изгнании; в качестве трагического поэта, гласит надпись, свой талант он заставил служить идее борьбы с тираном, идее совершенно действенной, так как страшный эпизод недавнего прошлого, зверства Эццелино да Романо, воспроизведенные на сцене, должны были подвигнуть сограждан поэта на борьбу с новой опасностью в лице Кан Гранде Скалигера:

Ut sit ab externis cautior illa malis. . .

Дабы [город] больше берегся зол, грозящих извне. . .

В более скромном масштабе эпитафия Якопо Донди дель Оролоджио, строителя часов в Падуе, не забывала помянуть его общественную полезность — *utilis officio patriae* (1355). Точно так же Колюччо Салютати, флорентийский канцлер

* Большие щехи (ит.).

** Права монархии (лат.).

*** Изгнаннику из отеческих краев (лат.).

(1406), на страже чести республики в политической инвективе «*Apologia pro civitate Florentina*»* свел счеты с исконным врагом родины, миланским герцогом, против нападков его клеврета, гуманиста Антонио Лоски, который в лице Висконти защищал интересы монархии:

...patriae jus fasque tuetur
Et cynici calamo peremit convicia Lusci.

...защитил право и закон родины
И сокрушил пером поношения циника Лоски.

Особо почетное и в то же время исключительное место в этом ряду принадлежит Франческо Барбаро (1453), венецианскому патрицию и гуманисту, который в должности подеста «с великим потом сумел отстоять от врага осажденную Брешию» (1438):

Brixia, quam magno tenuit sudore fatetur.

Та же сила венецианской государственной традиции внушает Леонардо Джустиниани (1446) назвать себя столь же гордо, как и скромно, «прокуратором Св. Марка» и только.

Случай, который возвел гуманиста Томмазо Парентучелли на папский престол, поставил перед ним задачи сложной политической игры, сделал его правителем и страстным строителем, который на каждом кирпиче своих построек оставил свой герб.¹ Эней Сильвий Пикколомини, автор эпитафии, а позднее преемник Парентучелли, отдает ему в этом смысле должное:

*Restituit mores, moenia, templa, domos...
Res Italas icto foedere composuit...*

Восстановил обычаи, стены, храмы, дома...
Заключением договоров успокоил Италию...

Все в этом ряду, начиная с Данте и кончая Барбаро, имеют определенно выраженное классовое и политическое лицо и ответственны убеждениям доказательства. Дальше, однако, эта линия обрывается, вернее, ампутируется насильственно, поскольку на крайнем фланге катилинарии, представители коммунально-республиканских традиций, оказываются вне закона. В самом деле, вопреки расстановке реальных сил статуи Гармодию и Аристокитону на афинской площади и непримиримый образ Брута волнуют горячие головы молодежи и распаляют их ненавистью к тиранам. Но вместо статуй, воздвигнутых освободителям благодарным отечеством, романтиков-геррористов ждет плаха, как Джироламо Ольджати, одного из убийц миланского герцога Галеаццо Мария Сфорца (1476). В промежутке между допросами и в ожидании казни он нашел время написать эпитафию для товарища и друга Джован-

* *Апология Флорентийской республики (лат.)*.

ни Андреа Лампуньяни, растерзанного на месте преступления. В ней герой называет себя прохожему по имени и рассказывает в гекзаметрах:

...отвратительный
Тиран, герцог Лигурии, оскорбил меня и мой род.
За то правая длань моя, мстя ему, пресекла жизнь врага
В храме первомученика Стефана; в тот день
Был большой праздник; трижды пронзенный кинжалом,
Нехотя расстался он с несправедливой душой; на месте убитый
его людьми,
Я охотно покоюсь здесь; вечный памятник
Будущим герцогам, князьям, королям,
Дабы ни словом, ни делом не попирали они
Права. Мстителю за родину, по приговору народа и сената,
Эта надпись золотыми буквами начертана на мраморе.

Совершенно понятно, что эпитафия Лампуньяни никогда не загорелась в золоте букв... Гражданское самосознание в эпоху утверждения синьории становилось опасным и потому переставало находить выражение в эпитафиях гуманистов. На итальянской почве во второй половине XV в. оно сохранилось только у изгнанников-византийцев, которые после падения Константинополя с гибелью государственности переживали пик национальной культуры и личную катастрофу. Тогда как одни из них еще яростно сражались в XV в. за родину, другие и позднейшие могли только сетовать об утрате ею свободы.

С большой силой отвага отчаяния находит выражение у Микеле Марулло по профессии воина-страдаю. Дед его, Михаил Тарханиот, ищет смерти, убедившись в невозможности победы. Стихи имеют порыв и стремительную энергию лязга меча:

Quos ego suprema comites hortatus in hora
Vincere dum nequeo, cum patria peril...

Призвав товарищей в роковой час,
Я не могу победить и гибну с отчизной...

Элегически рядом с этой героической симфонией звучат на родном языке последние слова Иоанна Ласкариса (1535):

Δάσκαρις ἄλλοδαπῇ γαίῃ ἐπικέθετο γαίῃν
Οὐτε λιτὴν ξείνῃν, ὡ ξένη, μεμφομένης
Ἐύρετο μελιχίην ἀλλ' ἀχθεταί εἶπαρ Ἀχαιοῖς
Οὐδ' ἐτι γεύει πατρὶς ἐλευθέρου.

Ласкарис похоронен в чужой земле, однако он не сетует на нее, так как она была к нему ласкова. Он скорбит только о том, что отечество не вкушает свободы.

Особое место занимают надписи, претендующие установить преемственность крови от классической древности в ка-

честве ее прямых наследников как вид «антикварной» гражданственности. Это один из тех приемов, каким романтический гуманизм, видя свой политический идеал в прошлом, через протягиваемые генеалогические нити пытается связать его с действительностью. К этому разряду относятся эпитафии двух византийцев. «*Ex vetusto genere Romanorum*»* был Мануил Хризолор (1415), один из первых византийцев, ступивших на итальянскую почву, согласно утверждению составителя текста, Пьетро Паоло Верджеро Старшего. Если можно допустить, что предки знатного византийца были выходцами из Рима и генеалогическое древо его за 8—9 веков можно было восстановить, то гораздо труднее поверить основательности таких претензий со стороны Микеле Марулло (ум. 1500), который их утверждал на созвучии фамильного имени. В анконской капелле, где естественно было ожидать греческого языка в надгробиях родичей, поэт не изменяет латинскому языку под внушением того же честолюбивого стимула: не только по культуре, но и по крови Марулло хочет предстать латинянином. Здесь прозаическая часть эпитафии отца поэта, Манилия, которую сохранил только Шрадер, указывает на происхождение фамилии Маруллов ни более, ни менее, как от императора римского Гордиана Марулла.

Та же «антикварная» гражданственность подвигла граждан города Комо — «*ordo populusque Comensis*» — поставить на фасаде нового городского собора вместо отцов церкви статуи великим согражданам, Плиниям Старшему и Младшему, одев их в мантии схоластов, и в 1498 г. снабдить их надписями, свидетельствующими, что их слава явилась «бессмертным украшением» родины, так как они затмили всех писателей «богатством и разнообразием» своих трудов.

Гражданскую героиню, мы видим, в гуманистическую эпитафию вносит напоследок чуждый этнографический элемент; для итальянцев здесь речь идет о людях пера и науки — она скоро перестает быть типической. Потенциально интеллигент в лице гуманистов довлел себе; фактически в рамках существующего строя он должен был искать опоры вне своей сферы, чтобы получить точку приложения силы. Этих опор имелось две: или церковь, или синьор. Пребанды и бенефиции соблазняли многих честолюбцев, но были связаны с некоторыми ограничениями свободы, хотя и слабыми в этот период. Поэтому большинство все-таки в конце концов оседало около синьора-мецената и становилось его человеком в качестве придворного поэта, наставника принца, историографа, секретаря, дипломата — надпись становилась сервильной.

Слугой князей являются уже Феррето Феррети (1329), что воспел веронских Скалигеров, и Гвидо да Баньоло, врач и

* Из древнего римского рода (лат.).

советник короля Кипрского, «gesta ducum referens»* (1362). Об Уберто Дечембрио мы узнаем, что он был секретарем — «secretaria peregit» у лигурийского герцога (1427). Базинио Базини (1457) просто назван поэтом Domini Sigismundi Pandulphi Malatestae** — свой свет гуманист получает от господина, который в Римине создал Пантеон своих «придворных светил». Очень характерна эпитафия Пьер Кандидо Дечембрио (1470). Она перечисляет его должности в их смене: сперва он был секретарем миланского герцога Филиппо Мария Висконти; «subinde mediolanensium libertate praefuit»*** — в короткий период, пока городом не овладел Франческо Сфорца — «parique modo sub Nicolao para V et Alphonso Aragonum rege meruit»****. В полном внутреннем безразличии служба тирану, каким был Филиппо Мария, сменяется службой республике и снова с тем же рвением, «parique modo», новым господам.

Эпитафия Лоренцо Валлы редактирована более дипломатично: она одним духом называет его «Alphonsi Regis et Pontifici Max. Secretarius, Apostolicusque Scriptor»,***** но хорошо известно, что в первой ипостаси он для короля Альфонса написал против пап памфлет «О даре Константина», а во второй — перекочевал к святейшему престолу и подпирал его в качестве каноника латеранской базилики.

Звание клиента казалось почетным: в 1537 г. Варино да Камерино, некогда наставник папы Льва X, потом епископ, фигурирует в эпитафии в качестве «Medicee (sic) domus alumnus»*****. Типичная надпись, будь то Лоренцо Валла или Филиппо Каллимако Буонаккорси, перечисляет звания, которыми те были взысканы свыше. Обаяние таланта и высокий авторитет литературы и науки при этом сказывался иногда только в порядке перечисления. Даже по отношению к людям, достигшим столь высокого общественного положения, как граф Бальдассаре Кастильоне (1529) и кардинал Джироламо Алеандро (1542), эпитафия сперва регистрирует их учено-литературные заслуги, а затем уже блистательное продвижение по табели о рангах. Читаем, например, надгробие Кастильоне, составленное его другом, Пьетро Бембо. Начало гласит:

omnibus · naturae · dotibus ·
 plurimis · bonis · artibus · ornatō ·
 graecis · literis · erudito ·

* Излагающий деяния вождей (лат.).

** Господина Сигизмунда Пандольфа Малатесты (лат.).

*** Затем защищал свободу миланцев (лат.).

**** Равным образом служил при папе Николае V и короле Альфонсо Арагонском (лат.).

***** Секретарь короля Альфонса и римского понтифика апостолический писец (лат.).

***** Воспитанника дома Медичи (лат.).

et hetruscis · etiam ·
poetae . . .

украшенному всеми дарами природы и
всеми благородными науками,
эллинисту и итальянскому поэту. .

а затем следует список посольств, упоминание о главном труде и перечисление отличий, полученных от Кесаря.

Новое в эпитафии мерило рядом с почетными званиями вносит прославившийся в диспутах юрист и профессор Пизанского университета Филиппо Децио (1535). Реалист и практик, он с наивным бесстыдством предлагает оценить свою рыночную стоимость на вес золота, сообщая в автоэпитафии на памятнике, воздвигнутом себе при жизни, что Флорентийская республика платила ему как лектору полторы тысячи флоринов в год. Новизна, конечно, не столько в погоне за мздой — много раньше Децио юристы хвалились прибыльностью своей профессии:

Dat Galenus opes, dat sanctio iustiniana,
Ex aliis palea, ex istis collige grana,* —

сколько в месте, где идет речь об этой мзде. Павел Иовий на надпись ссылается, но ее не приводит, считая ее смешной, неприличной и неизящной по существу или по стилю — из текста не совсем ясно.

В своде гуманистических надписей сказывается, таким образом, с особой рельефностью та односторонность в развитии общества итальянского Возрождения, которая сделала его ранним европейским форпостом в области новых социально-экономических форм, а позднее в искусстве и науке, в частности и науке о государстве, и в то же время обрекла на военные поражения и политическое порабощение как следствие рокового поворота мировой конъюнктуры в пользу наций океанических и анархического раздробления. Антиномия культуры есть антиномия личности — онтогенез повторяет филогенез. Профессиональный пафос гуманиста слишком часто шел рука об руку с близоруким общественным эгоизмом и безразличием клиента, который легко меняет патронов.

Трагизм этой антиномии личности и общества был осознан Макьявелли, циником и энтузиастом, который смысл своей жизни видел в том, чтобы научить своих современников преодолеть ее и который обязан был в политике своим темпераментом и остротой мысли республиканской Флоренции накануне ее гибели; но несть пророка в отечестве своем. . .

* Дает деньги Гален, дает Юстинианов закон.
У одних собирай мякину, у других — зерно (лат.).

Часть вторая. Союз гуманизма и церкви. Численность гуманистов-клириков. Эпитафия «христианских гуманистов». Антиномичность надписи и духовного сана. Позднейшая чистка надписей духовной цензурой. Элегантный паганизм и либертинизм в них (Габриэле Альтилио и Аврелий Авгурелли).

Взаимное тяготение между гуманизмом и церковью сказало уже к концу XIV в. Их парадоксальный союз на разных этапах — от появления гуманистов в курии в качестве скрипторов и аббревиаторов до венчания папской тиарой Томмазо Парентучелли и Энея Сильвия Пикколомини — определил жизненный путь многих из них. Церкви эпохи схизмы и вселенских соборов с ее пошатнувшимся авторитетом нужны были образованные люди; образованным людям нужно было социальное положение и обеспеченный досуг. Вместе с тем папы были итальянцами и не могли остаться равнодушными к общей заразе гуманизма; а гуманистам курия imponировала как единственный в своем роде мировой центр политики, богатств, преуспевания, пышных зрелищ и разноплеменных встреч [157].

О численности группы клириков среди гуманистов на самых разных ступенях иерархии мы получим представление, если дадим себе труд сделать примерную сводку тех из более видных людей, которые в разное время были вовлечены в эту орбиту.² Гуманисты-клирики присягали римской теократии на верность так же, как другие присягали государю; церковные обеты для них были по меньшей мере равносильны гражданским обязательствам и политической идеологии их собратьев на придворной службе. Естественно поэтому анализ верности присяге, хотя бы она давалась и в другой сфере, распространить и на эту группу, кредо гуманиста-мирянина противопоставить кредо гуманиста-клирика. Мы подходим, таким образом, к вопросу, как держали себя по отношению к церкви гуманисты-клирики, когда они посмертно оказывались в стенах церкви публично. Что в этом смысле дают эти их эпитафии, которые в предыдущих главах мы изучали независимо от принадлежности их мирянам или клирикам? Насколько тверда была или ослаблена узда, державшая слуг церкви?

Положение, говорят, обязывает. Для некоторых это действительно оставалось так. Воздвигая себе гробницу при жизни, кардинал Виссарион, возглавивший унию Византии с Римом, украсил сооружение изображением креста, который символически держат две разные дружественные руки, своим прекрасным барельефным бюстом в профиль, который сохранил его волевые повелительные черты, и набожным греческим ди-

стихом, выразившим упование на бессмертие. В латинском, современном ему переводе он гласит:

Bessarion fecit hunc tumulum, qui conderet ossa,
Venerat unde olim spiritus astra petet.

Виссарион воздвиг сей памятник, чтобы здесь упокоить
кости,
Когда дух его некогда вознесется к звездам.

Рядом надо назвать двух более скромного калибра флорентийцев, Антонио дельи Альби (1477) и Бартоломео делла Фонте (1513), которые в свое время прошли период шатаний и соблазна языческой прелестью, но преодолели их ради пастырского долга³: из колеблющихся они перешли в стан церкви и внутренно, по совести, чтобы пасти овец.

«Dogmate pascit oves, поп timuere lupum»,* — заканчивается надгробие Антонио дельи Альби. Ему вторит дистих на могиле Бартоломео делла Фонте, приходского священника в Монтемурло близ Пистойи. Здесь тоже ничего не осталось от гуманиста:

Spernere qui docuit mundum, superosque verere
Nec iacet Antistes Fontius Ecclesiae.

Кто учил презирать мир и чтить небожителей,
Фонций, настоятель церкви, почит здесь.

К этому же разряду относятся надгробия эллиниста Джованни Ауриспы, священника и папского секретаря (1459); Леонардо Дати, секретаря пап Павла II и Сикста IV, епископа Массы (1472); кардинала Бернардо Довици да Биббiena (1520); эллиниста минорита фра Урбано Больцано (1524); кардинала Эгидия да Витербо (1532); аббата Джано Анизио (ок. 1540); Блозио Палладио, секретаря пап Климента VII и Павла III, а затем епископа Фульгинатского (1550); астролога Луки Гаурико, епископа Чивита Веккьи (1558); наконец, автора «Христиады», Джироламо Вида, епископа Альбы (1566). Пользуясь терминологией Л. Пастора, их можно назвать с точки зрения эпитафии «христианскими гуманистами» и посадить одесную. Их число начинает возрастать в эпоху католической реакции, когда рубеж эпохи Возрождения уже перейден и когда Рим начинает обороняться против Лютера и вольнодумства индексом, иезуитами и всем аппаратом власти.

И было от чего. В предыдущий период дисциплина среди клира сильно расшаталась, если в качестве показателя привлечь наш материал: преобладают эпитафии, антагонистические духовному сану. Это явление распространяется на всех, независимо от возраста, от ранга в смысле таланта и известности, от места в церковной иерархии. Убеленный сединами

* Наставлением пасет овец, чтобы они не боялись волка (лат.).

кардинал Пьетро Бембо в этом отношении стоит рядом с молодым Христофором Лонголием; признанный вождь, как Лоренцо Валла, с безвестным Боккабелла; епископский посох и кардинальская шапка так же мало останавливают, как монашеский клобук и тонзура первого посвящения.⁴ О принадлежности к церкви в таких случаях в наших текстах говорит только перечисление званий; где они отсутствуют, обычно нет основания отнести их к клирику. Поэтому оторванная от звания надпись епископа Пьетро делла Валле, как мы увидим ниже, начинается блуждать по свету с именем латинского поэта Невия. Иногда остается еще раздвоение между миром и церковью:

Vivite qui legitis, coelestia querite, nostra haec
In cineres tandem gloria tota redit.

Вы, что читаете [надгробие], живите и взыскайте небес,
Наша же слава пребудет нерушимой и в пепле, —

утверждает автоэпитафия кардинала Якопо Амманати де Пикколомини (1479), клиента Энея Сильвия. Настолько заинтересован был кардинал этой славой, что автоэпитафия как средство против забвения включил в текст завещания и велел ее выгравировать маюскулами совершенного шрифта. В большинстве же случаев эти клирики целиком и без оговорок относительно «coelestia» принадлежали миру, гуманизму и славе, как Боккабелла и Лоренцо Валла, Грегорио Корреро и Ян Панноний, надписи которых приводились выше. Дальнейших примеров этих так много, что даже перечисление их утомительно. В этом ряду мы встретим: священников Марсилио Фичино и Анджеоло Полициано, генерала ордена кармелитов Баттисты Спаньюоло, каноников Аврелия Авгурелли и Христофора Лонголия, рыцаря Родосского ордена Агостино Беацциано, епископов Баттиста Паллавичино, Габриэле Альтилио, Джованни Кампано, Фаворино да Камерино; даже кардинал Якопо Садолето в строгости своих нравов уподобляется не святым отцам, а древности (1547).

По этим надгробиям, как мы имели случай уже раньше убедиться, прошла позднее рука духовной цензуры, чтобы покрыть наготу Ноя; она смягчила кое-что в одних, совершенно устранила другие вместе с рядом соблазнительных надгробных памятников.⁵ Она убрала дистих на мопиле Лоренцо Валлы, так же как первоначальный дифирамб кардиналу Бембо, чтобы оставить только скромный прозаический текст его сына Торквато (1547):

Hic Bembus jacet Aonidum laus maxima Phoebi
Cum sole et luna vix periturus honos,
Hic et fama jacet, spes et suprema galeri
Quam non ulla queat restituisse dies.

Здесь покоится Бемб, честь Аонид и Феба,
Память о котором не пройдет, пока светят солнце и луна,

Здесь повержена и слава, и последняя надежда.
Ничто больше не может его вернуть.

Но католический храм эпохи Возрождения спокойно терпел в своих стенах многое, что было выкинуто позднее, и надо проделать работу некоторой реконструкции, чтобы восстановить историческую действительность тех дней. Перенесемся с этой целью сперва в одну из церквей Поликастро в Калабрии, а затем в Тревизский собор, на север Италии. В первой похоронен был в 1501 г. епископ Габриэле Альтилио, некогда член Понтановской академии и воспитатель принца Феррандино Капуанского. Как говорит П. Иовий, он умер «в месте священнослужения, когда ему было от роду более шестидесяти лет; Понтано составил благородную эпитафию в стихах, последний дар преданности, которая вырезана была в качестве надписи на мраморной гробнице». В своем напутствии Понтано, как на сборище Академии, словно примеряет другу античную маску языческого жреца, «понтифика» и поэта, о котором в пасторали сетует хоровод нимф и муз:

Et tibi dant tumulos musae, meritumque sepulcrum.
Et tibi dat titulos quae tibi culta Charis.
Altili, ô venerande iaces hîc? hac iacet urna
Pontificale decus? pontificale honos?
Ergo agite o nymphae Sebethides, ergo age virgo
Parthenope, ad tumulum spargite veris opes.
Sparge tuos flores, florum foecunda Patulci;
Et tu sparge tuas Antiniana rosas.
Altilio requim dic, ô Chari, dic ago, Clio,
Luceat Altilio lux sine fine meo.
Quisquis adest, pia verba sonet, madeatque sepulcrum
De lachrymis: madeat Pieri rore tuo.

Музы воздвигнут тебе по заслугам гробницу,
Благородная Харита начертит на ней эпитафию.
Здесь ли ты почиешь, о Алтилий? здесь ли урна
В честь понтифика? во славу понтифика?
Сюда, нимфы Себета *, сюда дева
Партенопея **, осыпьте гробницу дарами весны,
Сыпь цветы свои, богатая цветами Патулька,
Сыпь свои Антиниановы розы.
Пожелай, Харита, мира Алтилию, молви, Клис,
Свет моего Алтилия да светит без конца...
Кто ни приблизится, пусть почтит его взволнованным словом
и оросит гробницу
Слезами, оросит ее Пиэрийской росой.

Так же, хотя и в другом направлении, шокирует автоэпитафия Джованни Аврелия Авгурелли [273. P. 181—200], который умер в глубокой старости в звании каноника Тревизского собора (1524) и похоронен был там же в гробнице, воздвигнутой им себе при жизни. В молодые годы он знавал во Флорен-

* Речка близ Неаполя (прим. авт.).

** Нимфа Неаполя (прим. авт.).

ции Анджело Полициано и Марсилио Фичино, позднее как эротического поэта в жанре Катуллы его издавал Альд Мануций, а папа Лев X принял от него посвященную ему алхимическую поэму «Chrysoropeia». В Тревизо он появился впервые в 1492 г. с бенефицией приходского священника, что не помешало рождению у него в 1498 г. сына. Автоэпитафия редактирована как «titulus» и находилась под живописным портретом автора, по свидетельству П. Иовия и Буркелати. Она гласила:

Aurelii Augurelli imago est quam vides
Uni vacantis literarum serio
Studio et iocoso, dispari cura tamen:
Noc ut vegetior sic fieret ad seria;
Illo ut iocosis uteretur firmior.

Ты видишь перед собой портрет Аврелия Авгурелли.
В часы досуга он сочетал занятия литературой, серьезной
И легкомысленной, с разным, однако, рвением:
Последней он предавался, дабы бодрее приниматься за
серьезную,

Первой, дабы укрепившись, на ней отдохнуть.

Большого багажа у Авгурелли никогда не было и это очевидно и по скудости основного мотива автоэпитафии. Но, чтобы внести здесь полную ясность, надо знать, что разуместь под «literarum serio studio et iocoso...», за разъяснениями надо обратиться к самому автору, которому мотив автоэпитафии, очевидно, нравился, так как мы его встречаем и в его поэме, и в лирике. «Хризопопею» он заканчивает признанием: *doctos salibus sermones spargere puris tentavi...** [250. Vol. 2. P. 454. Прим. 97].

В лирике он посвящает Антонио Вонико из Тревизо пьесу 2-ю под заглавием [56] «Intermittendum interdum philosophiae studia et manusuetioribus Musis vacandum» («Занятия философией надлежит прерывать ради служения более ласковым Музам»), где он развивает ту же мысль с более чем необходимой пространностью. Томик лирики в Альдовском издании дает вместе с тем возможность точнее расшифровать смысл «literarum serio studio et iocoso». ** Авгурелли здесь [I. 17] обращается с призывом к Анджело Габриэле, венецианскому патрицию:

Vivendum esse et amandum.
Vivemus atque nos amemus Lesbiam,
Vatum Catullus optimus cum diceret,
Non dixit uni, sed, ut opinor, omnibus...***

* Ученые речи присыпать чистой солью шуток... (лат.).

** Важных и шуточных литературных занятий (лат.).

*** Надо жить и любить.

Так станем жить и будем мы любить Лесбию.

Катулл, лучший из поэтов, когда говорил,

Обращался не к одному, но ко всем (лат.).

В другом месте [I.4] он возглашает гимн Вакху:

Invitat olim Bacchus ad coenam suos
Comon, locum, Cupidinem...*

Таким образом, стариком под своим портретом в храме, где он служил мессы и где его звали прихожане, он поминует эротику молодости и считает это в порядке вещей. Сомнительный и фривольный литературный багаж этот прототип галантного аббата XVIII в. не только не считает нужным скрывать, но выставляет напоказ в столь мало приличествующем ему месте.

Эти примеры убеждают в том, что начиная со второй половины XV в. и вплоть до эпохи католической реакции гуманисты-клирики в подавляющем большинстве на плитах гробниц не перестраиваются, а остаются верными суете сует вплоть до элегантного паганизма и либертинизма, свойственного их творчеству. Без обдуманного намерения и при популяристельстве церкви они, согласно своему назначению как разлагающий фермент, взрывают церковь изнутри. Даже в гробу гуманисты-клирики относятся к церкви не иначе, чем гуманисты-миряне к государственности: религиозному индифферентизму одних соответствует аполитизм других.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Образцы выставлены в витринах замка Святого Ангела.

² Не претендуя на полноту, даем ниже отдельные списки гуманистов-кардиналов, епископов, монахов и общий список гуманистов-каноников, пресвитеров, аббатов, секретарей и т. д.

Кардиналы: Забарелла, Виссарин, Николай Кузанский, Якопо Амманати де Пикколомини, Бенедетто Аккольти, Адриано да Корнето, Бернардо да Баббиена, Эгидий да Витербо, Пьетро Бембо, Якопо Садолето, Джироламо Алеандро.

Епископы: Бартоломео делья Капра, архиепископ Миланский; Антонио дельи Альи, епископ Вольтерры; Джованни Антонио Кампано, епископ Котронский, позднее Терамский; Леонардо Дати, епископ Массы; Ян Панноний, епископ пяти церквей; Эрмолао Барбаро Старший, епископ Веронский; Николо Перотти; Баттиста Паллавичино, епископ Пармский; Габриэле Альтилио, епископ Поликастро; Анджеоло Колоччи, епископ Ночерский; Блосио Палладио, епископ Фолиньо; Лука Гаурико, епископ Чивитавеккьи; Павел Иовий, епископ Ночерский; Джироламо Вида, епископ Альбы.

Монахи: Антонио да Ро, Амброджо Трэерсари, Джованни Баттиста Алеотти, Энох д'Асколи, Джокоңдо да Верона, Урбано Больцано, Баттиста Спаньюоло Мантовано, Паоло да Канале.

Каноники, пресвитеры, аббаты, приоры, протонотари, секретари и т. д.: Франческо Петрарка, Франческо да Фиано, Пьер Паоло Верджеро Старший, Бартоломео Арагаци да Монтепульчано, Поджо Браччолини, Антонио Лоски, Ченчио Рустичи, Лапо да Кастильонкио Младший, Лоренцо Валла, Джованни Ауриспа, Грегорио Корреро, Джованни Тортелли, Мафео Веджо, Феодор Газа, Микеле Феррарино, Рафаэль Волотерранский, Бартоломео Фонцио, Эрмолао Барбаро Младший, Филиппо Бераольдо Младший, Марк

* Обыкновенно Вакх приглашал к трапезе своих Кома, Шутку и Купидона (лат.).

Музур, Христофор Лонголий, Джованни Аврелий Авгурелли, Паоло Кортезе, Франческо Берни, Джано Витале, Полидор Верджилий, Павел Эмилий, Пьетро Мартире д'Ангьера, Варино да Камерино, Никколо делла Валле, Бартоломео Платина, Марсилио Фичино, Анджело Полициано, Пьетро Марси, Пьеро Валериано, Федра Ингирами, Пьетро Гравина, Челно Кальканьини, Грегорио Джиральди, Антонио Тебальдсо, Агостино Маффей, Джано Анизидо и т. д.

³ Об Антонио дельи Альи см. В. Забугин [310]; о Бартоломео делла Фонте — С. Marchesi [174].

⁴ Впрочем, то же относится и ко многим надгробиям истонных людей церкви эпохи Возрождения. В этом смысле надо отметить эпитафии пап Евгения IV, Сикста IV, Льва X, Павла III; кардиналов Бранда Кастильоне (1445), Карвахала (1469), Никколо Фортегверра (1473) и ряд других.

⁵ Из памятников, кроме папских, о которых речь шла в главе I, убранны были из церкви памятники Ланчино Курцио, отца и сына делла Торре и Альберто Пию да Карпи, описанные ниже в главе XII. О том, как это обычно происходило, рассказывает в жизнеописании Перино дель Вага Джорджо Вазари: «...у одной из стен капеллы находилась великолепнейшая мраморная гробница, на саркофаге которой лежало мраморное изваяние мертвой женщины прекрасной работы скульптора Болонья, а по бокам — два обнаженных путта. Лицо этой женщины было портретным изображением одной знаменитой куртизанки, оставившей после себя этот памятник, который монахи оттуда изъяли, считая зазорным, чтобы такая женщина была упокоена в таком месте и с таким почетом» [301. Vol. V. P. 622; 316. Т. 4. С. 134].

Что касается надписей, то такая судьба постигла надгробие драматурга и актера Беолько Руццанте. Так же надо объяснить исчезновение со своих мест надписей Габриэле Альтилио, Алессандро Акилини, Аврелия Авгурелли и др.

Глава VII

ЭПИТАФИЯ КАК ПЛАЧ

Проблемы морали в гуманистической эпитафии. Выражение скорби при особо трагических обстоятельствах. Прощание родителей с детьми. Канон консоляций: смерть как покой; упование на лучшую участь; растворение в эстетической эмоции. Идеал стоической автаркии у Петрарки, Боккаччо и Дзанони да Страда. Сопоставление с «Askertann von Böhmen»: мудрость расы латинской и германской.

Нельзя служить двум господам; по крайней мере это справедливо по отношению к гуманистам как вывод из двух предшествующих глав. У них впереди, в средоточии — призвание и профессия (это фокус эпитафии, который определяет порядок глав и исследования); долг относительно государства и церкви, служат ли они синьору или являются клириками, стоит на втором плане. Исключения — венецианцы и византийцы подтверждают правило. На одном полюсе — энтузиазм и преданность, на другом — прислужничество и индифферентизм, граничащий с цинизмом. Человек широк — недаром Митя Карамазов говорил, что он бы его сузил. Такова равнодействующая из итогов ряда жизней, таков суммарный и обобщенный, но четкий двусторонний силуэт, отбрасываемый надгробиями. Отсюда можно, крепко стоя ногами в действительности, в жизни, идти дальше в анализе наших текстов в их эмоциональном и идейном содержании.

Эпитафия являет нам человека в самом роковом из испытаний, подавленным скорбью и стремящимся выпрямиться согласно высшему закону приспособления к жизни; восстановление равновесия и исход из мрака ищется в расплате за труды и подвиги, здесь и там, и с течением времени «здесь» больше, нежели

«там»: слава вытесняет упование на бессмертие, как его обещает церковь. Тем же испытанием эпитафия поставлена перед большими проблемами морали, которые решает для себя не только всякая культура, но и всякое поколение. Эти проблемы ставятся в эпитафии тем острее, что самое ремесло гуманиста, его привычка размышлять и резонировать вслух склоняют его к тому, а рефлексия на тему о смерти ему завещана как Средними Веками, так и античностью. Проблемы эти предстают в эпитафии в исторически сложившейся, условной и преходящей формулировке, но от этого не перестают быть вечными, общечеловеческими и волнующими. Роковой и неизбежный конец жизненных борений подымает в плоскости имманентной извечный вопрос о пределах свободы воли и необходимости — о паре «virtù» и фортуны, а дальше принуждает заглядывать вперед, за темную завесу, и так или иначе представлять себе будущее за порогом смерти:

Sagt mir, was bedeutet der Mensch?
Woher ist er kommen? wo geht er hin? *

В этом порядке мы и будем дальше изучать гуманистическую эпитафию.

Скорбь искони и по сути вещей присуща эпитафии. Она вызвана фактом утраты, которая оторвала кого-то навсегда от близких, от всех тех, кому он был дорог. В своем далеком прошлом, которое теряется в глубине веков, в истоках, и в то же время продолжает жить в народных массах, эпитафия соприкасается с причитанием, плачем — *rianto, lamento, dolore, paeniae, ericedio*, которым провожали усопшего, отдавая ему честь и выражая скорбь оставшихся. Первым рассматривал метрическую эпитафию как фрагмент нении Нибур. Эпитафия есть окончательная и сознательная кристаллизация причитанья, продукт уже старой и утонченной культуры, порожденный желанием сохранить следы этого плача вместе со следами того, кем он был вызван. Скорбь — самая произвольная, непосредственная и сильная эмоция, но и она во всяком обществе вводится в рамки, складывается в некий ритуал. Ее столько же надо ощутить в ее стихийности, сколько увидеть на узде обычая, идеологии и культуры.

Можно найти гуманистические эпитафии, где скорбь, усугубленная особо трагическими обстоятельствами, доминирует. Таково, например, напутствие, которым Эней Сильвий Пикколомини провожал погибшего во время Базельского собора от чумы римского юриста Лодовико Романо да Сполето, по прозвищу Понтано (1439). В персонификации оно обращено с укором к лютому бичу своего времени:

* Скажи мне, что значит человек?

Откуда он пришел? Куда идет он? (нем.) — Г. Гейне. Вопросы (Книга песен. Северное море. II—7).

Si mille aut totidem rapuisae usque viroguni,
Pestis, adhuc poterat parcere saeva tibi. . .

Если доселе, Чума, ты похитила тысячи и еще столько же
мужей,

То этого, неистовая, ты могла пощадить. . .

Безгласным простерт тот, кто умел разрешать всякие сомнения в области *utriusque iuris*:*

Heu voces! heu verba viri divina! memorque
Ingenium! quo vis nunc tua multa loco est?
Heu Romanae iaces, quo non Romanior ullus
Ante fuit, quo nec forte futurus erit.

Что за голос! Что за божественная речь! что за удивительный
Ум! где-то ныне твоя великая сила?

Увы, ты лежишь, Римлянин, и мужа более достойного Рима
Нельзя найти в прошлом и, быть может, никогда не будет и
впредь.

Риторический в начальном обращении плач остается риторическим и в заключении, которое увековечивает круг деятельности Понтано, объединяя в сетованиях у его смертного одра город Рим, Этрурию, всю Италию, вселенский собор и вселенскую церковь.

Гораздо более непосредственно обращение Юлия Помпония Лета к своему ученику Антонио Сеттимулейо Кампано, юноше 20 лет, который погиб после пыток при аресте в 1467 г. Учитель в его лице терял не только того, кому он успел передать частицу самого себя, но горечь должна была усугубляться сознанием невольной вины перед тем, кто пострадал как его ученик, как член заподозренной в заговоре против папы Римской академии:

Ipse inter lachrimas crebris. . .
Pomponi Lachesis ultima fila secet,
Concordes geminae sortis ne dividat artus
Separare nec tumulo corpora vellet humus. . .

Среди частых слез. . .
Лакзис обрывает последнюю нить Помпонию,
Дабы не разлучить костей в их общей судьбе,
Дабы гробница не разъединила останков. . .

Желая разделить с ним в будущем ложе и чувствуя себя наполовину похороненным вместе с тем, на кого возлагалось столько надежд, Помпониий Лет в заключение просит путника:

Ne tibi sacratum praetereatur have —

Не пройди мимо священного места.

Сильнее всего скорбь владеет родителями, пораженными в своем чувстве и отдающимися ему. Таковы прощанья Беккаделли Панормиты и Понтано.

* Обоих прав (*лат.*).

В 1453 г. Панормита потерял сына Альфонса, который прожил несколько дней, через 3 года — дочь Цисмогению, что родилась и умерла в один и тот же день землетрясения. Вот обращение к сыну:

Hic iacet Alphonsus, cani spes una parentis
Et Laurae matris laetitiam atque dolor.
Forma erat infanti, quales consuevit Apelles
Ante Deum sanctos pingere spiritulos.
Lux Veneris cupidae concessit gaudia matri,
Gaudia quae rapuit Jovis atra dies.
Quid facias? Superi quidquid statuere ferendum est:
Sparge puer violas, sparge puella rosas.¹

Здесь покоится Альфонс, единая надежда престарелого родителя, И Лауры-матери радость и горе. Ребенок был столь красив, как обычно Апеллес изображал перед лицом Бога святых духов. Свет Венеры [в пятницу] подарил матери радости, которые похитил [четверг] жестокий день Юпитера. Что делать. Надо нести терпеливо, что бы ни судили высшие силы: Так сыпь же, мальчик, фиалки! девочка, сыпь розы!

Интимность пьесы в том, что она пронизана сочувствием к матери в ее «cupida gaudia»,* что с матерью отец, очевидно, разделял восхищение красотой ребенка, красотой ангелов, напоминающей ему те иконы, на которые часто должен был падать его взор, но которые в эпитафии на классический лад он должен был назвать духами и приписать кисти Апеллеса. А от Апеллеса уже и осмысление потери, предуказанной созвездиями Венеры и Юпитера, и, наконец, разрешение в той же красоте, проходящей и брэнной:

Sparge puer violas, sparge puella rosas. . .

В могиле, которую Понтано на старости лет готовил себе, он похоронил старшего сына, Франческо Луцио:

Has aras pater ipse deo templumque parabam.
In quo, nate, meos contegeres cineres,
Heu fati vis laeva et lex variabilis alvi:
Nam pater ipse tuos, nate, struo tumulos.

Эти плиты я, отец, готовил себе вместе с храмом Богу, Дабы ты, сын мой, укрыл здесь мой прах; Увы, по злой воле рока и закону непостоянной плоти Я — отец, тебе — сыну рою могилу.

Как у Панормиты, так и здесь в мотив скорби вплетается мотив астрологического рока:

Inferios puero senior, natoque sepulcrum
Pono parens; heu quid sidera dura parant. . .

* Радостях любви (лат.).

Старший, я младшего отдаю подземному миру, сына кладу в гробницу

Я — родитель; какую жестокую участь готовят звезды!

Слезами и прядью седых волос, повторными жалобами, которые внушены приливами обновляющейся скорби, провожает он сына в годовщину его смерти «*annius votis*».* В замечательной интуиции поэта ритмика пьесы строением рефренов соответствует механизму эмоции боли, которая никогда не держится на одной ноте той же высоты и пронзительности — это знает всякий по себе — а имеет ритм, иногда очень частый, даже бешеный, с постоянным возвращением к основной мучительной ноте:

*Has Luci tibi et inferias et munera solvo,
Annua vota piis, heu mihi, cum lachrimis.
Haec Luci tibi et ad tumulos positumque pheretrum
Dona pater multis diluo cum lachrimis.
Haec dona inferiaesque heu heu hunc nate capillum
Incanamque comam accipe et has lachrimas...*²

Тебе, Луций, и мертвым я приношу дары,

Ежегодные дары с горячими слезами.

Тебе, Луций, на гробницу

Я приношу дары и растекаюсь в слезах;

Прими же от меня, сын, седеющую прядь волос и эти слезы.

Но если удручение и резиньяция не чужды эпитафии эпохи Возрождения,³ то они и не характерны для нее. Скорее, ей свойственна некоторая сухость, что лежит в природе элгии и дифирамба, в какой часто впадает эпитафия в связи с высокой оптимистической оценкой роли личности: когда жизнь прожита не даром, ее осмысленность в общем ходе вещей может и должна нейтрализовать горечь. В надежде на славу уже Энний на «своем архаическом языке просил не оплакивать его:

Nemo me daerumis decoret, nec funera fleta

Faxit. Cur? Volito vivos per ora virum.

Не почитайте меня ни слезами, ни похоронным

Плачем. Зачем? Я живой буду морхать по устам.

Да и помимо всякой идеологии человек этого времени еще свеж и упруг, он быстро восстанавливает утраченное равновесие; наконец, к его услугам с этой целью целый аппарат соответствующих аргументов, канон консоляций, перешедший от греческих стойков к Цицерону и Сенеке [45; 267; 278; 212; 148; 147]. Из этой сокровищницы черпает по примеру «*carmina epigraphica latina*» не только эпитафия, но и многочисленные другие виды словесности Возрождения, порожденные той же потребностью в утешении и примирении со смертью, в преодолении ее: надгробные речи, элегии и эпиграммы, «*lettere consolatorie*» превращаются по очереди в трактаты «*contra mortis metum*».**

* Ежегодными поминаниями (лат.).

** Против страха смерти (лат.).

Смерть приветствуется как избавление от бед, как вечный сон и покой — таков смысл греческого дистиха-автоэпитафии Леонико Томео (1531), жизнь которого по П. Иовию «протекла вдали от борьбы и честолюбия в занятиях наукой и сладостном отдыхе; в своем доме, как в славной школе, он в вечерние часы благосклонно и радушно толковал учение перипатетиков и академиков». Те же греки примирили его с неизбежным концом:

vñv ðwtwç áðeñç káti áελπιç úπο πλακί τñι ðε
úπνον έκοιμήθñν πάçιν óφειλόµενον.

В переводе Шрадера:

Nunc vere securus et omnis spei immunis, sub hoc
marmorea tabula somnum dormivi omnibus dormiendum.

Теперь, поистине лишенный страха и надежды, я упокоился
под этой плитой сном, который должен стать уделом всех.

Близка к предыдущей по смыслу автоэпитафия Джано Анизио из Понтановской академии, позднее аббата (ок. 1540):

Opustus aevo Janus hic Anisius
Quaerens melius iter, reliquit sarcinam
Qua praegravato nulla concessio est quies. . .

Обремененный годами, здесь Ян Анисий
В поисках лучшего пути оставил бремя плоти,
Что никогда не дает покоя. . .

Этому вторит надгробие Джорджо Мерулы в Милане (1494):

Vixi aliis inter spinas mundique procellas,
Nunc hospes coeli, Merula, vivo mihi.

Я жил среди терний и бурь мира,
Ныне я, Мерула, гость неба, живу для себя.

Гробница — приют мира и не должна пугать путника, гласит дистих в месте последнего упокоения Андреа Альчато (1552):

Siste gradum, quamvis fugiat brevis hora, viator,
Sic fati nullus te dolor exanimet.

Останови шаги, хотя краткий час и бежит, о путник,
Да не устрашит тебя скорбная судьба. . .

При сходстве настроений в последних эпитафиях в них есть и отличия. Философ Леонико Томео ждет покоя без надежд, оба последних, наоборот, ими питаются. Их ждет «*melius iter*»,* который приведет их в более счастливую обитель. Эту же надежду разделяет Никколо делла Валле, юный переводчик Гомера и каноник собора Св. Петра. Умирая, он, согласно духовному званию, проявил заботу об украшении и росписи на

* Лучший путь (лат.).

собственные средства капеллы в церкви Сан Бастианелло in via Рапае* в ближайшем соседстве со своим домом, о чем говорят две надписи, перенесенные после разрушения Сан Бастианелло в церковь Сан Андреа делла Валле:

Egregius legum doctor d. Nicolaus de Valle Basilicae
Principis apostolorum de abbe Canonicus primo
iuventutis flore moriens hanc capellam ornari
et pingi mandavit sua pecunia
MCCCCLXXIII, die VI. Septembris.

Превосходный доктор права Николай делла Валле, каноник базилики первого из апостолов, умирая в цвете ранней молодости, повелел украсить и расписать эту капеллу на свой счет 1473, 6 сентября.

Связь второй надписи с кончиной Никколо «iuventutis flore»** вытекает не только из местонахождения и даты, — она помечена тем же годом, — но также из содержания: это жалоба на преждевременную смерть как фамильный удел:

Stirps Valleia sumus, quos matris ab uhere raptos,
Funere praecipiti mergit acerba dies.

Мы из рода Валлейского; нас, оторванных от материнской
груди,
На преждевременную смерть обрекает жестокий день.

Но жалоба обрывается, ее пресекает надежда на лучший удел тех, кто перестал быть подвластен закону парок. Акт католического благочестия, который молчаливо подразумевает обязательство заупокойных месс перед украшенным донатором алтарем, представляет предсмертный легат клирика «pro anima» — на помин души. Этот акт соседняя надпись переводила на язык Вергилия и стоических консоляций [150].

Под обаянием этого языка горечь разрешалась и растворялась в эстетической эмоции — и в ней тоже смысл и назначение эпитафии. Здесь мы возвращаемся к моменту, на котором мы уже останавливались в другой связи, когда речь шла об изощренной поэтике и эпиграфической технике эпитафии, не пренебрегавшей в борьбе за совершенную форму в общей гармонии статуарного искусства, даже пропорциями букв. К той же рубрике «gentilesia» (см. гл. III) относят эпитафии и рассыпанные в переписке высказывания, вроде нам известных замечаний Кампано, Альберти и др. Отсюда же понятно появление сборника, вроде того, что был посвящен памяти юного пажа Алессандро Чинуцци, и целый ряд эпизодов из бытовой хроники эпитафии, начиная с обряда похорон Данте Алигьери. Наконец, то же наблюдение можно сделать при чтении чуть ли не каждой отдельной пьесы. Поэтому Панормита просил детей

* На дороге Папы (ит.).

** Во цвете юности (лат.).

«осыпать его маленького сына цветами, Понтано прибегал к ритмическому плачу, а над памятником буколического поэта Якопо Саннадзаро в Поззилипо под Неаполем можно было прочесть о нем как о блаженной тени, что скользит на полях Элисейских:

Actius hic situs est, cineres gaudete sepulti,
Nam vaga post obitus umbra dolore caret.

Здесь покоится Акции, да возрадуется его пепел,
Ибо блуждающая его тень по смерти не ведает скорби. . .

Представление о вечном покое, упование на лучшую участь, растворение в эстетической эмоции и стимул славы, как едкая щелочь в присутствии кислоты, — все, таким образом, сводилось к тому же фокусу: все внедряло покорность перед неизбежным, но покорность мужественную. Оживал идеал стойческой автаркии, идеал мудреца, непоколебимого перед ударами судьбы, всегда господина страстей; этот идеал часто противопоставляется в переписке при утешении слабых и павших духом, уязвленных утратой. В этом направлении следует напомнить первые вырастающие на пути веки, которые определяют господствующую в будущем тенденцию. Петрарка так ставил в пример самообладание короля Роберта Анжуйского при смерти единственного сына, Карла Калабрийского. Среди общих рыданий и стонов отец один не пролил ни единой слезы; без всяких следов волнения, он, «король от назиданий»,⁴ обратился с речью к магнатам и народу, чтобы затем в тот же день заниматься обычными государственными делами и чинить суд. Так затмил он, по мнению Петрарки, славу самого Эмилия Павла: когда тот утешал римлян после утраты двух своих сыновей, у него еще оставались в живых другие дети.⁵

Никколо Аччайуоли, флорентийский купец по происхождению и великий сенешаль милостью наследников того же Роберта, королевы Иоанны I и ее мужа Людовика Тарентского, — если верить известному из письма Боккаччо [26, Р. 37 — 39] описанию гуманиста Дзаноби да Страда, — при внезапной вести о смерти сына Никколо (12 янв. 1353 г.) надел такую же маску бесчувственности: подражание высокому примеру несомненно. С сухими глазами, бесстрастным лицом, недогнувшим голосом он ответил на утешения речью, пространной и не обрывающейся, на тему: *de mortuis nil ultra curandum*.*

Такова мудрость латинской расы, древней и возрожденной. Любопытно сопоставить ее с мудростью расы германской. На рубеже XV в. написан был на старонемецком языке Иоганном из Зааца, канцлером г. Праги, замечательный диалог «*Asker-tapp von Böhmen*».** Диалог этот вновь был открыт и переиздан в послевоенные годы с исчерпывающими комментариями

* О мертвых не надо сверх меры заботиться (лат.).

** «Богемский хлебопашец» (нем.).

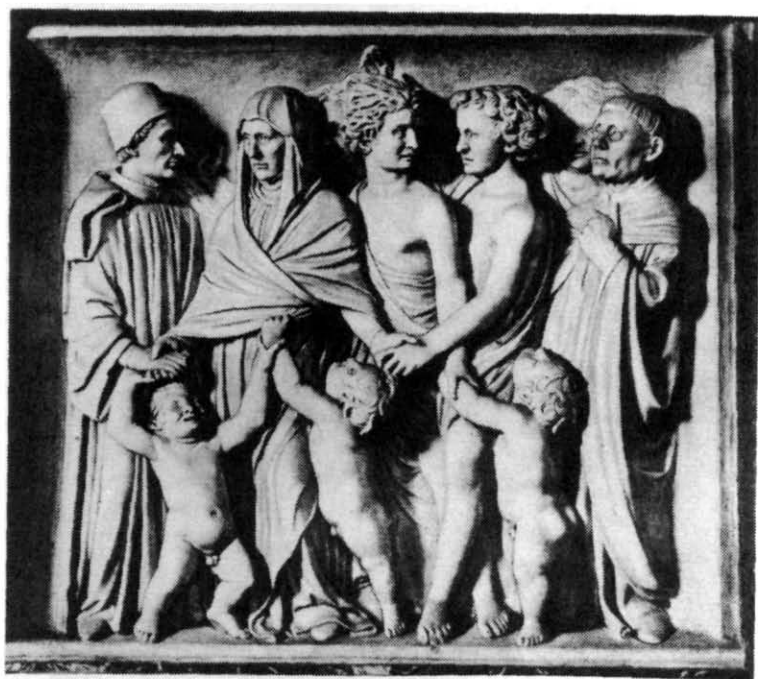




1. Надгробие Джованни Кривелли, 1433. Донателло.
Рим, церковь Санта-Мариа ин Ара Чели.



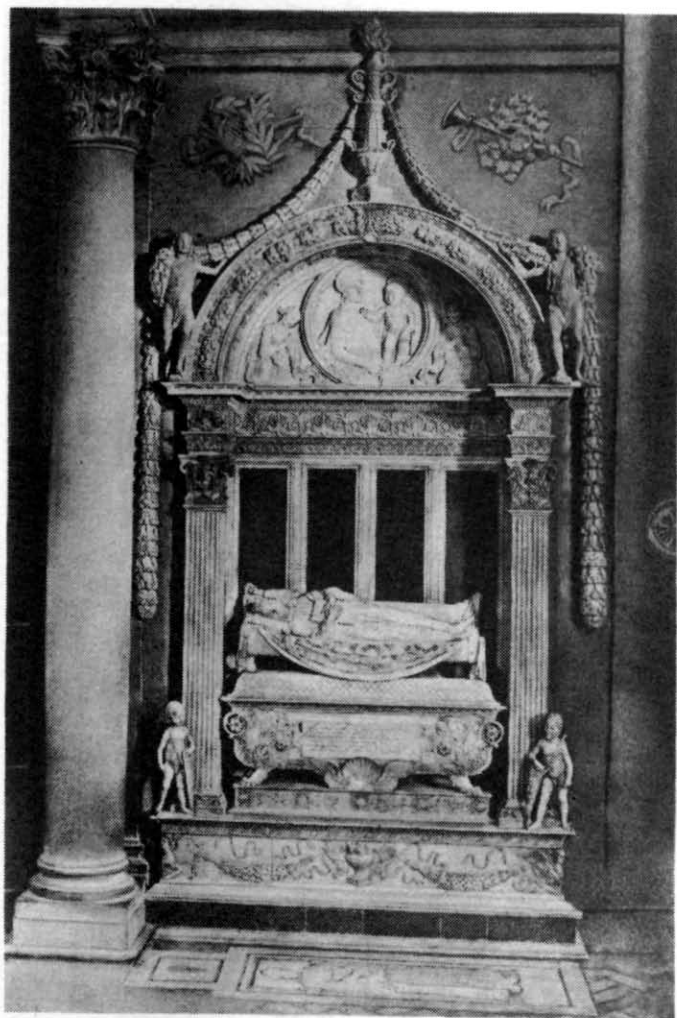
2. Надгробие Бартоломмео Арагацци, 1452. Микелоццо. Монтепульчано, собор.
Две детали: а) Тело умершего.
б) Фриз с гирляндой и путти.



3. Надгробие Бартоломмео Арагацци. Деталь: рельеф с фигурами.



4. Надгробие Леонардо Бруни Аретино. 1444.
Бернардо Росселино. Флоренция, Санта Кроче.



5. Надгробие Карло Марсупини Аретино, 1453.
Дезидерио да Сеттиньянс. Флоренция, Санта Кроче.



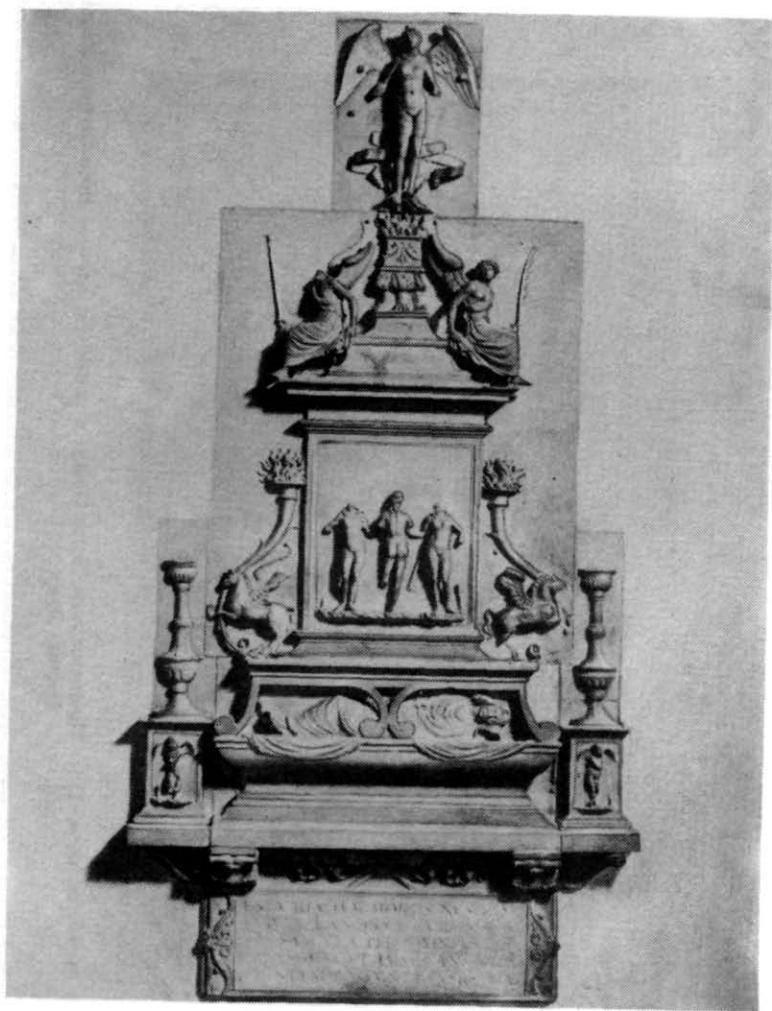
6. Надгробие папы Мартина V, 1431. Симоне Гини. Рим, Ватикан



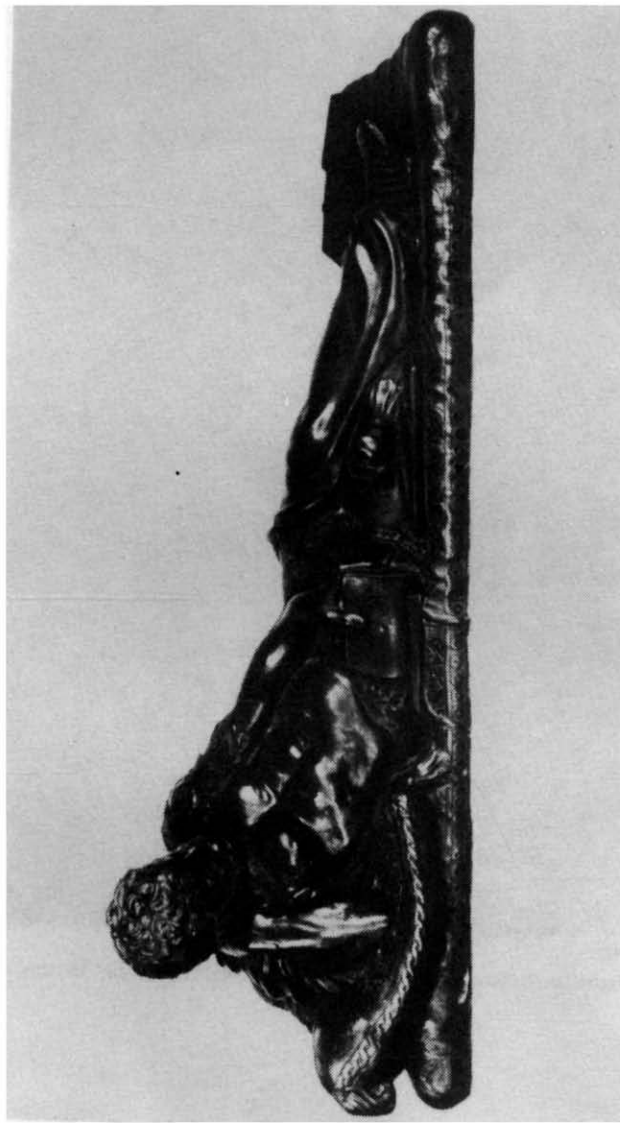
. Надгробие папы Сикста IV, 1483. Антонио Поллайuolo. Рим, Ватик



8. Надгробие братьев Джироламо и Марка Антонио Делла Торре. Ок. 1520
Андрея Риччи. Париж, Лувр.



9. Надгробие Ланчино Курцио. Середина XVI в. Агостино Бусти. Милан, Сан Марко.



10. Надгробие Альберто Пью да Карпи, после 1531. Приписывалось Полю Понсу, в настоящее время — Джамбаттиста Россо.
Париж, Лувр.



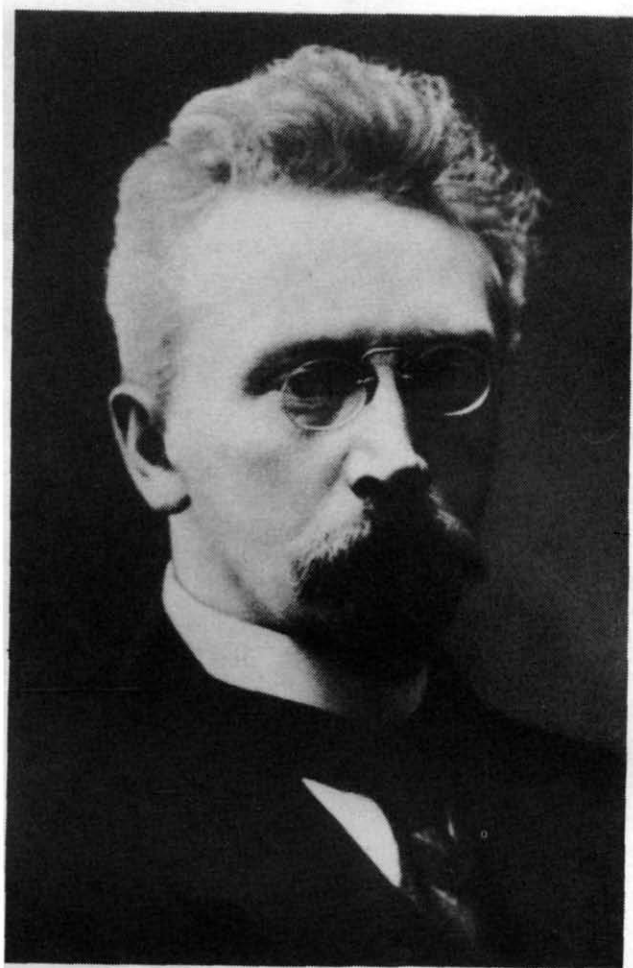
11. Л. И. Хоментовская. Ок. 1935 г.



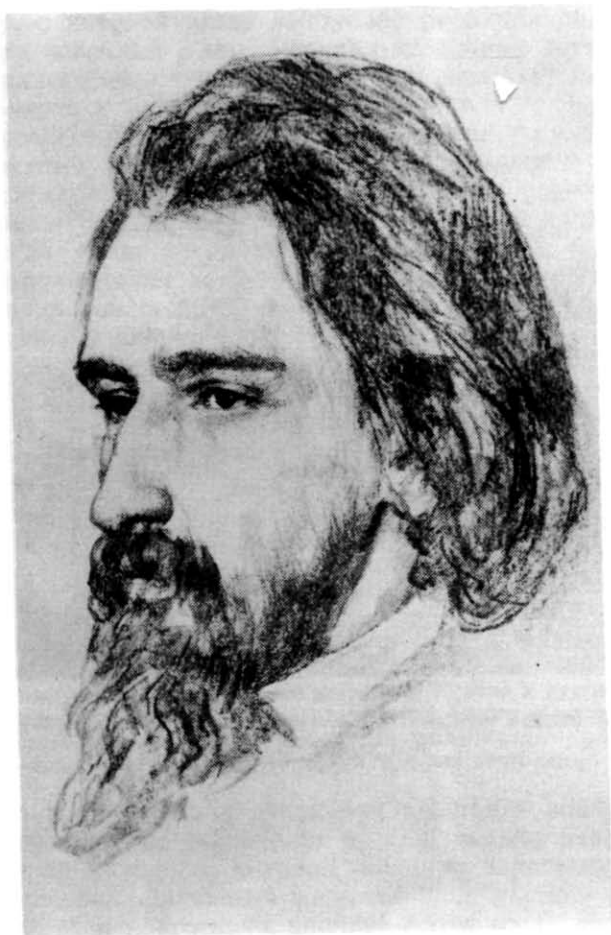
12. А. И. Хоментовская. Ок. 1903 г.



13. И. М. Гревс и О. А. Добняш-Рождественская (поездка в Италию в 1910 г.)



14. Э. Д. Гримм.



15. Л. П. Карсавин (рисунок Г. С. Верейского).



16. Высшие женские (Бестужевские) курсы в С.-Петербурге.
Вид здания. Фото 1910 г.

Конрадом Бурдахом. Диалог имеет автобиографический повод — потерю молодой жены, но этот эпизод поднят на общечеловеческую высоту, с которой автор выступает от имени рода человеческого как извечный Адам. Реакция на потерю есть открытый бунт религиозного сознания. Человек вызывает на тяжбу супостата Смерть к престолу Бога как верховного источника закона, который будет судить как феодальный государь двух себе подвластных сюзеренов. Диалог разворачивается в атмосфере распаленной страсти и отчаяния. Истец и ответчик одинаково начинают и кончают *fortissimo*.^{*} Смерть, средневековая Аскетес, трактует Адама как своего раба; Адам защищает свое человеческое достоинство аргументами стоиков и перипатических трактатов. Разрешение бунта — в той же религиозно-философской плоскости, в которую он поставлен с самого начала и из которой он не выходит. Человек должен склониться перед законом смерти, но смерть растворяется в платоновском представлении о вечном круговращении жизни, которая никогда не пропадает. Хлебопашец говорит Смерти:

Ir sprecht, wie alle irdisch wesen und leben sullen ende nemen; so spricht Plato und ander weissagen, das in allen sachen eines zerrutunge des anderen geberunge sei und wie alle sache auf urkunfte sint gebawet und wie des himels lauf und der erden alle von eirem in das andere verwandelt wurkunge ewig sei [44. Bd 3. Teil 1. S. 77—78].

Ты, Смерть, говоришь, что все земные существа и жизни должны иметь конец; на сие возжрает Платон и другие мудрецы, что во всех вещах разрушение одного означает рождение другого; в беге небес и на земле все превращается друг в друга, существуя для вечности.

Так Иоганн из Зааца в страдании заостряет конфликт до последнего предела, но склоняется в конце концов перед законом Верховного Существа, которое наделило первородством не Смерть, а Человека. Латинский же гений ищет защиты от смерти в мере, славе и красоте; на крайней грани он готов игнорировать конфликт как несуществующий и несущественный.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ V. Laurenza [160. P. 17] первый установил, что эта эпитафия, так же как эпитафия Цисмогении, имеет отношение к детям поэта. Мы делаем следующую шаг и предполагаем, что они стали надписями.

² Приведено по: R. Filangieri [113. P. 110]; De tumulis. Ed. B. Soldati. II, 26, 27. Разночтения с Soldati; после слова *inferias* в первой строке еще *tibi*; в четвертой строке *perulo* вместо *diluo*.

³ См. также эпитафии Франческо Барбаро (1453), Домицио Кальдерино (1477), Доменико Мария Новара (1514), Филиппо Бериальдо Младшего (1518), Агостино Нифо (1538).

⁴ Так его называл А. Н. Веселовский [316].

⁵ Petrarca. Sen., X. 4.

* Очень громко (ит.).

Глава VIII

СЛАВА И МЕРА

Тема славы как тема стилистического оформления темы имени. Редакция прозаическая и поэтическая на разных ступенях лаконизма. Благородная сдержанность Леонардо Джустиниани и др. Эхо имени. Фигура риторического вопроса. Арrogантность автоэпитафии. Слава и время. Слава в призвании и творчестве. Слава как производная от представления о «человеческом достоинстве».

Тема славы в эпитафии есть тема имени, стилистического оформления темы имени, его подачи. Среди наших эпитафий встречались надписи краткие, дающие всего-навсего имя и дату. Можно было прочесть: «Reliquium Catonis»* (1467)¹, или «hic situs est m. Hieronymus Vida»** (1566). В завещании от 11 октября 1543 г. Джан Джорджо Триссино просил о такой надписи: «humile et brevis»*** [191. P. 433]. Лаконическая редакция в каждом отдельном случае могла иметь двойное происхождение: она либо коренилась в исконной аскетической установке на смирение, либо могла быть продиктована некоторой благородной гордостью, что чуждалась рекламы.

Лаконизм терпел некоторые послабления, когда к имени и дате присоединялись звание, титул, несколько титулов. Тем не менее и эта разновидность представляла в основном тот же строгий тип.² Тема метрической эпитафии тоже могла сводиться к тому, чтобы назвать в парафразе имя — и только. Примером может явиться автоэпитафия Лодовико Страццароли Понтико да Тревиджи (1504),³ похороненного с братом:

* Останки Катона (лат.).

** Здесь покоится Иероним Вида.

*** Смирной и кроткой (лат.).

D. M.

Heus tu? Ponticus Poeta
Et Hieronim pictor amiceiss. (sic.) fr.
hoc scis. Placet hospitium? accedo (sic.).
Non placet? Sospis. abi.

Богам манам

Слышишь? [Здесь покоются] Понтик — поэт
И Иероним — живописец, друзья-братья.
Знай это. Нравится тебе убежище? Подойди.
Или нет? Так уходи и будь счастлив!

Эпиграмма суха, в ней ничто не вибрирует, и она не вызывает никакой ответной вибрации. Путник остается в недоумении: потому ли поэт так скуп на слова, что считает достаточным назвать свое имя? Или он так робок, что предпочитает оставаться в тени, никому не навязываться?

Импонирует зато благородною сдержанностью надпись Леонардо Джустиниани (1446). Ученик Гварино, он рядом с Франческо Барбаро приветствовал в Венеции на греческом языке императора византийского Иоанна Палеолога и вместе с тем был лучшим венецианским поэтом кваттроченто, поэтом-музыкантом. Путнику-другу в прозаическом тексте он называет себя прокуратором Св. Марка:

Hospes amice. Scire si cupis qui sim. Leonardus
Justinianus proc. S. Marci situs hic sum. plura de
me mihi non licet. ab aliis fortasse plura si cupis
scie s. an. 1446 mense Nbris.

Путник-друг. Ты хочешь знать, кто я. Я — Леонардо
Юстиниан, прокуратор Св. Марка, покоюсь здесь. Больше
не подобает мне сказать что-либо о себе. От других,
если захочешь, быть может, узнаешь больше.

Ему, патрицию, были памятны слова Данте Алигьери в «Convivio»: * «Никому не подобает говорить о себе... Ни один из риторов не разрешает без достаточного основания говорить о себе...».⁴

Эпиграфист XIX в. Е. А. Чиконья, который приводит нашу надпись, не выделяет ее как автоэпитафию, какой она, видимо, является. Не говоря о том, что Чиконья было неизвестно широкое распространение этой формы, на нее указывает и обращение от первого лица, и малая вероятность такой сдержанности у наследников, которые, скорее, предпочли бы, по обычаю олигархической Венеции, вплести новые лавры в фамильный венок, и прекрасный латинский язык текста, который свидетельствует о внимательном чтении древних надписей, в чем около 1450 г. были искушены еще немногие, и, наконец, формальная законченность и совершенство этого текста, которые могут быть свойственны только крупному литературному таланту. В этой связи нельзя не вспомнить, что в 1432 г.

* «Пир» (ит.).

Леонардо Джустиниани в должности подеста принимал в Удине Чириако д'Анкаона, от которого он мог получить и образцы, и толчок, и вдохновение [2. Т. 1. Р. 152—153].

Рядом с Джустиниани и другие большие люди иногда проявляли подобную же сдержанность. Боккаччо не вменял себе в заслугу ничего, кроме трудов:

*Mens sedit ante Deum, meritis ornata laborum...**

Чтобы эти труды его были зачтены, они должны были быть приемлемы перед престолом Всевышнего — *studium fuit alma poesis*; дисциплинирующим началом являлось в данном случае христианское самосознание.

Такая же мера в воздаянии себе по заслугам в автоэпитафии Понтано (1503) вырастает на фоне общечеловеческого самосознания как плод жизненной мудрости помимо каких бы то ни было конфессиональных санкций:

*Vivus domum hanc mihi paravi,
In qua quiescerem mortuus.
Noli obsecro iniuriam mortuo facere,
Vivens quam fecerim nemini.
Sum etenim Jovianus Pontanus,
Quem amaverunt bonae Musae,
Suspexerint viri probi,
Honestaverunt reges Domini.
Scis qui sim... .*

При жизни я готовил себе этот приют,
Да опочию в нем мертвый.
Не наноси же обиды мертвецу,
Что при жизни не оскорблял никого.
Я — Иовиан Понтан,
Которого любили добрые музы,
Уважали честные мужи,
Почитали цари божьей милостью.
Ты знаешь, кто я... .

Те, что только что были названы, Джустиниани, Боккаччо и Понтано, шли своими тропами, в стороне от столбовой дороги для большинства, на перекрестке которой стояла эпитафия Страццароли Понтико. Использованный в ней риторический прием называния имени, только имени, в самом деле может преследовать цель диаметрально противоположную: имя Пико делла Мирандола могло казаться столь громким, чтобы звука самого по себе было достаточно для пробуждения эха (1493):

*Ioannes iacet hic Mirandula, caetera norunt
Et Tagus, et Ganges, forsan et Antipodes...***

Прием эффекта имени имел продолжателей и во Флорен-

* Душа восседает пред Богом, украшенная заслугами трудов (лат.).

** Дословный перевод: Иоанн здесь лежит Мирандола, прочее [о нем] знают и Таг, и Ганг, и, возможно, Антиподы (лат.) (ср.: авторский перевод на с. 110).

ции, и за ее пределами.⁵ Он повторен по предсмертному распоряжению под изображением Марчелло Вирджилио Адриани (1521), учителя Макьявелли и его предшественника в звании флорентийского канцлера:

Suprema nomen hoc solo
Tantum voluntas jusserat
Poni, sed hanc statuam pius
Erexit haeres nescius
Famae futurae et gloriae
Aut nomen aut nihil satis.

По последнему изволению [покойного] здесь
Начертано только имя,
Но верный наследник воздвиг
Также статую, не ведая,
Удовлетворится ли в грядущем молва и слава
Именем или ей ничего не будет достаточно.

Тот же прием эффекта имени мог быть введен в фигуре риторического вопроса, как в эпитафии Язона Майно (1519), юриста, слава которого в 1507 г. привлекла в его аудиторию короля Людовика XII со свитой кардиналов и сотней синьоров:

Quis iacet hoc hospes tumulo? quis? summus Iason
Ille ne Phryxae vellere dives ovis?
Clarior hic ille longe est. Quisnam oro? Maynus
Excellens iuris gloria Caesarei.

Кто, прохожий, покоится в этой гробнице? Кто? великий
Язон.
Не тот ли, кто похитил Фригийское божественное руно?
Нет, сей славнее того. Кто же это? Это Майно,
Именитый знаток кесарского права.

Как бы ни был разнообразен арсенал приемов риторических, чувственно-образительных, символических, которые рсточала элогия, — венчание лаврами, сопоставление с древними, вовлечение в хоровод богов и муз, весь запас «poetische grazie»* в мифологической окраске, — на наш вкус, он утомителен, ибо здесь рано водворяется шаблон, позднее безнадежно затрепанный неоклассицизмом. Превосходная степень давно вышла из моды; мы устали от витийства и больше ценим эффекты наивные, что вызывает улыбку.

В этом состязании автоэпитафия, как приходится отметить, не отставала от эпитафии. Независимо от степени обоснованности притязания на славу могли быть предъявлены с полной категоричностью самим действующим лицом. Антонио Беккаделли Панормита (1471) не сомневался в том, что музам трудно будет заменить его:

* Поэтических красот (ит.).

Quaerite, Pierides, alium, qui ploret amores...
Ищите, музы, другого, кто оплачет любовь...

Коччо Сабеллико (1506), готовя себе гробницу, предназначил для нее дистих, где варьировал мотив малой урны и великого праха:

Quem non res hominum, non omnis ceperat aetas,
Scribentem capit haec Coccion urna brevis.*

Нельзя сказать, чтобы такая самореклама абсолютно поощрялась. По поводу Сабеллико Павел Иовий в качестве Аристарха замечает в «Элогии», что было бы приличнее в таком смысле предоставить высказаться другим. Лелио Джиральди определенно осуждает arrogance Панормиты.⁶

Те десятки лет, которые отделяли Иовия и Джиральди от предшествующих поколений, уже делали славу многих относительной: чем дальше шло время, тем более оказывалось оно безжалостным.

Прочтем пятистишие под изображением Ланчино Курцио:

En virtutem mortis nesciam.
Vivit Lancinus Curtius
Saecula per omnia,
Quascumque lustrans oras:
Tantum possunt Camoenae.

Се гений не знает смерти.
Жив будет Ланчин Курций
Во все века,
Во всех сторонах света:
Такова власть Камен.

Надежда на Камен его обманула, ибо кроме тех же Иовия и Джиральди, летописцев от гуманизма, никто больше не вспоминает ни об его энциклопедических «сильвах», ни о змеиных и квадратной формы акrostихах — «*carmina anguinea sive serpentina ab anguium flexibus et reflexibus*», «*miris modis et numeris*»,** обо всех ухищрениях этого упаднического искусства. В историю он вошел только строками надписи и прекрасным памятником, о котором позаботился при жизни (о нем ниже).

Ланчино Курцио суетным и суетливым самолюбием вызывает нашу иронию диспропорцией размеров действительных и воображаемых — он оказывается мыльным пузырем при персональном пересмотре щедро розданных и себе присвоенных лавров. В святцы гуманизма, как можно было убедиться, доступ в свое время был слишком облегчен, и канонизация происходила без достаточной проверки; задним числом требуют

* Коччо, начертывающего эти слова, которого не вместили ни человеческие дела, ни время целой жизни, вмещает эта малая урна.

** Удивительных ритмах и размерах (лат.).

ся индивидуальные различия и поправки. Так вольны были и должны были мы смотреть на гуманистов на расстоянии далекой исторической перспективы, контролируя индивидуальную славу мерой и субъективным внутренним тактом в этой мере. Но из той же перспективы видно, что эти различия и поправки не колеблют принципа славы в его комплексе идейно-психологических предпосылок и в его историческом *raison d'être*,* поскольку «все существующее разумно». Этот принцип вытекает из решительного поворота к миру от презрения к нему, из поворота от тезы к антитезе:

Vitae curriculum exiguum, gloriae vero immensum

Круг жизни тесен, круг славы неизмерим;

*Exiguum vite curriculum mortalibus natura largita est,
gloria vero sempiternam optanda, ergo mors quam
immortalitas consequatur...*

Смертным природа предоставила тесный круг жизни;
слава же, цель их стремлений, вечна; поэтому
смерть приходит как бессмертье...

Парадоксальный силлогизм на могиле Джироламо Буцио, римлянина и апостолического аббревиатора (1517), как вывод — по гуманистической логике — из ряда эпитафий, не видит перед собой ничего, кроме бессмертия на земле; в его ослепительном блеске все другое померкло, католическая доктрина перестала быть эмоционально действенной, слава осталась доминантой.

Но тот же принцип утверждает славу на призвании и творчестве в области «*studiorum humanitatis*», как об этом говорилось в гл. V; тем самым слава делается условной и подчиняется чему-то высшему, чем человеческая личность, но что расцветает в ней. Этот принцип вместе с тем своей предпосылкой имеет культ «*virtù*», индивидуализма высшего порядка, новую концепцию человеческого достоинства, которая подымала тонус всей жизнедеятельности. Этот индивидуализм, о проявлениях которого в жизни эпохи написано так много, сколько существует об эпохе Возрождения книг, нашел литературное выражение в специальных морально-философских трактатах на тему «*De hominis dignitate et excellentia*»;** он же расцвел со всей силой произвольности в биографии и автобиографии, в портрете и автопортрете, в эпитафии и автоэпитафии. Этот индивидуализм окрылял человека. В самом деле, не может быть творчества без веры в себя, и только вера вызывает силы, которые без нее не посмели бы выйти наружу. Отсюда-то, из этой идеологии, между прочим, и вышла та плеяда гениев

* Смысле (*фр.*).

** «О человеческом достоинстве и превосходстве» (*лат.*).

и талантов итальянского Возрождения, которые в литературе, искусстве и науке бросали в века плодотворные семена и создавали то, что было выше их и что осталось после них. Рядом с талантами неизбежно были и неудачники, и паразиты, были «примазавшиеся». Что из того? Плюсы с лихвой покрывали минусы. Доктрина «слава — virtù» могла встречать подводные рифы, но искать их надо не в этом направлении. В каком именно — покажет следующая глава, которая в зеркале эпитафии развернет перед нами «virtus», «virtù» в ее истории, ее оттенках и в борьбе с фортуною.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Катон Сакко, юрист Павийского университета, близкий Лоренцо Валле и Франческо Филельфо, с которым он много переписывался. Он же автор трактата о военном деле (см. В. С. Люблинский [322]).

² К нему можно отнести надписи Джованни Аурипы (1459), Леонардо Дати (1472), Бернардо Джустиниани, Бернардо Ручеллаи (1514), Луки Гаурико (1558), семьи Мануцциев в Венеции.

³ A. Zeno [312] ошибочно относил его к Понтико Вируно.

⁴ Dante. Convivio, I.

⁵ См. также эпитафию Агостино Беациано (1549): Приложение. Опыт библиографии гуманистической эпитафии.

⁶ L. G. Gyrgaldi [138, P. 19]: Senex diem obiit, hocque sibi moriens epitaphium adrogantiae plenum condidisse legi.

Глава IX

VIRTU — FORTUNA

Борьба за сферу влияния. Мотив «virtù» в смысле энциклопедической учености, сверхчеловеческой доблести, поэтического гения. «Virtus» в римской эпитафии епископа Пьетро делла Валле и метаморфоза в эпитафию латинского поэта Невия. Генезис и судьба ее на фоне истории фамилии делла Валле.

Конфликты фортуны с «virtù» с разными исходами. Состояние энергетического равновесия. Разные обличья фортуны. Житейская незадачливость. Пессимизм. Его хронологические рамки и отличие от пессимизма аскетически средневекового. Пессимизм фаталистический и астрологический. «Taedium vitae», в частности в автоэпитафии. Отщепенство от церковной доктрины.

Жизнь подходит к концу, она кончена. Позади остались борения, подвиги и падения, победы и срывы:

Me mea per varios duxit fortuna labores. . .

Вела меня моя фортуна через много трудов. . .¹

По вине ли человека или обстоятельств, сил чуждых и более властных? Круг, заверченный для одного, повторяется для других, для многих, для всех. Неизбежность конца, завершения цикла, властно требует осмысления. Эпитафия упирается в основные вопросы этики, когда-то мельком, то вплотную, то порознь, то вместе, на условном языке века, резонирует о «virtus», «virtù» и фортуне в их борьбе за сферу действия и влияния, ибо «virtù» захватывает столько же места, сколько ей уступает фортуна, и наоборот.²

За «virtù» остается первенство, поскольку в текстах раз-

ной степени выразительности она появляется раньше, уже во второй половине XIV в.

В 1362 г. с Гвидо да Баньоло, корреспондентом Петрарки «*secum virtus humana sepulta est*», похоронена человеческая «*virtus*», отождествляющая здесь блеск разнообразных дарований и знаний энциклопедического масштаба; это — новая формулировка того же идеала универсализма. Врач короля кипрского, он, как схоласт Базиано, совмещал в своем лице поэта, историка и философа.

Полный аккорд в 1402 г. берет эпитафия Марсилио Санкта-София в фамильной усыпальнице этих падуанских Асклепиадов:

Vivat et aeternum vitae jam munere functus
Hoc praestat virtus, quae facit una deos...

Вечно будет жить и по смерти:
Это дарует «*virtus*», которая одна сопричисляет к богам...

Носитель «*virtutis*» — в данном случае славный учитель, замечательный врач, становится через нее сверхчеловеком, смело сопричисляется к лику богов во множественном числе, что сообщает термину некий привкус паганизма.

Особенно любопытен текст одной римской эпитафии 1463 г., где «*virtus*» является основным мотивом. История этого текста не совсем обычна, — ибо он одновременно и вплоть до нового времени приписывался античному поэту Невию и епископу Пьетро делла Валле, — заставляет остановиться надолго на нем и его историческом фоне [150]. В старейшем печатном сборнике итальянского происхождения, но изданном в 1472 г. в Утрехте или Гарлеме и описанном Л. Бертало [122], под № 49 значится эпитафия, приписанная архаическому римскому поэту Невию:

Diva tibi vita est, felicia tempora, Nevi,
Me miserum, versa est sors mea morte tua.
Nulla igitur requies onerosa in luce moranti,
Te sine dulci nihil, te sine vita dolor.
Occidis ante annos patriae virtutis imago,
Sic tamen, ut vivas in meliore loco,
Accipe supremos tumuli modo, frater, honores,
Quos potius nobis tu dare debueras.

Responsio

Parce, precor, lacrimis. Fatum, germane, quid urges?
Omnibus haec solido est scripta adamante dies.
Pulvis et umbra sumus tantum. Post funera virtus
Nomen inextinctum sola superstes habet.
Nil aurum vel pompa iuvat, nil sanguis avorum,
Excipe virtutem, cetera mortis erunt.
Hanc cole, et ante oculos imitanda exempla parentum
Pone. Sed interdum sit tibi cura mei.

Богата твоя была жизнь, счастливая пора была, Невий,
Ныне же я несчастен, твоя смерть повернула мою судьбу.
Тому, что замедлил на свете, нет отдыха,

Без тебя нет радости, без тебя жизнь печальна,
Ты погиб преждевременно, образ отечественной virtutis,
Но погиб затем, чтобы жить в лучшем мире.
Прими же, брат, последние посмертные почести,
Которые мы скорее вправе были ждать от тебя.

Ответ

Прошу, удержи слезы. Зачем, брат, сетуешь ты на судьбу?
День смерти всем начертан заранее твердым алмазом.
Мы только пепел и тень. Одна «virtus» после гроба
Сохраняет имя от забвения.
Не помогут ни золото, ни роскошь, ни кровь предков,
Кроме «virtus», все обречено смерти.
Лелей же ее и имей перед глазами пример предков,
Ему подражай. Пока же помни обо мне.

Тот же самый текст приведен Беренсом в «Poetae latini minores» [II. 5. P. 395] среди «Dubia, suspecta, falsa»* (по cod. Lansdowniensis. Brit. Mus. 762), причем издателю XIX в. инкунабула 1472 г. осталась неизвестной. По мнению Л. Бергало, составитель кодекса, англичанин из Кэмпбелла, около 1500 г. занимательствовал его вместе с другим из сборника 1472 г. Это представляется маловероятным уже потому, что у Беренса отсутствует строка 14-я, представленная в раннем издании, и, скорее, можно предположить у автора антологии 1472 г. и англичанина из Кэмпбелла общий итальянский источник, рукописную антологию надписей, каких тогда много ходило по рукам.

Помещая текст в рубрику «Dubia, suspecta», Э. Беренс на основании внешних и внутренних данных не считал возможным приписать ему классическое происхождение, а предположительно видел в нем литературное произведение XV в., отнесенное к имени архаического римского поэта. Но эта гипотеза тоже не соответствует действительности. Наш текст представляет не риторическое подражательное упражнение, а является подлинной надписью, давно известной по ряду изданий и поныне сохранившейся на месте. Эта истинная филиация ни Беренсу, ни Бергало не была известна: в двух рядах изданий, филологическом и эпиграфическом, текст жил обособленно.

Первым издал наш текст в качестве надписи тот же Л. Шрадер в «Monumenta Italiae»,³ списав его в Риме (Санта Мария in Ara Coeli, капелла Сан Паоло). Посвящена она «Reverendo in Christo Patri Domino Petro de Valle iuris utriusque doctori episcopo asculano fratri bene merenti».** Заканчивается датировкой: obiit MCCCCLXIII. XII. Novembris.***

От текста филологического вариант Шрадера отличается одной гласной, у него изменено последнее слово первой строки:

* Сомнительного, находящегося под вопросом, ложного (лат.).

** Достойному во Христе отцу Петро де Валле, доктору обоих прав, епископу Аскуланскому, брату, много потрудившемуся (лат.).

*** Скончался 12 ноября 1463 г. (лат.).

*Diva tibi vita est, felicia tempora novi,** т. е. имя поэта Невия в звательном падеже превратилось в *perfectum* глагола «*posse*»,** причем такой нехитрой трансформации оказалось достаточно, чтобы целое могло попасть в латинскую антологию.

Позднее надпись издавалась в связи с описанием церкви *in Ara Coeli* и фигурировала в каталоге епископов римской церкви «*Italia Sacra*», причем в этих изданиях Казимиро и Утелли она при несущественных изменениях была воспроизведена так же, как у Шрадера. Наконец, эпиграфист XIX в. В. Форчелла иначе прочел и начало первой строки. В результате его поправки обращение брата к покойнику епископу Аскуланскому осмыслилось. Он сетует на горькую утрату и противопоставляет испытываемую им скорбь тем счастливым временам, когда тот еще был в живых: *Dum tibi vita fuit, felicia tempora novi...****

Итак, налицо две традиции, причем нетрудно установить, что традиция «филологическая» зависит от «эпиграфической». Надпись датирована 1463 г., инкунабула с эпитафией Невия издана в 1472 г. В промежутке времени между 1463 и 1472 гг. не совсем точно прочтенная, вероятно, сознательно видоизмененная надпись проделала путь к сборнику и была вместе с тем отнесена к лицу, более репрезентативному, чем Пьетро делла Валле, епископ Аскуланский. Можно думать, что этому способствовала форма диалога, столь же свойственная «*carmina sepulcralia latina*» античности, сколь редкая в надписях эпохи Возрождения.

Но значительна и занимательна самая возможность этой метаморфозы от надписи епископа к эпитафии античного римского поэта в ее легкой технической оснащенности, особенно если принять во внимание, что филологическая традиция дожила до конца XIX в. Интересно поискать разгадки в анализе текста на фоне его исторического окружения и культурной среды в связи с относящимися к нему персонажами. Углубимся сперва в текст.

Первая его часть, обращение брата, само по себе не привлекает особого внимания. Она представляет перепевы обычных мотивов ламентации, скорбь о преждевременности смерти, о нарушении естественного порядка, утешение надеждой на лучший удел, воздаяние покойному «*patriae virtutis imago*»**** — последних почестей.⁴

Центр тяжести — в ответе. Тот, кто в последний раз берет слово, просит прекратить плач и жалобы на судьбу: смерть преждевременна, человек — тень и прах, бессмертна только

* Свята тебе жизнь, счастливые времена я познал (лат.).

** Знать (лат.).

*** При твоей жизни я познал счастливые времена (лат.).

**** Образ отеческой доблести (лат.).

«virtus», которая становится дальше лейтмотивом, заглушая сокрушение и скорбь:

Post funera virtus
nomen inextinctum sola superstes habet.
Nil aurum nel (sic.) pompa iuvat, nil sanguis avorum:
excipe virtutem cetera mortis erunt.*

В противопоставлении другим источникам славы, знатности и богатству здесь ставится ударение на «virtus». Эта «virtus», фамильная и отечественная, обещает бессмертье на земле и своим упором на славу имеет имманентную, а не трансцендентную направленность, вырастая на опоре индивидуальной героической воли, это то сочетание, в котором в заключение предыдущей главы мы нашли историческое оправдание доктрины славы. Как истолковать и перевести слово «virtus»? Можно ли здесь видеть в нем синоним добродетели, когда оно содержит такую сильную окраску героизма и воли? «Virtus», «virtù» по-итальянски несет одну из излюбленных концепций эпохи Возрождения и в переливах оттенков, в колебаниях смысла отражает на почве истории языка глубокие, хотя и не всегда осознанные сдвиги морального сознания, пока не становится одним из краеугольных камней доктрины Макьявелли. Наш текст представляет переходный этап в истории развития этой концепции, пока она еще не достигла полной зрелости. Отправным пунктом еще остается тезис о человеке как тени и прахе, но он тут же отбрасывается, превозмогается не логически, а интуитивно и в потоке эмоций, в погоне за новым откровением, что маячит впереди; не в переселении «in meliore loco», ** а в славе, заключенной в земном пределе, есть высшая цель. «Virtus» приближается к «virtù», к доблести, фамильной и индивидуальной, к великому волевому напряжению, к которому призываются потомки. В смутных очертаниях скрывается энергетическое и оптимистическое представление о достоинстве человека и его великих возможностях. Вот почему текст анахронистически не только по формальным признакам мог быть связан с именем античного поэта.

Диалог ведет в капеллу Сан Паоло в Ага Соели, нам уже известную по эпитафии Никколо делла Валле, племянника Пьетро, епископа Аскуланского, в среду куриалов, крепкими узами спаянных со святейшим престолом, но в то же время куриалов-гуманистов, поскольку они снова чувствуют себя римскими патрициями. Силуэт самого Пьетро тоже можно восстановить в общих чертах.

«Uditore della Rota», т. е. член верховного церковного три-

* После похорон лишь одна доблесть, не подверженная смерти, сохраняет имя свое неугасимым. Ни золото, ни почести, ни кровь предков ничего не дают. Отними доблесть — прочие вещи будут принадлежать смерти (лат.).

** Улицы делла Валле (ит.).

бунала, юрисдикции которого подлежала вся католическая Европа, он в 1451 г. получил звание каноника Сан Пьетро, а в 1461 г. — епископа Аскуланского, в каком-то и умер в 1463 г. Но он был женат, как вытекает из недатированной надписи в той же капелле, где идет речь о «*uxor Petri de Valle, epi asculanii*» * [118. Vol. 1. N 491. P. 135]. Так как он не мог бы получить сан епископа при жизни жены, то следует думать, что посвящение имело место после ее смерти; надпись же, составленная *post factum*, не могла и не хотела лишить ее чести называться супругой епископа, при всей странности этого сочетания. Хронологические даты показывают, что епископом Пьетро был недолго — высоким духовным саном завершилась, как это случалось нередко, карьера куриала, доктора обоих прав, до поры до времени мирянина. Кроме того, известно, что он закончил устройство семейной капеллы, начатой его дядей Никколо [62. P. 203—204].

Особо надо отметить, что двор дома, принадлежавшего Пьетро на углу *via della Valle*** и площади их же имени, был украшен двумя замечательными античными статуями Пана — ныне в Капитолийском музее — и не менее знаменитыми «*fasti Vallenses*»; сохранилась гравюра XVI в. с изображением этого прекрасного в своей строгости двора [183. S. 158].⁵ В то же время в соседнем доме плита с «*menologium rusticum*» вместе с другими надписями являлась собственностью Лелио, брата Пьетро. Над входными воротами этого дома красовалась голова Зевса.

Что касается диалога, то автором его могли быть как племянники Пьетро, эллинист Никколо и Бернардино, сыновья Лелио, или последний. Во всяком случае, в лице Лелио, речь которого мы слышим в первой части, перед нами вдохновитель, духовный отец. Так надписи, древние и новые, ведут к одному из очагов римского патрицианского гуманизма.

Замечательно в нашем тексте окончательное вытеснение мотивом «*virtus*» всех остальных, намеченных в первой части. Это вытеснение соответствует перевесу идеологии гуманистической над идеологией куриалов, хотя бы и вращенных папскими милостями и щедротами, бенефициями, каноникатами, дарениями земельных угодий со всякими духовными званиями. Но старые плиты в известном смысле оказываются сильнее; они усердно собираются членами фамилии делла Валле, и в том числе Пьетро, не только как древности, а как памятники национального наследия, и штудируются рядом с поэтами. Занятия эпиграфикой и литературой носят не просто ученый и антикварно-любительский характер; они стремятся к обновле-

* Жена Петра де Валле, епископа Аскуланского (лат.).

** Улицы делла Валле (ит).

нию прошлого во имя «*patriae virtutis*».* По мере погружения в камни и в латинских авторов вставал в обаянии совершенной формы и отечественного предания новый строй эмоций и образов, враждебных всякой аскезе. Принципиальная их непримиримость долго не доходила до порога сознания. Духовная цензура в то время официально еще не народилась и не отметала пшеницы от плевел. Еще можно было говорить без оглядки. И вот вместо речи о смирении, о пастырском долге, вместо парафразы на тему *hic iacet Johannes peccator et indignus presbiter*** [38. I. 719] Лелио устами брата-епископа проповедовал культ «*virtù*» и, воскресни епископ, он, наверно, нашел бы это в порядке вещей.

Судьба диалога в XVII в. в согласии с данной ему выше интерпретацией прекрасно иллюстрирует импульсивно-действенный характер гуманистической эпиграфики. В ответ на призыв Марио де Скипано, обращенный к знаменитому путешественнику по Востоку Пьетро делла Валле иль Пеллегрино из той же фамилии, вернуться из его странствий, обосноваться на родине и обзавестись семьей он отвечал, что привязан только к славе. Похоронить себя в безвестности не посоветовали бы ему ни Никколо делла Валле, который имеет счастье жить еще в памяти многих людей, ни другие замечательные его предки: «Такую безмятежную жизнь не ставят в пример добрые мои предки, оставив то прекрасное завещание, которое еще хранится у меня в доме в качестве надписи под их портретами и которое много-много раз волновало мой ум. Оно гласит следующее...» [69. P. 14⁴].

И он цитирует вторую часть эпитафии своего тезки. Из этого письма следует, что диалог в качестве «*titulus*'а» висел в галерее предков исторического фамильного дворца, где родился Пеллегрино, — эпитафия и «*titulus*» легко обратимы, — что его смысл толковался как призыв к «*virtù*» и что он *находил эхо*.

В конфликте «*virtù*» — фортуна не всегда брала верх первая, не всегда заглушала она в мажорной гамме все остальные мотивы, не раз, наоборот, те оставались внятны, и с ней вступали в препирательство и в бой с разным исходом...

Утверждая себя великими усилиями, не выпуская кормила из рук, искусно лавируя, «*virtù*» в лице Каллимако Эсперинто, как именовал себя Филиппо Буонаккорси (1496), и Агостино Маффеи да Верона (1525) удается сохранить состояние энергетического равновесия.

Каллимако «*utriusque fortunae exemplum imitandum, omnis virtutis cultor praecipuus*»*** в счетах с богиней «случая» остается

* Отческой доблести (*лат.*).

** Здесь покоится Иоани — грешник и недостойный пресвитер (*лат.*).

*** Достойный подражания пример счастливой и злой судьбы, превосходнейший служитель всяческой доблести (*лат.*).

победителем: дерзость и мажьевеллевские дарования обеспечили ему, беглецу и политическому эмигранту, первенство при польском королевском дворе Казимира.

У Агостино Маффеи в молодости, как и Каллимако, близкого к Римской академии, позднее *Plumbarius'a fisci*,* жизненные успехи, богатства и почести — если верить свидетельству надгробия — не только не вытравили идеального начала, а были, наоборот, этой «*virtù*» по праву заслужены, ей не уступали и не заставили её изменить: «*in quo fortunis non cessit virtus*». ** Достиг он этого не аскезой — не в этом добродетель (*virtus*), а властью над собой, умением наслаждаться благами жизни и мерой в наслаждении, как учила эллинская мудрость:

ὡς τειννῆσόμενος ἀγαθῶν ἀπέλαυνεν
ὡς βιωσόμενος ἐφεῖθετο.

Как долженствующий жить, он от благ вкусил, как
долженствующий умереть, он был воздержан.

В облике фортуны столько же от хамелеона, как в облике «*virtù*». Независимо от того, названа ли она по имени или присутствует *implicite* и только подразумевается, свойственный ей демонизм может быть то легкомыслен и беззаботен, то грозен и опасен. Сфера ее действия то ограничена властью над внешними и материальными благами, которыми она по прихоти сылет из рога изобилия, то она становится зловещей и неумолимой, как фатум. Поэтому и пессимизм, что вторгается вместе с ней в эпитафию, может иметь корни разной глубины.

Он может быть всего-навсего продиктован житейскими будничными невзгодами скудной и незадачливой доли ученого, как в автоэпитафии Антонио Кодро Урчео, которую тот перед смертью (1500) просил своего ученика и биографа Бианкини вырезать на его могиле: «*Codrus erat*». *** В лаконической двусмысленности здесь литературное имя античности превращается в прозвище гуманиста — как новая вариация эффекта имени. Не менее бедный, чем Кодр Ювеналовой сатиры, его тезка, однако, не сомневается в своей широкой известности под латинским именем, символически определившим его участь до гробовой доски; как бы он ни был обездолен, слепая фортуна самого дорогого — признания современников отнять у него не могла.

Когда единоборство фортуны с *virtù* принимало более серьезный оборот, мироощущение получало знак «минус», окрашивалось унынием, безнадежностью, усталостью. Прощание с жизнью не может не быть подчас мрачно, и пессимизм по сути

* Хранителя печати фиска (лат.).

** В чем доблесть не уступила превратностям судьбы (лат.).

*** Я был Кодр (лат.).

старый пессимизм видел его вину. Он созерцает непостижимые слепые стихийные силы рока, хаоса, фатума, которые бессмысленно и незаслуженно жестоко играют с человеком, дают его под своим колесом. Защиты от них нет, человек перед ними одинок и бессилён. Часто этот фатум вместе с тем имеет определенно выраженный астрологический оттенок: гибель и катастрофы таинственно предопределяются ходом светил.

«*Taedium vitae*»* до краев переполняет эпитафию Пьетро Голино, кума Понтано, которому тот дал место в «*Tempietto*» рядом со своими (1501); ему же, собрату по Академии, посвящены обе книги «*Tumulorum*». В этой эпитафии слышны отзвуки последних горьких лет автора-поэта, когда на обломках Арагонской династии он провожал в могилу сына и старого друга. Бросая вызов судьбе, Голино сам отвечает на вопросы путника:

Ты спрашиваешь, что я делаю: коснею.
Ты хочешь знать, кто я? Я существовал.
Каковы были приправы моей жизни, вопрошаешь ты?
Труд, скорбь, болезнь, нужда, служение надменным господам,
страдания от ига предрассудков,
похороны близких, лицемерие гибели родины,
— но сварливости супруги я никогда не испытал.

Пессимизм кардинала Алеандро, выступавшего в Германии в качестве папского нунция против Лютера, понятен, поскольку он связал свою судьбу с римской теократией в период ее тяжелых поражений. Он умирает без сожаления, гласит его греческий диспих, ибо не будет больше свидетелем многих зол, худших, чем смерть (1542).

Завещая в Ферраре свою библиотеку в общественное пользование, Челлио Кальканьини, апостолический протонотарий (1541), на стенах книгохранилища просил входящего читателя вознести молитву перед Всевышним о благосклонности инисхождении к его манам: «*Nominis b. m. [bene merentis] Manibus Deum Optimum maximum propitium precaris*», и в том же стиле типического синкретизма исповедовал на противоположной стене, обращенной к уходящему, презрение к миру на манер Сократа:

Долгая наука научила меня прежде
всего презирать все обреченные смерти
и дала мне познать невежество свое.

Нельзя не заметить, что особенно часто настроена мрачно автоэпитафия. Кодро Урчео, кардиналу Алеандро и Челлио Кальканьини вторит Лелио Грегорио Джиральди, критик и историограф гуманизма (1560). В данном случае пессимизм был оправдан мучительной многолетней болезнью. Фортуна,

* Усталость от жизни (лат.).

говорит он, обращалась к нему двумя ликами, но чаще обратным; больше ему нечего сказать прохожему:

Quid hospes astas? Tumbion
vides Gyraldi Lili.
Fortunae utramque paginam
Qui pertulit, sed pessuma
Est usus altera, nihil
Opis ferente Apollina.
Nil scire refert amplius
Tua aut sua, in tuam rem abi.

Что остановился ты, путник?
Ты зришь гробницу Лелио Геральди.
Фортуна обращалась к нему
И одной, и другой стороной,
Но больше обратной.
И Апполон ему не помог.
Больше знать тебе нечего.
Иди, куда тебе надо.

Слышен старый библейский мотив: «Вкушая, вкусих мало меду, и се аз умираю».⁷ Водительство провидения сменяется вместе с тем водительством фатума, которым управляют созвездия. В таком астрологическом аспекте у Антонио Беккаделли и Понтано преломлялась утрата детей. Мы вспоминаем слова, обращенные первым к первенцу Альфонсу: рожденный в пятницу, под лучами Венеры, он был похищен в четверг, злой день созвездия Юпитера. Утрата дочери осмысливается в том же аспекте:

Felix cui dederint prius astra revisere fatum
Quem sentire animae noxia damna suae [160. P. 21].

Счастлив, кому звезды пошлют удачу, а не пагубу.*

В сумерках сознания переходной эпохи странствуют в астральном облике демонически искаженные образы олимпийцев, господствуя над судьбой человека. Не иначе, как в связи с таинственным проклятием созвездий, воспринимает жестокую утрату первенца Понтано:

Inferias puero senior, natoque sepulcrum:
Pono parens: heu quid sidera dura parant... [234. De tumultis. II. 26;
113. P. 110].

Старший, я младшего отдаю подземному миру, сына кладу в гробницу.
Я — родитель; какую жестокую участь готовят звезды!

Но склонялись ли весы в этом состоянии неустойчивого равновесия на сторону «virtù» или фортуны, человека или рока, в обоих случаях это происходило за счет того тре-

* Перевод дает только общую мысль.

тьего, чьи пути покорно почитались неисповедимыми подлинным сыном церкви, который смиренно, преклоняя колени, говорил: «Бог дал, Бог и взял». В этом отщепенстве, пусть не столько логическом, сколько эмоциональном и интуитивном, есть знаменье надлома и перелома, хотя бы и вне сферы применения закона больших чисел. Датируется хронологически этот период второй половиной XV в. и примерно первыми 30 годами века следующего. Любопытно видеть вместе с тем, что проблема свободы и необходимости, автономии человеческой личности и детерминизма, занимает тяжеловесные философские трактаты Лоренцо Валлы и Марсилио Фичино, Джованни Пико делла Мирандола и Пьетро Помпонаци в такой же мере, как тревожит эпитафию, и что там и сям она представлена с теми же перебоями текучих мнений. Со всем тем и в своде эпитафий, где естественно ждать упадка духа, направление равнодействующей более определяется «virtù», чем фортуной: фортуна с колесом становится фортуной с парусом, по слову А. Дорена, и человек садится к рулю.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Эпитафия Джироламо Болоньи (1517).

² Для истории концепции «virtù» у Макьявелли и предшественников материал собран у E. W. Mayer'a [178]; о фортунах см. A. Doren [100. P. 71—145]. E. Cassirer [64. Kap. 3].

³ См. Приложение. Опыт библиографии гуманистической эпитафии. Пьетро делла Валле (1463).

⁴ О свойственности этих мотивов античной метрической эпитафии и их распространенности см. B. Lieg [162]. Речь идет о преждевременной смерти людей [162. P. 453—457]; об общем уделе людей [162. P. 563—568]; о бесполезности жалоб [162. P. 571; 38. 513, 553, 995]; об обращении естественного порядка [162. P. 457; 8. 164. 169]; о бессмертии как утешении.

⁵ Эюд относится главным образом к фамилии делла Валле с точки зрения их коллекций древностей.

⁶ Предшественник Буркелати, который использовал эпиграфический труд последнего — «Antiquarius» в части, касающейся Тревизо, издан в «Supplemento al Giornale di letterati d' Italia» (T. 2. Venezia, 1722); для Болоньи см.: B. Burchelati [40]; Petrarca. Serm. 3. P. 111; G. M. Mazzuckelli [179]; A. Serena [273].

⁷ Книга Царств, 14. 43.

Глава X
ЗА ГРОБОВОЙ ДОСКОЙ

Мотив бессмертия в антитезе Овидия, в каноне консоляций, в формулах вступлений и заключений. Эпитафия-молитва Петрарки и ее антиномичность. Следы в эпитафии католического культа, «artīs bene moriendi» и догмы Страшного Суда. Синкретическая и архаизирующая трактовка последнего мотива у Феличе Феличано Антикварио и Элизио Каленцио. Платонизирующая эпитафия Бартоломео Платины и ошибка в ее интерпретации. Элизиум поэтов и мудрецов: Алессандро Акиллини и др. Либертинизм у Антонио Бекаделли-Панормиты и Лодовико Ариосто. Выводы.

Sunt testes vitae tumuli, finemque fidentur,
Principium alterius...*

Не один раз на предыдущих страницах мелькал перед нами этот мотив нового начала, начала новой жизни за гробовой доской. Он нам встречался в эпитафиях так называемых «христианских» гуманистов, в каноне консоляций — в виде надежды на лучшую участь, при анализе вступлений и обращений к путнику в виде просьбы о молитве, при изучении общих мест — в виде антитезы Овидия. Но там всюду не он занимал нас по существу, наше внимание было поглощено другими вопросами. Теперь, наконец, пора подойти к нему вплотную.

Если искать для него самой популярной формы выраже-

* Могилы — свидетели жизни, они говорят о конце и о начале другого (лат.).

ния, то ее, конечно, дал Овидий в своей антитезе; она поистине представляет крылатое слово, которое после Гвидо да Баньоло повторяется много раз в более или менее полном или усеченном виде.¹ Мы читаем у Марсилио Санкта София (1402):

Sic invecta pole supera mens regnat in aula,
Undique per terras inclyta fama viget,
Quae mortalis erat, jacet hic pars condita. . .

Так, возносясь в высь, душа парит в небесной обители.
Всюду на земле цветет великая слава,
А то, что было бренно, похоронено здесь. . .

У Джованни Антонио Кампано (1477):

Nec tamen hic totus, sola hic sunt ossa, petivit
Caelum anima, ast orbem gloria, corpus humum,
Interiit corpus, vivit sed gloria, vivit
Spiritus. . .

Но он здесь не весь. Здесь только кости.
Вознеслась к небу душа, слава живет в мире, а тело — в земле.
Оно-то погибнет, но живы будут слава и дух. . .

В каждом отдельном случае идет речь о небе, об эфире, о «*supera aula*»,* о «звездной обители» (*sydereos domos*), наконец, об «Олимпе» (Кальфурнио), и также упорно всякий раз возвращается ассоциация земной славы, равноценной в самом противоположении бессмертию души. Поэтому с таким же успехом нашу антитезу можно было бы рассматривать под углом зрения славы. В равноценности ущемляется и меркнет то, что должно было бы иметь ценность безотносительную, абсолютную.

Мотив жизни за гробом более действен и прочувствован в каноне консоляций, потому что там исходит от живого и пораженного в самом корне чувства. За испытания и превратности жизни так естественно, так человечно искать где-то возмещения, награды и покоя, так трудно примириться с безвозвратностью утраты; если этому упованию поверить, оно снимает с души ужасную тяжесть.

Flere perhas, quoniam parcarum lege soluti
Vivimus insontes liberiore polo. . .

Не плачь; избавленные от власти парок,
Мы, невинные, нашли более вольную обитель, —

утешает оставшихся эпитафия юного Никколо делла Валле (1473). Та же надежда окрыляет Помпония Лета при разлуке с учеником (1467):

Te deus aethereis purgatum collocit oris. . .

Тебя, просветленного, Бог перенесет в пределы эфира. . .

* Покоях небесного царя (*лат.*).

О смерти как желанном покое говорили нам в разговоре с самими собой Джорджо Мерула, Леонико Томео и Джано Анизио. Мы это уже слышали:

Vixi aliis inter spinas mundique procellas,
Nunc hospes coeli, Merula, vivo mihi. . .*

Тот же мотив может быть вполне действен, будучи выражен и не явно, когда он входит в надгробие в виде просьбы о молитве, обращенной к путнику в начальной или заключительной формуле, ибо здесь это традиционная христианская молитва за помин души «рго апита», которая подразумевает не только веру в загробную жизнь, но и веру в силу представительства близких и церкви в этом отношении. Такие просьбы заключали приведенные выше эпитафии Якопо Донди, строителя часов в Падуе, юриста Лодовико Кортузио, анонимного поэта из Пезаро и Челио Кальканьини (см. гл. IV). Тот же смысл имеет окончание эпитафии папы Николая V, хотя и двусмысленно стилизованное на античный лад:

En tumulo fundite thuro. . .**

Мотив нового начала в риторической антитезе звучал легко-весно, в обращении к путнику только подразумевался, с полной серьезностью и явно нашел выражение среди консоляций. Очередь теперь — за дальнейшими серьезными и явными доказательствами. Сперва при этом внимание наше привлекут те более ранние эпитафии, которые ассоциированы либо с католической обрядностью, либо с католической догматикой.

С обрядностью связана автоэпитафия Петрарки, которая представляет эпитафию-молитву, рифмованную, как у Данте и схоластов, мольбу к Мадонне о заступничестве и пощаде:

Frigida Francisci tegit hic lapis ossa Petrarcae,
Suscipe, virgo parens, animam sate virgine parce,
Fessaque iam terris coeli requiescat in arce.

Сия плита укрывает холодные кости Франциска Петрарки.
Прими, о Дева-мать, его душу и сжался над ней.
Исстрадавшаяся на земле, да найдет она мир горé.

Эпитафия Петрарки в смысле текста есть достойная эпитафия гуманиста-клирика, каким он был, и могла бы возглавить их. Этому мешает только параллельный ряд известных нам ассоциаций, к ней ведущих, хотя и не вытекающих из самого текста. Широкая, как на иконах, тень от покрова Богоматери укрывает вместе с грешником Петраркой и Вергилия, его неразлучного спутника, который на смертном одре также про-

* Я жил для других средь шипов и бурь этого мира. Ныне, гость небес, Мерула, я жив для себя (лат.).

** Пер. см. на с. 76.

диктовал эпитафию. Тут же под сенью покровы теснятся вся фаланга архаических римских поэтов, которым хорошо знакомое гуманисту предание приписывало ту же заботу о посмертной славе.

Эпитафия-молитва стала прототипом для друга и продолжателя Петрарки, Ломбардо да Серико, который закончил его труд «*De viris illustribus*»;* прощаясь с жизнью (1390), он также, только более многословно, обращался в литании к предстательству Мадонны. В дальнейшем автоэпитафия Петрарки как начинание и форма находит многоголосое эхо, но содержание ее перестает служить предметом подражания.

Верным в обрядности сыном церкви чувствует себя и Уберто Дечембрио из Виджевано (1427), заканчивая в качестве раннего эллиниста свою автоэпитафию отходной на греческом языке: «В руки твои предаю дух мой!»²

О принятии перед смертью схимы говорит надпись знаменитого юриста Бальдо Убальдини (1400). Этот обычай, равно известный с ранних пор как римско-католической, так и греческой церкви и широко распространенный в Италии тех веков, символическое воплощение находил в облачении орденской монашеской одежды на смертном одре.³ Бальдо был похоронен в рясе францисканца — «*Francisci tegmino fultus*».

Исключительна и единична для своего времени, первой четверти XVI в., эпитафия сына более знаменитого отца. Идет речь об юристе Джованни Франческо Поджо, сыне Поджо Браччолини, который похоронен был в Риме в 1522 г.:

Он, проведший жизнь в благочестии,
еще благочестивее прожил последний день.

Встреча смерти для доброго католика была облегчена «искусством хорошо умирать», в котором наставляли многочисленные трактаты XV—XVI вв., распространяемые во множестве на латинском и живых народных языках первыми типографиями [129. Bd. 2. S. 707—737. N 2571—2635]. Это искусство требовало полного отвращения от земных помыслов, привязанностей, соблазнов и забот, призывало сосредоточиться на жутком будущем плоти созерцанием ее неминуемого разложения, устрашало искушениями демонов у изголовья отходящего, учило сокрушено проливать неустанные слезы и оглушать себя громкой непрерывной молитвой, литанией, которую вопили рядом с ним напутствующие его монахи. Вот тот жестокий до изуверства и иступления ритуал, который подразумевает строка нашей эпитафии и которому должен был подвергнуть себя Поджо, чтобы представить зеркало средневековой смерти на крайней грани аскезы.

Верующим принадлежат также те надписи, которые так или

* «О знаменитых мужах» (лат.).

иначе ассоциированы с образом загробного Суда. Такое представление предполагает Боккаччо:

*Mens sedet ante Deum meritis ornata laborum. . .**

Перед престолом Верховного Судьи он предстанет, украшенный заслуженными трудами, и в доктрине спасения добрыми делами почерпнет уверенность, что Судья от него не отвернется. Автоэпитафия принадлежит тому позднему периоду жизни Боккаччо, когда он осудил либертинизм «Декамерона», сам служил дома мессы и набожно хранил в ларце некогда им осмеянные реликвии.⁴ Блудный сын вернулся в отчий дом, и догматика в тексте эпитафии не потерпела ни умаления, ни претворения.

Со второй половины XV в. мотив нового начала и родственный ему мотив грядущего суда, имея развитие и продолжение, предстают видоизмененные чуждыми наслоениями; вторгаются синкретизм, диссонансы, либертинизм, идут искания новых санкций. Прямая линия переходит в кривую нескольких веков, в кривую на ущербе.

От Боккаччо до Джованни Кальфурнио, профессора Падуанского университета, — скачок в почти полтора века. На таком расстоянии мотив Суда становится диссонансом и анахронизмом. Человек раскололся на Адама нового и ветхого. У нового Адама под барельефным портретом дистих на греческом и латинском языках:

Calphurni cineres
Sunt hic. possessor
Olympi
est animus. Volitat
fama per ora
virum.

Кальфурния пепел покоится здесь. На Олимпе
пребывает дух. Носится слава на устах людей.

У ветхого Адама на плите под этим барельефом Соломоный, падуанский антиквар 1700 г., прочитал слова:

*Donec in carne Deum videam***

Кто скажет, что существеннее было для Кальфурнио: слава ли латинской и эллинской речи или более древний пласт символа веры? Дошла ли до его сознания когда-либо непримиримость и непримиренность у него этих двух начал? Или более древний пласт всплыл в последние роковые минуты? Или и раньше существовал мирно рядом с пластом гуманистическим? По отношению к данному лицу эти вопросы внутренних диссонансов остаются открытыми.

* Пер. см. на с. 132.

** Пока (воскреснув), во плоти, ни увижу Бога (лат.).

Тот же самый синкретизм, хотя иной окраски, при том же ядре церковного верования отличает надгробие Феличано Антикварио из Вероны (ок. 1480) и Элизио Каленцио (1503), одного из пажей и оруженосцев Понтано, буколического поэта его Академии. Первое из них в особенности заслуживает подробного изучения; как по необычной судьбе, так и по оригинальности текста.

Феличано не захотел доверить другим заботу о бессмертии своего имени; он сам продумал и составил свою автоэпитафию, позаботился, вероятно, и выгравировал ее еще при жизни. Тем не менее этот способ страховки от забвения оказался нестойким: не только исчезла самая плита, но и литературная традиция передалась в искаженном виде.

В первый раз эпитафия Феличано была издана в 1534 г. в самом раннем сборнике латинских надписей римского «*orbis terrarum*» среди «*Inscriptiones sacrosanctae vetustatis*»* Апиана:⁵ надпись воспроизведена маюскулами, с сохранением деления на строки, в великолепном фолианте, каждая страница которого предстает в оправе заставки, среди многочисленных гравюр на меди, изображающих античных героев и богов в сильно готическом преломлении германского Возрождения. Сборник включает, как сказано, античные тексты, подлинными или сочтенными таковыми; исключение сделано только для четырех надписей Понтано в его «*Tempietto*» и немногих других, отмеченных соответственно поздней датой.

Надпись Феличано, лишенная даты и комментариев, предстает у Апиана как надпись античная, не имея ничего, кроме локализации — *Veronae*:

Feliciani Veronen

mihimet Felicianus Veronen.
sacrum, const. qui inquietus
vivid nunc tandem mortuus
non lubens quiesco solus
cur sim quaeris ut in die censorio sine
impedimento facilius resurgam.

Ibidem

Sponte fui pauper, tam re quam nomine foelix
Quaesivi nomen, quaerat avarus epes.

Фелициану из Вероны

Сам себе, Фелициан из Вероны, поставил я священный памятник, дабы после тревожений жизни нехотя здесь успокоиться. Почему я здесь один, вопрошаешь? Дабы в День Судный без помехи легче восстать. . .

Там же.

Добровольно был я беден и счастлив на самом деле, как и по имени, Я хотел оправдать свое имя, тогда как скупец ищет богатств.

* «Надписей священной древности» (лат.).

Мы видим, что надпись распадается на две части, найденные рядом, из которых прозаическая отнесена к Фелициану из Вероны, а дистих — к Феликсу. В дальнейших изданиях XVI—XVII вв. надпись продолжала фигурировать как надпись античная, древнехристианская у Грутера и вместе с тем была расколота на две части, ведшие раздельное существование до XIX в., хотя уже в XVIII в. критическая мысль в лице Л. А. Муратори и С. Маффеи их отнесла к новому времени и определенному историческому лицу.⁶

Из текста ясно, что Феличано сам сознательно не стремился к мистификации. На обычном в гуманистической надписи сочетании прозы с метрикой он назвал себя в первой части так, как обычно подписывался, построив в заключение дистих на игре именем. Ошибка вызвана прежде всего отсутствием даты, которая, очевидно, занимала третью плиту и раньше других затерялась, а больше всего тем, что самое имя Феличано даже на месте скоро заглохло — его письма, новеллы, стихи, эпитафические сборники остались в рукописях.⁷ Маюскулы этой надписи должны были обладать теми идеальными пропорциями, какие он изучал сам на античных камнях и канон которых первым изложил в трактате «De formis litterarum Latinarum».* Внешний вид надписи в отношении палеографии и отделки камня, изготовленной, как можно предположить, заранее и искусенной рукой, тоже мог ввести в заблуждение. Имело, наконец, значение и то, что могила, судя по приведенному тексту, была одинокой, вне связи с фамильными погребениями.

Остановимся теперь на анализе текста с точки зрения характерности его для автора и эпохи. Замечательно в нем сочетание стилизуемого архаизма с никейским символом веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Введение и заключение воспроизводят формулы античных эпитафий: «Mihimet. . . sacrum const.»,** святилище, требующее к себе уважения, пиетета, хотя бы во имя того, чтобы дать покой, невольный и нежеланный, после тревожений жизни, и наконец обращение к неназванному, но подразумеваемому путнику, что пройдет мимо одинокой могилы и захочет знать причину этого одиночества. Она в том, что не связанный цепями привязанности, — здесь неожиданный скачок к другому языку и другому строю понятий, — он легче в Судный день, dies censorius, встанет. Не только выражено упование на жизнь за гробом, — этот мотив отнюдь не чужд «паганистической» эпитафии, — но оно формулировано на языке апостола Павла.

Такой же простодушный синкретизм отличает «Jubilatio»*** Феличано,⁸ описание упомянутой выше во введении поездки по

* «О формах латинских букв» (лат.).

** Себе самому святилище соорудил (лат.).

*** «Ликование» (лат.).

озеру Гарда. Спутники находят надписи «божественного» кесаря Антонина и «божественного» Адриана у врат храма «божественного великомученика» и в заключение вкуче возносят в церкви Богоматери пламенную молитву благодарности «верховному Громовержцу и его славной матери» за то, что те просветили их сердца «направиться в места, столь замечательные, и их исследовать, внушили нам узреть с такой ревностью столь различные и достойные древности великие чудеса древности». В Пантеоне Феличано мирно уживались божественные римские цезари, великомученики и вся небесная иерархия католической церкви.

Автоэпитафия Элизио Каленцио — настоящее имя его Луиджи Галлучо [83] — отличается тем же сочетанием стилизующей архаики вступления и заключения с исповеданием веры в день Страшного суда:

Si tibi sit felix et faustum iter
Qui sim discito paucis, sodes.
Hic ego vates iaceo Calentius,
Somno sapiens gravi,
Donec me tubicen aetheris excitet,
Vocans ad pias superum sedes.
Legisti? amabo dic abiens vale.

Если счастлив и удачен твой путь,
То узнай, если угодно, в немногих словах, кто я.
Я, поэт Каленций, покоюсь здесь,
Погруженный в глубокий сон,
Пока не разбудит меня труба в эфире,
Призывая к святым престолом высших сил.
Прочел? так скажи же уходя: прощай!

К той же группе синкретических и архаизирующих эпитафий верующих гуманистов принадлежит замечательная надпись современника Феличано, Бартоломео Платины (1481). Насколько остается до сих пор во тьме жизнь Феличано, настолько мы хорошо осведомлены о «*curriculum vitae*» и последних днях историографа пап. Мы знаем от Павла Иовия, что по примеру греческих философов он отказал в завещании свой дом братьям по Академии для сборищ и коронации поэтов⁹ и вместе с тем «*in limine mortis*» передал «своему верному ученику и душеприказчику Дмитрию из Лукки свою автоэпитафию, донныне сохранившуюся на стеле в базилике Санта Мария Маджоре, где вместе с Бартоломео был похоронен его брат. Погребальное шествие поэты сопровождали жалобной песнью — *flebile carmine*; в той же базилике в годовщину смерти имело место известное нам поминовение его, когда после мессы с алтаря зачитывались элегии в стиле древних (см. гл. III).

Надпись Платины двуязычна. Латинский текст нередко просит путника уважать покой гробницы:

quisquis es, si pius, platynam
et suos ne vexes, anguste
iacent et soli volunt esse.

Кто бы ты ни был, если ты благочестив, не трогай Платину и его близких, они лежат тесно и желают быть одни.

Вслед затем Бартоломео обращается к опередившему его брату:

Θάρσον ἀδελφε καλῶς
Θνήσκων πάλιν φύεται.

Мужайся, брат, кто прекрасно умирает, снова рождается.

В греческий язык надписи вносится знакомая нам концепция *artis bene moriendi*, но преображенная и просветленная, поднятая на высшую ступень. Прекрасная смерть трактуется здесь не в аскетическом преломлении этих напутствий, а в смысле утешительного упования на новое через нее возрождение. В самом деле, гуманист возвращает идее бессмертия ее исконное фонетическое эллинское обличье и тем самым идет к ее истокам. Здесь можно думать не только о платоновском «Федоне», но и о популярном диалоге «Аксиох» или «О презрении к смерти», который тогда приписывался тому же Платону и при жизни Бартоломео был переведен в Италию дважды.¹⁰ Отсюда черпает вдохновение выношенная надпись, искренность которой освящена памятью брата. Платонизм в ней остается в согласии с церковной доктриной, но эта доктрина ищет санкции и оправдания у платонизма, который ее оплодотворяет вновь семенами античных религиозно-философских умозрений. Платонизм заслоняет церковную доктрину. В то же время получает ориентацию на античный лад вместе с эпитафией вся обрядовая сторона, начиная с завещания и кончая поминками.

В своей совершенной, казалось бы, ясности надпись Платины, однако, подала повод к неверной интерпретации очень компетентного судьи. По поводу нее Дж. Кардуччи в 1881 г. с обычным блеском формулировки сделал вывод, который в своей заостренности может быть справедлив по отношению к некоторым надгробиям гуманистов, но не к данному: «Надпись находится на небольшой мраморной стеле — на гробнице, которую Платина выбрал для своего брата, умершего в возрасте двадцати семи лет, и для себя. Стела и надпись по форме, по стилю, по письмам кажутся сделанными для *via Arria*.* Этих людей эпохи понтификата Сикста IV Христос не потрудился испусть. Они представляют себе жизнь за гробом, как Гомер и лучшие из греков: существование, что тянется под землей в печальном одиночестве и тоске».¹¹ И приводит латинскую часть надписи, не замечая вовсе греческого продолжения. Поэтому-то в первую он вкладывает совершенно чуждый ей смысл.

* Аппиевой дороги (ит.).

Но правильность нашего толкования устанавливает не только продолжение надписи с печатью платонизма, но и сопоставление первой части с аналогичными современными ему текстами, которые закрепляют его смысл. Такова, например, латинская надпись мантуанского гуманиста Баттисты Фьеры (1514):

Futuro quod fuit et propriis hic sub aedibus quod curavit tumulando nemo inuideat, quoniam solus vult esse. 12*

Это та же забота об охране неприкосновенности гробницы от посягательств, которая не раз, например у Феличано, нам встречалась с другой мотивировкой. Следовательно, можно утверждать, что в своей выдержанной классической архаике эпитафия Платины разделяет веру в бессмертие по Платону.

Если идти дальше и перешагнуть порог XVI в., то можно обобщить сделанные только что на частных случаях наблюдения. Мотив нового начала, в виде ли ассоциации с католической обрядностью или догмой, гложет и сходит со сцены. Начинает зато мелькать и вырисовываться то смутно, то с большей определенностью представление об Элизииме теней поэтов и мудрецов — это бессмертие по Вергилию и Тибуллу, которое ожидает Алессандро Акиллини (1512), отца и сына Делла Торре, Якопо Саннадзаро (1538). В надгробии первого, известного своей полемикой с Помпонаци, против которого он защищал тезис о бессмертии души, проблема эта становится основной темой. «Не ищите философа, — гласит она, — напрасно в гробнице, его благородная тень бродит в Елисейских полях, в обществе „его“ Аристотеля — там постигает он, не в слабом мерцании, а лицом к лицу, тайны бытия»:

*Hospes, Achillinum tumulo qui quaeris in isto,
Falleris, ille suo iunctus Aristotele,
Elysium colit, et quas rerum hic discere causas
Vix potuit, plenis nunc videt ille oculis.*

Текст выдержан в стиле того же классического травести, какой мы увидим ниже расцветшим в богатейших деталях в цикле на веронской гробнице Делла Торре тех же лет.

Так обрядность и догматика церкви вытесняются языческими образами, пленяющими воображение и проникающими через посредство искусства в прекрасных фикциях, не имеющих полной реальности, а потому как будто ни к чему не обязывающих и не совсем, казалось бы, серьезных. Не является ли тогда в конце концов Элизииум только чувственным символом для апофеоза? И не сводится ли здесь тогда античная маска к риторической фигуре продолжения жизни за пределами мира не в славе, а в духе?

* Пусть никто не завидует тому, что останется от того, чем он был и о чем позаботился, распорядившись похоронить себя здесь, под принадлежавшим ему строением, ибо он желает оставаться в одиночестве (*лат.*).

Языческое искусство, надо отметить, имело еще союзника и попутчика: насмешку над догмой, неуважение к ней, либертизм. О неуважении к догме Судного дня можно раньше всего говорить по поводу автоэпитафии Антонио Беккаделли Панормиты, написанной им, согласно мало вероятной традиции, на одре смерти (1471). На «*sedes pias*»* за гробом, приготовленным для него Творцом и Искупителем, он надеется, как на награду, в качестве поэта эротического — *qui ploret amores* и поэта придворного — *qui Regum fortia facta canet*:

Quaerite, Pierides, alium, qui ploret amores,
Quaerite qui Regum fortia facta canat.
Me Pater ille ingens, hominorum sator et redemptor
Evocat et sedes donat adire pias.

Ищите, Музы, другого поэта, кто оплакал бы любовь,
Кто воспел бы геройские подвиги царей,
Меня же призывает великий Отец, сеятель людей и искупитель
И дает мне место у святого престола.

Между посылками и выводами — при всей их близости и обнаженности — он не слышит диссонанса. Исповедуя перед Музами веру в искупителя, он также развязно претендует на небесную награду, как на земную славу, ввязывая себе в заслугу то самое, за что церковь налагала эпитимьи. «Гермафродит» вместе с портретом автора в нескольких городах был предан монахами сожжению.

Особенно любопытна в этой связи известная автоэпитафия Лодовико Ариосто. Видимо, она никогда не была использована в качестве надписи, не выдержав цензуры современников. Самое большее, что можно предположить, — это ее нахождение в церкви в виде временной надписи на пергаменте. В самом деле, Л. Шрадер приводит ее, локализуя: *arud Carmelitas*.** О смысле этой пьесы и ее значений спорили много: относился ли действительно сам поэт к ней серьезно, упомянул ли о ней в завещании или это просто шутка молодых лет над суетностью тех, кто при жизни столько заботился об «урне»? Если это и шутка, то жало ее навряд ли, согласно интерпретации Полидори, направлено по этому адресу. Выдержанная в серьезном тоне латинская эпитафия поэта для своего отца Никколо доказывает как раз факт такой заблаговременной заботы его близких совершенно в духе времени. В спорном тексте Ариосто предвидит смущение и замешательство души, что после положенных скитаний среди лепла могил в Судный день станет искать брошенные ею нехотя кости:

... sed nec
Tanti erat vacuum sibi cadaver,
Ut urnam cuperet parere vivens.

* Святой престол (лат.).

** У братьев-кармелитов (лат.).

Vivens ista tamen sibi paravit,
Quae inscribi voluit suo sepulchro
(Olim si quod haberet id sepulchrum)
Ne cum spiritus exili peracto
Praescripti spatio, misellos artus
Quos aegre ante reliquerit, reposit
Hac et hac cinerem hunc et hunc revellens,
Dum noscat proprium, vagus pererret.

Не был столь суетен труп,
Чтобы при жизни соорудить себе урну.
Однако при жизни приготовил себе
Надпись для своей гробницы
(Если бы когда-либо он удостоился таковой).
Дабы душа, по истечении
Положенного срока, не принялась искать там и сям
Злосчастных костей, что она раньше
Нехотя бросила,
Переворачивая то тот, то этот прах,
Не находя пристанища; пока не обретет собственных.

Нескромная логика поэта для глумленья кощунственно избирает своей мишенью догму воскресения во плоти апостола Павла в ее физической несообразности. Вереница образов, послушно возникающих в его воображении, приводит к абсурду—этим поискам души, носительницы сознания, своих бесчувственных костей среди бесчисленных скоплений, им подобных, причем здесь-то и может оказаться полезной для опознавания эпитафия. Это тот же либертинизм, с которым Ариосто через два века после «Божественной Комедии» описывал, по Вергилию, рошу несчастных любовников.

Если у Ариосто догмат является мишенью шутки, то Леонико Томео (1531) совершенно серьезен в своем пессимизме: сон, который ожидает его, как и всех, одинаково лишен страха и надежды (гл. VII). Греческая редакция автоэпитафии здесь скрывает от профанов доктрину Эпикура и Лукреция.

Можно, наконец, резюмировать.

На судьбе за гробом мысль останавливается нечасто. Еще реже эта мысль находит оригинальное воплощение в форме, предписанной католической обрядностью и догмой, а именно форме четырех страшных ожидающих человека «Novissima»*: смерти, Страшного суда, ада и рая. «Эпитафия-молитва» и просьба к путнику о молитве, принятие схимы перед смертью, ритуал «artis bene moriendi», спасающий от козней лукавого, догмат Страшного суда представляют вместе с тем у ядра церковно мыслящих людей некое стройное единство. Это единство и догматически оформленная надежда на бессмертие исподволь разлагаются: генеалогией «эпитафии-молитвы» от Вергилия, антитезой Овидия, археологическим синкретизмом Феличано и Каленцио, бессмертием по Платону, атеистическими

* Последних вещах (лат.).

трактатами «De anima»,* образом Элизиума, непочтительной насмешкой и доктриной Эпикура. Наблюдения над оскудением веры при этом ограничены образованной верхушкой и изолированным изучением эволюции данного мотива на расстоянии двух веков.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Она повторяется в отношении Марсилио Санкта София (1402), Бьяджо Пелакане (1416), Уберто Дечембрио (1427), Франческо Барбаро (1453), Гварино да Верона (1460), Пьер Кандидо Дечембрио (1470), Джованни Антонио Кампано (1477), Бальдо Бартолини (1490), Джованни Кальфурнио (1503).

² Евангелие от Луки, XXIII.46.

³ Из гуманистов соответственные сведения имеются о Джованни Марканова по завещанию 1464 г. [275. P. 193], Франческо Роланделло — терцарий по завещанию 12 декабря 1477 г. [273. P. 92]; Анджело Полициано был облачен в доминиканскую одежду по распоряжению Савонаролы [296. Т. 1, р. LXXXVII]; Георгий Валла умер в 1500 г. [8. Т. 2. Col. 2182]; известно о принятии схимы незадолго перед смертью гуманистом Паоло да Канале в Венеции (умер в 1508 г.) [299. P. 50]; о том же — относительно Христофора Лонголия (умер в 1522 г.) по письму Реджинальдо Поло [164. L. 4. P. 30; 277. P. 93—94]. На надгробном памятнике Никколо Аччайуоли, великого сенешаля (умер в 1365 г., Флоренция, Чертоза), он под шлемом одет в монашескую рясу с клобуком.

⁴ Следует из завещания Боккаччо (1374 г.) — Ed. secondo la pergamena originale dell' Archivio Vichi Borghese di Siena. Siena, 1853.

⁵ См. библиографию эпитафии Феличе Феличано (ок. 1480 г.): Приложение. Опыт библиографии гуманистической эпитафии.

⁶ См. Приложение. Экскурс I.

⁷ Кроме 67 терцин в книге «Libro degli uomini famosi» Петрарки, которую издал Феличано в 1476 г. в Вероне в компании Ziletti.

⁸ Текст издан отчасти S. Maffei [169. Т. 2. P. 519—522]; полностью — P. Kristeller [153. Appendix. P. 472—473; 114].

⁹ См. C. G. Bruns [36. S. 192 sqq.] и замечания Gianozzo Manetti (De illustribus longaevis) по завещанию Никколо Никколи [296. Т. 1. P. LXXVII], которое сопоставляется с завещаниями Платона, Аристотеля и Теофраста.

¹⁰ Первый перевод 1436/37 г. принадлежал Ченчио Романо, деду Никколо делла Валле, второй — Марсилио Фичино [23].

¹¹ Вместе с тем Кардуччи допускает и топографическую неточность, относя стелу к С. Джованни ин Латерано.

¹² Те же слова у Камилло Роверцани (1580) [270. P. 397*].

* О душе (лат.).

Глава XI

РАЗРЫВ С ЦЕРКОВЬЮ В ОГРАДЕ ЦЕРКВИ

Эпитафия в пространстве, в перспективе ближайшего окружения. Памятники глоссаторов в Болонье. Типы памятников схоластам. Значение окружения для мемории: луккский барельеф Джованни Пьетро Луценсис ди Авенца. Главный тип гуманистического памятника. Саркофаг с лежащей фигурой. Памятник-анофеоз: Леонардо Бруни Аретино у Бернардо Росселино. Образ безмятежной смерти в памятнике Карло Марсуппини Аретино у Дезидерио да Сеттиньяно.

*Альберто Пио да Карпи: автаркия стойка. Грации как высшая форма жизни у Ланчино Курцио (мастер — Агостино Бусти). Пластический паганизм гробницы Делла Торре (мастер — Андреа Риччо). Новые нормы «*artis moriendi*» у Джованн Баттисты делла Торре. Памятник Джакомо Саннадзаро: мифологический академизм. Стремление к близости к мощам античности: Ловато де'Ловати, Бьяджо Пелакане, Юлий Помпоний Лет. Памятник как синтез основных типов отношения к смерти на пути в Пантеон.*

До сих пор эпитафии рассматривались в филологической изолированности и критической интерпретации тематики и хронологически сопоставленных текстов. Но, поскольку эпитафия реально входила в комплекс гробницы и памятника, необходимо увидеть ее не только во времени, но и в пространстве, в перспективе ближайшего окружения, на ее обычном фоне и месте, органически с ней связанным, — в тех случаях, когда этот фон можно восстановить, когда памятник как произведение искусства не только существовал, но и сохранился. Понятно в самом деле, что в отмежеванном данным исследованием тесном кругу

количество значительных по содержанию эпитафий всегда должно было превышать число таковых же памятников, требовавших не всем посильных материальных затрат, и что вместе с тем время более благоприятствовало сохранению первых. Но в общем масштабе надгробный памятник итальянского Возрождения давно привлек к себе несравненно больше внимания историков культуры и историков искусства в ущерб эпитафии [135; 43. Buch. 2. Kap. 2. §. 138—142; 272; 46; 271]¹, которая говорила то, чего не договаривал образно язык, который перестал быть столь широко доступным, каким был в свое время.

Отправной пункт в эволюции памятника остается тот же, что для эпитафии. С одной стороны, исконные типы, освященные средневековым статуарным искусством, с другой — античные образцы, которые лежали в основе тех же типов, или до поры до времени были заслонены, пока не пришла пора победоносной с ними конкуренции:

*Antiquam requirite matrem. . .**

В пределах нашей демаркационной линии первые по времени замечательные памятники средневековым ученым поставлены были в XII в. Болоньей своим глоссаторам, Аккурсию и его сыну Франческо. Импозиантные, как глыба, давящие громоздкой массой, грузным весом, они замечательны и окружением. Саркофаг Франческо стоит на большой пустынной площади, где ему символически противостоит только колонна, увенчанная статуей Мадонны.

Памятник схоласта окружает его семью свободными искусстваами, как Роберта Анжуйского, «короля от назиданий», который сам любил проповедовать в церкви и был похоронен в Санта Кьяра в Неаполе, или изображает его на кафедре перед аудиторией сидящих у него в ногах студентов. Барельеф с лекцией, который в XIV в. появляется в Болонье, Пистойе, Падуе и других местах, представляет позднее и гуманистов, по мере того как те связываются с университетами, — можно указать, например, памятник Джованни Кальфурнио в Падуе, Сан Антонио, — но уже на уровне художественного трафарета.

Любопытен может быть в своем окружении иногда и самый, казалось бы, скромный тип мемории: барельефный портрет, если он, икона нового времени, как профиль в медальоне гуманиста Джованни Пьетро Луценсис ди Авенца (30 октября 1457 г.) в Лукке, вырисовывается один на самом портале собора, где в романском храме предстоит Богоматерь с апостолами и святыми.²

Рядом с типами памятников схоластической традиции рано начинает складываться тип специфически гуманистического памятника, тип, который не связывал мастера сюжетом и пред-

* Вновь обретите мать-природу (*лат.*).

писанными атрибутами. Это тип лежащей на саркофаге фигуры, будь то тип саркофага свободного или «*in pischia*»,* саркофага в пространстве или в проекции барельефа. Проследим видоизменения этого памятника гуманиста.

Не все идут вместе с веком, и старомодный памятник — под сенью Мадонны и святых — иногда отставал от надписи, оставаясь с ней в непримиримом противоречии, вступая с ней в конфликт, не доходивший отчетливо до сознания современников, как то было отмечено выше (в гл. V) по отношению к Пьер Кандидо Дечембрио [32. P. 418—419].

Рис. 1. Для раннего памятника XV в. диссонансы, впрочем, еще характерны. В памятнике Бартоломео Арагаци да Монтепульчано, поэта-гуманиста и апостолического секретаря, который тот при жизни заказал Донателло и Миккелоццо, он как клирик изображен на саркофаге в нише в смиренной монашеской рясе с капюшоном, как об этом можно судить по сохранившимся обломкам, но самый памятник по его желанию должен был быть вознесен на высоты Монте Пульчано, его родину, на вечную память землякам.

Но в общем поступательном движении памятник обычно не только настроен с эпитафией в униссон и гармонирует с ней в системе своих символов и эволюции форм, но раскрывает иногда те же тенденции раньше, непосредственнее, целостнее, ярче, по мере таланта ваятеля, как, например, во флорентийских памятниках гуманистов Леонардо Бруни Аретино (1444) и Карло Марсуппини Аретино (1453).

Рис. 1 и 3. Бернардо Росселино в памятнике Леонардо Бруни разрешает свою задачу создания памятника христианского и гуманистического с большим тактом. У него сохранились над саркофагом «*in pischia*»* традиционный медальон с Мадонной, а по бокам ангелы, поддерживающие надпись, но фигура покоящегося на смертном одре гуманиста абсолютно доминирует и центральнойностью положения в соотношении частей. Величественные складки мантии верны флорентийской моде XV в. и в то же время почти не отличаются от античной драпировки. Лавровый венок на голове, который обвил ее во время похоронного обряда, книга «История Флоренции» на груди, прижимаемая руками, мощные орлы Зевса, что расправляют крылья для полета, поддерживая смертный одр на саркофаге, герб Флоренции — коронованный гераль-

* В нише (лат.).

дический лев на задних лапах — львиное подножие саркофага, — все это в благородстве своих пропорций служит целям апофеоза.

Еще дальше, при том же флорентийском чувстве меры, которое не может оскорбить верующего, секуляризация идет у Дезидерио да Сеттиньяно в памятнике Карло Марсуппини. Повторяя архитектонику предшественника, он устраняет эмблемы христианства и вместе с тем в богатстве декоративных мотивов, гирлянд из цветов и листьев, ваз с цветами и милых детей, — только детей, жизнерадостных, подвижных и ласковых, — дает образ смерти безмятежной, примиренной и примиряющей, где нет ничего мрачного, отталкивающего, страшного, где все находит разрешение в гармонии и красоте. Здесь дышится легко. Нет греха, и не нужно искупления.

Альберто Пио да Карпи, изгнанный государь, известен как верующий и даже воинствующий католик — он полемизировал с Эразмом как поборником Лютера, однако на памятнике работы Поля Понса (1535), ныне находящемся в Лувре и заказанном, по П. Иовию, племянником покойного, он трактован в стиле Марка Аврелия — как античный воин-философ, сосредоточенный в глубоком раздумье и важный. Полулежа и полуобнаженный, как на этрусско-римских саркофагах, с курчавой головой и небольшой курчавой бородой, он свободно и спокойно облакачивается правой рукой на подушку, наклоняясь над повернутой корешком книгой в другой руке. Прекрасен плавный спадающий силуэт этой левой руки, прилегающей до кисти к бедру и продолженной ногой под широкой драпировкой. Близость этой руки к торсу расширяет его, делает его массивным и компактным, внушительным. Наготе сильных рук соответствует мускулистый торс, который отчетливо делится цезурой продольной и цезурами поперечными. На голених — наколенники, на плечах — наплечники с бахромой, через правое плечо переброшена тога. Герой дан художником через призму древности, в выдержанном до конца классическом трагедии, в самоутверждении и самодовлении стойка, который черпает силы не извне, в нисходящей откуда-то благодати, а внутри себя. Отгородившись от постороннего вмешательства стихий, рока и людей только волей мужественно их претерпеть, он за этим барьером, внутренне свободный, противопоставляет всему и встретит неминуемую смерть спокойно [116. Р. 412; 193. Т. 2. Р. 265].

Рис. 4.

Тот же формальный тип, но в проекции на плоскость барельефа, представляет миланский памятник Ланчино Курцио работы Агостино Бусты, который Л. Шрадер во второй половине XVI в. видел в Сан Марко в Милане и который ныне находится в музее [270. P. 367v].³ В этом памятнике гуманист живет и поныне. Со слов П. Иовия мы знаем, что Ланчино заказал его при жизни, и, следовательно, можно предположить, что мастеру была преподана программа в духе того сотрудничества гуманистов с художниками, к которому в трактате «О живописи» призывал Л. Б. Альберти.

Рис. 5.

Престарелый поэт в хламиде отдыхает, положив голову на левую руку. Голова в длинных кудрях увенчана лавром. По обе стороны ложа — траурные гении с обращенными вниз потухшими факелами. Выше — группа трех нагих граций — высшей нормы жизни, а по бокам — крылатые пегасы, эмблема божественного вдохновения поэта. Над их головами — две виктории с пальмовыми ветвями, а венчает все нагая Слава с ныне поврежденными трофеями. Всюду сверкает в мраморе прекрасная нагота стройных тел, заключенных в строгие пропорции композиции. Апофеоз достоин того, кто, по словам П. Иовия, «довольный малым, жил, как часто говаривал, только для себя и своего гения», но от христианства в нем не осталось ничего; он выдержан в стиле пластической ретроспективности, хотя готические синусоидальные складки на хламиде поэта, обличая руку второстепенного мастера, наивно противоречили антитезирующей фактуре.

Рядом с Ланчино Курцио на крайний фланг пластического паганизма ведет гробница Делла Торре (первоначально в Вероне, Сан Фермомаджоре, ныне в Лувре) [225. Vd 1. S. 311],⁴ которая заключает прах отца Джироламо, профессора Падуанского университета (ум. 1506), и сына Марк Антонио (ум. 1511), известного сотрудничеством в области анатомии с Леонардо да Винчи. Оба были философами, астрономами, медиками. Кому принадлежит отцовство в смысле сюжета, видно из надписи.⁵ Ваятелю Андреа Риччо заказ был дан тремя младшими сыновьями, Джулио, Джован Баттистой и Раймундо, которые наследовали те же традиции учености и то же направление ее, в особенности Джован Баттиста. Можно предположить также сотрудничество Джироламо Фракастори, товарища братьев по Падуанскому университету и ближайшего друга Джован Баттисты, который фигуриру-

ет почти во всех его философских диалогах.⁶ Фракасторо же принял, по собственным словам, с последним вздохом Джован Баттисты его предсмертный завет довести до конца начатый им астрономический труд «Номосентрико»,⁷ который должен был исправить систему Птолемея. Труд был выполнен, а рассказ о самом поводе его возникновения содержит печатное к нему введение. Как можно судить по этому, над задачей Коперника, который в те же самые годы вместе с Фракасторо и Баттистой делла Торре сидел на скамьях Падуанского университета, трудились, хотя бы и бесплодно, другие умы. Кто знает, не велись ли по этому поводу и общие беседы в аудиториях?

Рис. 6 в
9 частях.

Памятник представляет саркофаг на четырех сфинксах, водруженных на постаменте эпитафий. По саркофагу идут барельефы, объемля цикл «In vitam et in mortem».* Композиция разворачивается в историческом порядке ряда эпизодов в виде «storia»,** как это типично, собственно, для кваттроценти и уже превзойдено искусством Высокого Возрождения, которое перестало быть иллюстратором по преимуществу и идейные задания подчиняет формальным проблемам. Наоборот, здесь можно констатировать абсолютное преобладание ученого сюжета в его детальной разработке, и его умствованиях, в переполнении мотивами, в его мифологических реминисценциях. Итак, восемь композиций представляют по очереди: 1) лекцию под сенью Аполлона и гениев Iocis;*** 2) последние мгновения; 3) жертву богам; 4) оплакивание; 5) обряд похорон и установку памятника, который можно узнать в его очертаниях; затем все хождения души; 6) переход через Стикс; 7) поля блаженных и апофеоз, все в полном согласии со сценой встречи Тибулла с поэтами у Овидия⁸ и с античным ритуалом смерти и погребения, который здесь воспроизведен в подробностях и в археологической точности полного реквизита. Ничего не упущено. Здесь и парки, готовые обрезать нить; полено Мелеагра в руках богини судьбы над пламенем костра, то самое, на котором, по заклятию, держится жизнь; и Suovetaurilia — ритуальная жертва вола, барана и свиньи; и троекратное взывание к манам над урной, и фриз из гирлянд и букраний; и душа в виде прекрасного и юного нагого отрока; и грузная фигура

* «К жизни и к смерти» (лат.).

** Истории (ит.).

*** Места (лат.).

Хирона на берегах Стикса; и наконец Элизиум теней, где в сонме крылатых гениев, граций и влюбленных нимф для избранных радостные хороводы перемежаются блаженным созерцанием и беседами в обществе важных мудрецов. Немудрено, что в этих барельефах некоторые археологи позднее хотели видеть изображенной смерть Мавзола, сатрапа Карики; первым, кто объяснил смысл и значение барельефов как христианского памятника, был гр. Чиконьяра (Cicognara) в т. IV «Histoire de la sculpture moderne en Italie» [77].

8-й барельеф представляет, наконец, апофеоз в вечности. Здесь крылатая Слава по образу, заимствованному в «Trionfi»* Петрарки, провозглашает, трубя в рог *urbi et orbi*,** славу героя, имея подножием земной шар и неся в левой руке лавровый венок. Она прогнала крылатый скелет смерти с косой; вселенную подпирают книги, а справа роет землю крылатый конь вдохновения, Пегас.

Такова была идеальная сфера просветленного потустороннего существования, где воображение младших Делла Торре хотело видеть старших родичей. Но награда им давалась не даром. К ней надо было идти путем умственного труда, самоотвержения, духовного горения в преследовании высшей цели. В этом смысле образы фамильной усыпальницы, обдуманные младшими сыновьями или в длинном свитке развернутые, как показывает свидетельство Дж. Фракасторо, воспитывали и обязывали, в свою очередь, наперед следующих в той же неминуемой очереди. Под их внушением у Джован Баттисты складываются новые нормы «*artis bene moriendi*», когда в сознании его до последнего момента властно доминирует мысль не о спасении души, а о научной проблеме как самом дорогом наследии, как единственном залоге его бессмертия. Он умирает как ученый. Искусство, языческое искусство здесь было действительно, и вместе с тем только оно сохранило след благородного честолюбия большого масштаба, безвременно оборванного двумя ранними смертями.

В противоположность братьям Делла Торре Якопо Саннадзаро в долгой жизни дал все, что мог дать. Его памятник работы мастера Сервита в церкви Мария дель Парто в Позилипо близ Неаполя был воздвигнут около середины XVI в., когда наивному

* «Триумф» (ит.).

** Городу и миру (лат.).

«возрождению древности» были уже поставлены барьеры. Принадлежа к той же группе памятников на античный лад, он являет их черты в виде смягченном и заглушенном. Его мифологические образы уже начинают застывать в литературную аллегорю, уже впадают в несколько слащавый академизм; их нагота прикрыта.

Рис. 7.

Между Аполлоном и Минервой на широком базисе возвышаются две высоких консоли, поддерживающие урну, на которых меж двух амуров стоит герма поэта в традиционном венке. Между двумя консолями на уровне статуй виден барельеф с персонажами воскрешенной Саннадзаро «Аркадии». ⁹ Пан длинными костлявыми пальцами перебирает пастушескую свирель, Марсий корчится, привязанный к стволу дерева, а Нептун с трезубцем обращается к полуобнаженной нимфе.

Гробницы гуманистов представляют, однако, интерес не только с точки зрения культурно-исторического изучения эволюции форм и мотивов в связи с самой историей композиции. Знаменательно еще стремление к физическому приближению останков к останкам античности, смешению и соприкосновению с ними как священными мощами, с перенесением на языческие могилы католических культовых навыков. Первый пример такого двоеверия представил на заре гуманизма Ловато де'Ловати, который пожелал найти последний приют вблизи сакрофага обретенного им праха прародителя Антенора.

За ним следует назвать Бьяджо Пелакане (ум. 23 апреля 1416) родом из Пармы, одного из собеседников виллы дель Парадизе в садах купца Альберти (1389). Автору романа, изданному А. Н. Веселовским, — Джованни да Прато Бьяджо Пелакане в Падуге в качестве профессора натурфилософии раскрывал таинство матери-природы — «*le cose della maesta natura*»; он же в Париже со схоластами вел диспуты «*De ponderibus*»* [318. Т. 1. С. 276—282].

Устройство своей гробницы он не захотел предоставить случаю, а избрал в родном городе перед собором саркофаг, где, по общему убеждению его современников, похоронен был Макробий, чтобы разделить с ним темное и тесное ложе. Плиту увенчали статуи далекого предка и потомка.¹⁰ На этом примере любопытно проследить распространение падуанских ученых традиций, воспринятых Бьяджо на месте

* «Об основах вещей» (лат.).

и усиленных, очевидно, впечатлением от открытия там в 1413 г. мнимого праха Тита Ливия.

По примеру Ловато де'Ловати и Бьяджо Пелака-не, Помпоний Лет также готовил себе гробницу на Аппиевой дороге. Об этом говорит не только известное письмо Якопо Антикварио из Милана от 18 июля 1498 г. к Михаилу Фернус [108. Vol. 3. P. 633], но и гораздо более раннее и написанное при жизни Лета прозаико-метрическое послание Антонио Кампано из Германии от 1471 г. к Джентиле да Урбино [51], где по контрасту с окружающим его варварством он вспоминает собратьев-гуманистов, рассеянных по гра-дам Италии. Послание доказывает, что в кругах, близких к Помпонию Лету, давно говорили о том, что он достоин такой чести:

*Dignus marmoreo quem condens longa sepulchro
Appia testetur morte Quirine tuum...**

Мечта Помпония Лета сбылась только отчасти: останки его были похоронены в церкви, но зато по примеру греческих философов, о которых рассказы-вает Диоген Лаэртций, ученики Лета поставили ему на Аппиевой дороге статую и надписи. Первая [82. VI⁵ 4*] говорит, что Юлиан Чечи, брат будущего кардинала Помпонии Чечи, в честь учителя поставил «*Dianum*», т. е. статую Дианы, играя названием его родного города Диано, где наш гуманист явился на свет «новым Артемидором» (ныне надпись в Германском археологическом институте в Риме) [321. С. 126].

В. Забугин считает подлинной и вторую надпись [82. VI⁵. 3477*], поставленную от имени Марка Антонио Альтьери и Т. Сеттимулейо Кампано. В этом можно усомниться, поскольку своего ученика, Антонио Сеттимулейо Кампано, Лет проводил в могилу сам в 1467 г., а Т. Сеттимулейо Кампано среди членов Римской академии неизвестен. Пока существование последнего не будет доказано какими-нибудь новыми документами, надпись остается сомнительной.

Так, то отставая от эпитафии, то опережая ее, то в конфликте с ней, то в согласии, то более глухо, то с непосредственной интуицией, надгробный памятник при разности средств и приемов в своей символике и истории составляет с надписью одно целое «Пантеона», затмевающий соседний иконостас, вопреки каноническому праву, которое запрещало осквернять церк-

* Достойной того, чтобы длинная Аппиева дорога, храня его в мраморном саркофаге, свидетельствовала бы, что он в смерти, о Ромул, остается твоим (лат.).

ви погребениями. Одни входят в этот Пантеон и безотносительно к памятнику, прославленные своими трудами, другие, рано погибшие или развенчанные потомством, продолжают жить только в мраморе и бронзе искусства. Пластическое искусство предвосхищает при этом синтез из свода эпитафий: в законченной замкнутости и индивидуальной конкретности надгробный памятник отчетливо воплощает основные типы гуманистов как людей и разные типы их отношения к смерти, причем общей чертой со второй половины XV в. является постепенная элиминация символики христианской и замена ее символикой паганистического мира и обряда. Изучая надгробный памятник ученых и гуманистов итальянского Возрождения, мы наблюдаем разрыв с церковью в ограде церкви.

Смерть для Карло Марсуппини предстает безмятежной, преодолевается у Альберто Пио да Карпи автаркией стойка, у Ланчино Курцио — апофеозом трагичной как высшей нормой жизни, развертывается «здесь» и «там» в паганистическом ритуале на гробнице Делла Торре, у Ловато де'Ловати и Бьяджо Пелакане ищет освещения у мощей древности. При спаде в эпоху католической реакции эта волна застывает в мифологический академизм памятника Якопо Саннадзаро у преддверия неоклассического искусства.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ У F. Gregorovius'a [135] содержится текст эпитафий; «Sepulchral monuments of Italy Medieval and Renaissance» [272] осталась автору недоступной.

² G. F. Hill [143] приписывает барельеф Пизанелло, основываясь на тексте письма, которое говорит о существовании медали Джован Пьетро работы этого мастера. Но барельеф слишком бесхарактерен, чтобы зависеть в какой бы то ни было мере от Пизанелло. Надо признать правильной обычную атрибуцию Маттео Чивитале.

³ В настоящее время памятник находится в Археологическом музее в Милане. J. Burkhart [43. Bd 2. S. 527] датирует памятник 1515 г.; он также упомянут у J. A. Symonds [288. P. 159].

⁴ Частично памятник воспроизведен у E. Müntz [193. T. 2. P. 120, 346]; полностью в сопровождении описания — у F. Clugac [77. T. 1. P. 467—473; T. 1. Planches XLVIII—L].

⁵ L. Schrader [270. P. 332v] дает с ошибкой в транскрипции фамилии; надпись воспроизводится вместе с генеалогией у S. Maffei [169. T. 2. P. 284—292].

⁶ См. G. Fracastori [120], диалог: «Naugerius sive de poetica» («Наугерий, или О поэтике»), «Turrius sive de intellectione» («Туррий, или О понимании»), «Fracastorius sive de anima» («Фракасторий, или О душе»); «Consolatio in obitu M. Antonii Turriani Veronensis — ad Johannem Baptistam Turrianum Fratrem» («Утешение на смерть М. Антония Турриана — к брату

Иоанну Баттисту Турриану») изображает Марка Антония после смерти в «*aethereos semidemque domos*» — как и на памятнике.

⁷ См. G. Fracastori [120], Prefatio к «*Homocentrico*».

⁸ Ovidius, *Amores*, III, 9, 59—64; Tibullus. I. 7. 58.

⁹ Пасторальный роман «*Аркадия*» написан между 1481 и 1486 гг., издан в 1504 г.

¹⁰ Памятник описан у G. Tiraboschi [293. Т. 6. Parte I. P. 337—338]; у него же приведена эпитафия и соответственные цитаты из Чириако д'Анкона и Флавио Биондо; F. Rizzi [245] осталась автору недоступной.

Глава XII

ЭПИТАФИЯ И КРИЗИС МИРОСОЗЕРЦАНИЯ У ГУМАНИСТОВ

Н. В. Гоголь об истории Италии (повесть «Рим»). Отправной пункт исследования: эпитафия средневекового ученого. Ее элементы: элогия и страх смерти в их взаимоотношениях. Судьба тех же элементов в гуманистической эпитафии: отцепенство от аскезы; от тезы воли господней к антитезе «virtú» — фортуны; вытеснение христианских воззрений на судьбу за гробом. Апостазия гуманистов-клириков и политический цинизм гуманистов-мирян.

Эпитафия как памятник жизни и жизнеутверждения. Безмятежность смерти. Примирение с ней в кризисе. Победа над ней автаркии стойка. Лейтмотив славы. Триада славы, «studiorum humanitatis» и эпитафии. От гуманистической эпитафии к агностически научной тенденции нового времени. Следы ее идеологии в «Serpolchri» Уго Фосколо. Ее пережитки в современности: бессмертие человека в призвании и творчестве. Историческое значение культуры меньшинства.

Древность и гуманистическая эпитафия. Сопоставление с «Carmina sepulcralia latina». Мощи древности. Приближение чина смерти к античности и хронология апогея. Демаркационная линия по отношению к древности в ее философии смерти. Область запрета для гуманистов. Суть «Возрождения древности» на примере эпитафии. Разрешение вопроса о кризисе мирозерцания.

В Риме 40-х годов XIX в. Гоголя осаждали образы-гротески Николаевской крепостной России, которые составили галерею «Мертвых душ». Осознать и воспроизвести их во всей их

уродливой и жестокой самобытности он мог только временно оторвавшись от родной почвы: «отдалившись от настоящего, обратить его некоторым образом для себя в прошедшее». Путь в Россию шел через Запад, — «чтобы определить себе русскую природу, следует узнать получше природу человека вообще» [319. С. 278, 286], и Запад не современный и реальный, а Запад идеальный, в становлении и истории, в устремлениях и далеких целях. В неоконченной повести «Рим» он говорит о своем герое, вместо которого надо подставить автора: «Среди сей жизни почувствовал он, более нежели когда-либо, желание проникнуть поглубже историю Италии, доселе ему известную эпизодами, отрывками; без нее казалось ему неполно настоящее, и он жадно принялся за архивы, летописи и записки... Читая, теперь он еще более и вместе с тем беспристрастней был поражен величием и блеском минувшей эпохи Италии. Его изумляло такое быстрое разнообразное развитие человека на таком тесном углу земли, таким сильным движеньем всех сил. Он видел, как здесь кипел человек, как каждый город говорил своей речью, как у каждого города были целые томы истории, как разом возникли здесь все образы и виды гражданства и правлений» [319. С. 169—170].

Об этом «кипении» человека, к которому Гоголь, как русский приобщился в XIX в. и которое в трагических скитаниях повлекло его на склоне лет вспять, в европейскую старину, к исходу к святым местам, в Палестину, говорят внятным языком и могильные плиты тех веков, покой которых мы потревожили. В этих камнях заключена частица беспокойной жизни духа эпохи Возрождения, и поэтому стоит подарить их вниманием: история человеческой мысли всегда любопытна.

По происхождению гуманистическая эпитафия — ученый архаизм, но этот архаизм живет собственной жизнью. Это одна из готовых форм, переданных через Средние Века античностью, которые гуманизм в борьбе за новое мировоззрение до краев наполняет новыми эмоциями, антиномиями, лозунгами. Эпитафия впитывает взволнованную преданность друзей и близких, гордое самосознание вождей и наивные претензии дилетантов. На наивность, на преданность и гордость роняет свою тень смерть, и слова вырастают в выразительности и силе. Эпитафия звучит то как напутствие и вердикт современников, то как последнее слово на трибуне, которое берет себе оратор и которым надо уметь воспользоваться перед финалом, его исповедь, его завещание и его прощальный привет. Эпитафия говорит о том же, что наполняет пространные морально-философские трактаты, только без их выкладок; идейный ее диапазон очень широк и в то же время непрерывно перестраивается. Отраженное в ее зеркале, все претерпевает сдвиг: религия, философия, мораль, политика, наука и литература.

В ее историю то пассивно, то активно влетены самые боль-

шие имена итальянской литературы и гуманизма от трех флорентийских корон через Л. Валлу и Беккаделли Панормиту до Дж. Дж. Понтано и Л. Ариосто; другие неизвестные имена, вроде имен А. Чинуцци и каноника Боккаделла, она, наоборот, вновь вписывает в историю литературы и гуманизма.

Собирая в одном фокусе те разрозненные нити, которые представляют содержание предыдущих глав, мы попробуем подытожить окончательные из них выводы:

1. Отправным пунктом для нас была эпитафия средневекового ученого. В нее входят два элемента: а) элогия, признание личных заслуг; б) выражение презрения к миру, в основе которого лежит страх смерти более, чем естественный, ибо он искусственно внушается и разжигается религией. Он питается доктриной первородного греха, искупления свыше и требует практики аскезы. В средневековой эпитафии первый элемент подчиняется второму и подавляется им эмоционально и морально. Гуманистическая эпитафия сохраняет оба элемента, но судьба их различна, так же как и их взаимоотношение.

2. Шаг за шагом по гуманистической эпитафии можно следить за отщепенством от церковной доктрины. В исходный период ожидание четырех «Novissima» определяет сознание. Пляска смерти является темой эпитафии Ловато де'Ловати, Петрарка составляет эпитафию-молитву, Боккаччо исповедует веру в Верховного судию. Позднее эпитафия включает отходную на греческом языке или просьбу к путнику о молитве за помин души и просьбу об окроплении могилы святой водой: она ведет речь о принятии схимы и католической смерти по уставу «*artis bene moriendi*»: на саркофаге Бартоломео да Монтепульчано обложен в монашеский клобук, а Пьер Кандидо Дечембрио на барельефе, как искони, стоит на коленях перед Мадонной. Но фермент разложения явно или неявно, подземными ходами, уже в этот период сплошь да рядом разрушает единство и цельность догмы. Ловати освящает свою могилу близостью к останкам мнимого троянского предка; Петрарка ведет генеалогию автоэпитафии от Вергилия и фаланги римских архаических поэтов; Боккаччо перед престолом Судьи спасает *alma poesis* как дорогое призвание, Пьер Кандидо Дечембрио кичится числом своих трудов. Шатания начинаются очень рано, с самого начала эпохи.

3. Дальше следы церковной доктрины все больше и больше сходят на нет, вытесняемые другими ходами мысли. Вместо сознания греха и вины встают представления о роке, фортуне в ее различных ипостасях и о героических конфликтах с ней «*virtù*»; пессимизм аскетический вытесняется пессимизмом фаталистическим — астрологическим. Каков бы ни был исход борьбы «*virtù*» — фортуны, она исключает христианское смирение и покорность неисповедимой воле Господней, ибо рядом с этой волей и, быть может, выше ее стоящими признаются другие силы. Это

есть движение от тезы к антитезе. Господство мотива «virtù» приводит к исторической метаморфозе эпитафий епископа Пьетро делла Валле в эпитафию римского архаического поэта.

4. Отщепенство от церкви и в том, что мысль перестает непременно притягиваться к судьбе за гробом и находить ей самобытное воплощение, согласное с католической догмой и обрядностью. В самом деле, *post factum*, по завершении всего обзора нетрудно убедиться в том, что эпитафии соответствующего содержания остаются в меньшинстве, и число их тем меньше, чем дальше идет время. Количество здесь само по себе превращается в качество, говоря об изменении знака перед многочленом. Вместе с тем те немногие эпитафии, которые обращены к потустороннему миру, являют с конца XV в. следы археологического синкретизма (Ф. Феличано и Э. Каленцио), платонической окраски (Б. Платина), скепсиса, насмешки и нигилизма (А. Беккаделли, Л. Томео и Л. Ариосто) или подменяют образ Страшного Суда образом Элизиума теней поэтов и мудрецов (А. Акиллини, Я. Саннадзаро, Делла Торре).

5. Отщепенство иллюстрируется особенно выразительно рядом эпитафий гуманистов-клириков, где ничто, кроме перечисления званий, не говорит о принадлежности к церкви (Л. Валла и др.). В погоне за ученой и литературной славой все эти кардиналы, епископы и каноники как неверные рабы в одинаковой мере до гробовой доски остаются преданы мирской суете, изящному паганизму и либертинизму (Г. Альтилио, А. Авгурелли). Публичность этой апостазии, ее бесповоротность, ее место, сугубо, казалось бы, святое для людей церкви, делает эти эпитафии особо показательными. Совершенно понятно, что в период, последующий за Тридентским собором, после полустительства, католическая церковь рьяно уничтожала и убирала надписи и памятники компрометирующего содержания, преследуя самую память о них.

6. Тот же идеологический распад, идущий параллельно разложению феодально-коммунального общества и утрате гуманистами-мирянами социальных корней, сказывается в росте их политического безразличия, по мере того как в поисках достойного досуга в придворном обществе новых синьоров «*grip-sioi piuvi*» они превращаются в их слуг, подданных и клиентов. Культура и гражданственность эпохи Возрождения антиномичны. Идеальное отечество гуманистами проецируется в прошлое, в древнюю римскую державу, с которой они притязают быть связанными преемством крови (М. Хризолор, М. Марулло).

Такова характеристика надгробий с уклоном в сторону отрицания и распада. Но отрицанию и распаду можно противополжить положительные элементы нового мироощущения.

Эти памятники смерти являются памятниками жизни и жизнеутверждения, потому что у большинства ударение стоит на жизни, а не на смерти, и жизнь на разных путях побеждает в

них супостата-смерть: «И я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали...»¹

7. Жизнь побеждает смерть, так как ее образ, лишившись жала греха, перестает быть страшным. Смерть для Леонико Томео становится сном без страха и надежды. По желанию Яна Паннония, его должен принять идиллический приют под зеленым дерном, при сладком пении птиц и хороводах дриад. Так же безмятежно тиха смерть в восприятии ваятеля в памятнике Карло Марсуппини, украшенного гирляндами цветов и жизне-радостными детьми. Ростки молодой травы и дети — это утверждение круговорота вечной жизни над гробом, мотив, который получает классическое выражение в элегии беспутного Франческо Мария Мольца (ум. 1544), что видит себя в будущем в виде дерева, выросшего из его урны и шумящего листвою над пляшущей пастушкой:

Forsitan in putrem longo post tempore glebam
Vertar et haec flores induet urna novos;
Populus aut potius abruptis artubus alba
Formosa exsurgam conspicienda comâ.
Scilicet huc diti pecoris comitata magistro
Conveniet festo pulchra puella die;
Quae molles ductet choreas et veste recinctâ
Ad certos nôret membra movere modos.

Быть может, давно истлев, обращусь я в землю,
и эта урна оденется новыми цветами.
Прекрасным тополем с обрубленными ветвями
я поднимусь вершиной, которая будет глядеть вниз.
Сюда в праздничный день
в сопровождении пастуха богатого стада
явится прекрасная дева,
что будет под песню вести хоровод
и, распустив пояс, в такт плясать [95. Pars 2. P. 56—59;

288. Vol. 2. P. 489].

8. Красота в природе и красота в искусстве скрывают смерть и примиряют с ней. Слово, облеченное в размер, так же как линии и формы, заключенные в пропорции, торжествует над разрушением и уничтожением, ставя ему предел, трагическое искусство дарует нетленную жизнь в вечности:

Corpora labuntur gelido mortalia fato,
Carmina per nullos sunt obitura dies.

Покорные судьбе, смертные тела истлеют —
Стихи же будут жить во все дни [16. P. 105—106. N IX—X].²

Норма граций, определившая как верховное начало жизнь Ланчино Курцио, остается незыблема и в смерти.

9. Власть над аффектами делает мудреца господином жизни и смерти. Мера в морали есть тоже своеобразный вид эстетического начала, которое должно главенствовать как высший закон. Она признана уже Альбертино Муссато, находит широкое распространение в каноне консоляций и требует мужественного

достоинства сдержанной разумом скорби, безропотного приятия неизбежного. Автаркия стойка и мера в наслаждении определяют самоутверждение Агостино Маффеи в греческих словах надписи и создают строгий в глубоком раздумии над тайной бытия образ Альберто Пио да Карпи, довлеющего себе в поставленных им самому себе пределах.

10. Все эти мотивы: безмятежность смерти и норма граций, и автаркия стойка, подчиняются одному лейтмотиву и сливаются в нем: это мотив славы. Утверждается бесповоротно элемент элогии, столь скромный в средневековой эпитафии. Бессмертие на земле — в антитезе Овидия — мыслится рядом с бессмертием в селениях праведных. Это первый этап, а дальше первое бессмертие вытесняет мысль о втором, обесцененном первым. Со славой перестает соперничать что-либо. Она ревнива, не терпит рядом с собой ничего, что принижало бы ее, желает всем быть обязана только себе, тогда как христианское бессмертие пятнает ее грехом и необходимым его искуплением. Автаркия стойка — один из путей к ней и поэтому вливается в нее. Искусство слова, так же как искусство линий и форм, служит ее увековечению и поэтому тоже склоняется перед ней. В помыслах о славе тонет и скорбь, умолкает плач. Окрыленная Слава с литаврами побеждает Смерть с большой буквы в «Триумфах» Петрарки, и этот символ венчает гробницу Делла Торре. Неувядаемая слава — это торжество «virtù» — человеческого гения, его «кипения», его жизненного подвига.

Этот жизненный подвиг в данном случае в исканиях, идущих через древность к человеку и космосу, и в творчестве, расширяющих пределы того и другого. Предмет этих исканий беспокойного духа, где фокус один, становится центром сознания, представляет высшую ценность для себя и для других: он заставляет Сиджизмондо Малатеста вывезти останки Гемиста Плетона из Пелопоннеса и вдохновляет «ars moriendi» Джован Батисту делла Торре, последняя мысль которого обращена к законам мироздания, ждущим открытия. Эта высшая ценность составляет преимущественное содержание эпитафии: как ученая форма в своей учености последняя служит для вмещения содержания этой текучей человечности в ее становлении и в поисках нового мировоззрения во всей его пестроте. В тесной связи учености и человечности эпитафия расширяет и углубляет наше представление о гуманизме. Она отмечает шаг за шагом его успехи и черпает в сокровищнице открываемых и отрываемых знаний, чтобы осмыслить отношение человека к миру, жизни и смерти. Она же должна сохранить всем этим непреходящий его след: так слава «studia humanitatis» и эпитафия превращаются в неразрывные звенья одной цепи.

Что осталось и что исчезло от этого строя мыслей?

История позднее произвела строгий персональный отбор тех, имена которых Слава на самом деле разнесла во все края

и твердит снова каждому времени и каждому поколению. Остальные продолжают жить в ограниченном кругу ученого любопытства. Ибо в отношении первых строй мыслей, выкристаллизованных в гуманистической эпитафии, сохранился в силе на итальянской почве и не потерял с течением времени своей суггестивности. Об этом свидетельствует поздний — через века — отклик Уго Фосколо: они внушены гробницами великих итальянцев Макьявелли, Микеланджело и Галилея во флорентийской Санта Кроче.

A egregie cose il forte animo accendono
l'urne de 'forti, o Pindemonte; e bella
e santa fanno al peregrino la terra,
che le ricette. . .

К подвигам сильный дух зажигают
урны великих людей, о Пиндемонте, и они же
делают путнику прекрасной и священной землю,
что приняла их прах. . .

Образы прошлого действенны: волновали же людей Великой Французской революции герои Плутарха. Так точно физическая и духовная энергия, что конденсирована в памятниках Санта Кроче, поднимает из закоснения и упадка героическим призывом, внятным поэту безвременья, и тот взывает потому к памяти марафонских бойцов; поздние потомки слышали, как по ночам возобновлялась на старом месте битва похороненных там афинян с персами. Насыщенность античными образами также соединяет Фосколо духовным током с гуманизмом, как и культ праха великих людей. В этом смысле весь круг гуманистической эпитафии есть предтеча «Sepolcrgi». Но глубокое различие социально-политической обстановки XV—XVI вв. и начала XIX в. создает и коренное между ними различие. Духовный подвиг эпохи гуманизма чужд гражданственности; наоборот, Фосколо через головы людей Возрождения обращается к периоду национальных греческих войн как прообразу для родины.

«Sepolcrgi»* Уго Фосколо настроены на высокий лад. Нострой мысли гуманистической эпитафии оставил следы и в сфере, более общей, с кругом более широкого действия. Мы проникнем в этот круг, если вернемся к некоторым исходным нашим методологическим предпосылкам.

Надо оговориться, что по сути вещей эпитафии дают рефлексию смерти, а не ее переживание, причем рефлексия индивидуально отражает складывающуюся, разлагающуюся и обновляющуюся норму; образ смерти предстает поэтому в ретуши, без крайних граней или в сильном их смягчении. Колебания, острые коллизии и мучительные пароксизмы раскаяния перед

* «Гробницы» (лат.).

головокружительной бездной в них отражается только диссонансом более или менее скрытых противоречий. Действительность записей, писем и биографий была ярче, пестрее и острее их яркости, пестроты и остроты. Действительность эта была более жестка, драматична и более захватывала. Если смотреть назад, то победа человека Возрождения над страхом смерти, иногда, как у Помпонацци, бывала более решительна, чем об этом смела сказать эпитафия; наоборот, не раз поле битвы, как у Лоренцо де'Медичи, который в слезах полз на коленях навстречу последнему причастию, оставалось за наваждениями этого страха.³ Эпитафии, можно сказать, относятся к действительности. Так, портрет эпохи Высокого Возрождения относился к людям: в изображение как образующий принцип стиля приходила норма классического в смысле Вельфлина искусства. Таким образом, надо помнить, что наш материал замкнут в определенные рамки, и выводы справедливы в их пределах. Но ограниченное относится не только к категории материалов, но и к разряду лиц. Наши выводы распространяются отнюдь не на многих, а на образованное меньшинство, которое владело сперва одним, а потом двумя древними языками, и тех, кто входил с ними на равных правах в непосредственное соприкосновение. Это культура передовой умственной аристократии, группы незамкнутой, но ограниченной.

Историческое значение этой культуры в ее борьбе за жизнь против страха смерти, более чем естественного, в том, что ей принадлежит широкий плацдарм будущего, и через длинный ряд звеньев она доходит до наших дней. Гуманисты перебрасывают мост к нам. Их заслуга прежде всего в их отрицательной установке: в изжитии аскезы. В данной связи аскеза на отправном этапе имела форму «*meditationis mortis*», которая делала жизнь «здесь» бесплодной в силу намеренного сосредоточения мысли на ее продолжении «там»; эта аскеза, в свою очередь, питала все другие формы «умерщвления плоти» и убийства духа. Враг был силен, и после гуманистов понадобилось еще немало Вольтерова яда и пропаганды энциклопедистов, чтобы оседлать его, но честь застрельщиков остается за гуманистами. Поскольку «*meditatio mortis*» исчерпывает себя для них до дна, и ее кошмар преодолевается, имеет место освобождение скованной энергии, которая направляется на жизнь. Эта новая тенденция представляет переходную ступень к агностической тенденции нового времени, которое тайну смерти перестает населять вымыслами и почтительно отступает перед ней, предоставляя размышлять о ней по существу художнику и философу, а ученому в постановке утилитарной проблемы продления жизни — изучать ее во след Мечникову в ее физико-химических и физиологических процессах. В остальном человечеству эпохи империализма и неслыханной бойни достаточно

сейчас забот на земле, которую оно не умеет поделить и устроить.

Не менее, если не более, важна у гуманистов установка положительная, те клинья, которыми аскеза была выбита. Отчасти заимствованные из арсенала древности — об этом речь ниже — они, как несовершенные еще орудия, носят печать своей эпохи, но по своему назначению и по принципу они сохранили свой смысл. Особенно это относится к бессмертию на земле, которое сменяет и заменяет бессмертие на небе, ибо есть продолжение жизни человека в его призвании, в его творчестве, в деле, которое он признал выше себя. «*Merita laborem*»* оправдывают уже жизнь Боккаччо; позднейшие гуманисты выносят эти труды не на Суд Божий, а на суд человеческий. Это и есть создание гуманистической мысли, новая ее тенденция, которая связана с его высокой оценкой человека-Демиурга и его возможностей. Наше время сильно сузило эти масштабы и мыслит о человеке скромнее, но при изменении масштаба и измененных объектах призвания и творчества видит перед собой — если оно только не впадает в безнадежный цинический нигилизм — бессмертие только на земле, хотя бы и в крупице и лишенным блеска. Здесь мы подаем руку гуманистам, как их далекие сыны и потомки.

Отправным пунктом для нашей темы были «*scrimina sepulcralia latina*»** и судьбы латинской эпиграфики. По мере того как развертывалось постепенно исследование, оно все снова и снова так или иначе возвращалось к древности. Подводя здесь итоги, надо с ней размежеваться и дать себе отчет, чем ей обязана гуманистическая эпитафия.

Начнем с сопоставления нашего свода с «*scrimina sepulcralia latina*», чтобы установить точки соприкосновения и различия характерности использованного материала. Ф. Бюхелер собрал около двух тысяч текстов, но они занимают во времени около семи столетий и разбросаны по всему пространству римского «*orbis terrarum*». Обычно они относятся к людям, от которых не сохранилось ничего, кроме надписи. Мастерство этой сепулькральной римской поэзии стоит невысоко по сравнению с классическими поэтами, которых она щедро использует (тот же Бюхелер дал большой список заимствований). Р. Канья высказал в этой связи гипотезу о ремесленном ее происхождении по заказу от профессиональных нищих поэтов-риторов по сборникам резчиков. Э. Галлетье подчеркнул в ней обилие темных и неудачных выражений, дурной вкус, ошибки в просодии, но отверг гипотезу Канья — для этого «*scrimina*» представляют недостаточно повторений и слишком непосредственны и искренни — это искусство не ремесла, а широкой массы; по социаль-

* Заслуги трудов (лат.).

** Латинские стихотворные погребальные надписи (лат.).

ному признаку они относятся в большинстве к демосу, а не верхам.⁴ Наоборот, гуманисты эту поэзию из народной делают ученой. Рядом с «сагтіпа» наш материал — не только исключительно поэтический — едва достигает двух сотен, но зато гуманистические тексты концентрированы во времени и пространстве; кроме того, они замкнуты в определенном социально-культурном слое, относятся, вообще говоря, к лицам, хорошо известным, и поэтому могут быть восприняты в перспективном углублении биографических и культурно-исторических данных. Численная недостача компенсируется этим преимуществом именных текстов, которое дает возможность поставить исследование на рельсы специальной темы по истории гуманизма.

Эпитафия, данная как форма античностью, до порога изучаемой нами эпохи доходит в виде писем на готической гробнице схоласта и прodelьывает отсюда обратный путь к античному канону от альфы до омеги в своем генезисе, своих разновидностях, в своей поэтике и эпитафической технике. Водораздел между эпитафией античной и эпитафией гуманистической, казалось, иногда стирался хотя бы в восприятии своей, еще недостаточно критической эпохи — об этом говорят судьбы надписей епископа Пьетро делла Валле и Феличе Феличано Антикварио.

Эта тяга к древности не остается на поверхности; она глубже и проникновеннее; она хочет устранить все преграды между собой и ею, установить с ней преемственность крови (Хризолор, Марулло) и в недрах земли смешаться с ней прахом, прикоснуться к ее святым мощам и их благодати (Ловато де' Ловати, Бьяджо Пелакане).

Если священным становится место античных погребений, а не могилы христианских мучеников, если открытие трупа прекрасной молодой римлянки (19 апреля 1485) вызывает такое возбуждение и паломничество, что духовенство спешит его убрать [315. Т. 1. Ч. 3. Гл. 2; 4. L. 3], то и чин смерти должен приблизиться к античности. И, действительно, гуманисты гораздо раньше Готтхольда Эфраима Лессинга стремились постигнуть «Wie die Alten den Tod gesehen»,* и также для этого углублялись в созерцание памятников, чтение эпитафав, философов и поэтов; только в противоположность германскому археологу и мыслителю они это делали не с целью писания ученой диссертации, а чтобы найти моральную опору для себя в поисках смерти, достойной жизни. Хронологически апогей в смысле близости к древности достигается в промежуток между восьмидесятыми годами XV в. и тридцатыми годами века следующего. На гранях, близких к периоду Высокого Возрождения в изобразительном искусстве, мы видим Феличе Феличано и Бартоломео Платину, с одной стороны, Агостино Маф-

* Как древние воспринимали смерть (нем.).

феи и Леонико Томео — с другой. Как античные философы гуманисты заботятся в завещании о своей школе, похоронный обряд сопровождается коронацией, речью «*in funere*»,* жалобными песнями поэтов, поминки — чтением после мессы классических элегий с амвона; по отношению к лишенным честного погребения трижды призываются по античному ритуалу маны; консоляции по Цицерону и Сенеке, в стихах и прозе, адресованные близким, утешают их в потере. Надгробный памятник воспроизводит символику языческого мифа и обряда, а эпитафия с сакраментальными литерами D M S заимствует не только поэтику и технику эпиграфики, она проникается духом античной философии, и над могилами возобновляется спор Платон, Эпикур и стоики. Но каковы бы ни были их разногласия, философы одинаково показывают в противопоставлении фронта античного — фронту христианскому идеал смерти мудрой и полной самообладания, безмятежной, примиренной и преображенной искусством. Эта смерть под знаком «*moderato*»** гармонирует с величавым, полным непринужденности спокойствием того поколения сверхчеловеков, которое создается не столько в мраморе и бронзе, сколько в новоявленном могуществе красок и светотени той же эпохи.

Да, все пути античной мысли пробегаются вновь, все эти символические образы и формы древности в процессе длительного осмоса оживают. И они же фокусируются в гуманизме с его жизненной задачей проникновения в древность, о которой говорит едва ли не каждая эпитафия.

В усвоении готовых форм пафоса есть исторический факт (А. Варбург), который можно изучать и на истории этого вида источников. Но эта же история показывает, как долго и упорно преклонению перед древностью сопротивлялась христианская традиция и как часто равнодействующая проходила по линии синкретизма, который вносил новую напряженность и драматизм. Прежде чем гуманист и художник Возрождения приходили к образу мудрой и ласковой смерти, им надо было отвернуться от страдальческого образа Голгофы, который владел их отцами и отцами отцов.

Но отвернуться — не значит забыть, а возрождение древности — не значит ее повторение, ее слепок. Чтобы в отношении эпитафии провести демаркационную линию, достаточно сопоставить «*carmina sepulcralia latina*» en bloc с гуманистическими текстами по содержанию в их переживании смерти. Римлянам — хотя они, можно сказать, первые встречные — свойственна та свобода и непосредственность в выражении эмоций и мыслей, в которой за ними смеют следовать гуманисты, хотя это соль земли. У римлян на этой ниве смерти вы не без удивления

* При погребении (лат.).

** Умеренно (ит.).

встречаете в зародыше в стоической и цинической мудрости уже весь средневековый аскетизм без его догматического оформления — отвращение к телу как к темнице души. В свое время это было отмечено в эпитафии Ловато де'Ловати. Вы встретите у них также нередко надежду на новую встречу за гробом и мудрую покорность велению природы с целым роем прекрасных образов и соответственных аргументов, из которых черпают, между прочим, если не непосредственно, то восходя к тем же источникам, как аскеты, так и гуманисты. Такая покорность, далее, может фигурировать и без надежды на бессмертие, как у Лукреция. Это все еще средний регистр. Но римляне идут дальше: им ничто не мешает шутить и острить над могилой: в пессимизме они выражают желание лучше не родиться, в дерзком вызове они не только упрекают богов за жестокость, но поносят и хулят смерть: в неверии они открыто, как басню, отрицают Гадес; в цинизме они показывают на скелет для призыва к наслаждению вином и женщинами [162. § 34; 38. § 46; 66. № 1108]. Все это области «табу» для гуманистов, куда они, как ученики, не разрешают себе проникнуть, ибо они вкусили от древа познания добра и зла и не могут уже быть наивными. Такое сопоставление помогает нам восстановить на примере возрождения одной из античных форм суть «Возрождения древности». На примере эпитафии, ассоциированной как античная форма, как произведение искусства и как продукт сознания, с целым комплексом этических и религиозно-философских идей первостепенной важности и в непрерывном сопоставлении ее с первообразом, можно видеть постепенное освобождение человека от обручей, которыми скована была его пленная мысль и воля в Средние Века, выработку новых энергетических и эстетических норм жизни и смерти и радостное возвращение его к природе и к себе в автономной человечности, явленной ему античностью. «Возрождение древности» оказывается перевалом и хребтом в истории моральных идей как стимула поведения. Можно видеть также, что мера этой свободы, философской смелости и независимости мысли и в период зенита и максимальной терпимости, т. е. во вторую половину XV в., примерно до «Sacco di Roma», остается до некоторой степени, хотя бы официально в смысле возможности публичного высказывания, ограничена неписаным, но реально существовавшим кодексом цензуры.

Надо еще оговориться, что такая интерпретация «Возрождения древности» оставляет открытым вопрос о его генезисе — она рассматривает процесс прививки в его развитии и завершении. Не потому, конечно, гуманисты появились на свет, что увидели древность, античные надгробные памятники и начертанные на них надписи. Чтобы они могли увидеть их так, как они их увидели, они должны были многое увидеть раньше, многое сравнить, во многом усомниться; их сознание должно

было быть затронуто предшествующими властными социально-экономическими и политическими импульсами. Корни и начала гуманизма, находящиеся вне хронологического поля нашего зрения и нашей специальной темы, повторим снова, — в дифференциации общества, в смещении и громадном расширении кругозора, в том калейдоскопе пестрых и сменяющих друг друга политических и социальных форм, какие, словно для целей сознательного эксперимента, представлял Апеннинский полуостров тех веков.

Однако, как ни самобытны были корни, по мере того как древность входила в поле зрения гуманистов, она раскрывалась и влияла сама по себе через литературные формы, философские доктрины и археологические следы как реальный фактор воздействия. При этом известно, что самая древность в разные последовательные моменты гуманизма являлась в разных ипостасях, начиная с богословско-мистической ипостаси «*almae poesis*» Боккаччо.

Еще в конце XV в. можно было в нишах Комского собора, как святых отцов и пенатов, без всякого намеренного кощунства посадить Плиниев в мантиях схоластов.

Формула «Возрождения древности», к которой нас привели судьбы и проблематика гуманистической эпитафии, отвечает, таким образом, как и каждая из предыдущих глав в отдельности, положительно на вопрос о кризисе мирозерцания, поставленный нами в начале исследования. На одной из воскрешенных гуманизмом античных форм пафоса этот гуманизм в лице, обращенном как обратно, к древности, так и вперед, к новому времени, — открылся перед нами не как рождение классической филологии, а как «кипение человека» в рецепции классического наследия и борьбе за освобождение мысли и воли на путях к нормам новой человечности, которая и на гробовой доске ратует за право жизни против смерти.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Апок., 21.1.

² Дистих повторяется в двух эпитафиях: *Sigismundi Pandulphi Malatestae in Meliadicem Estensem* и *d. Justi de Valmontone de Comitibus utriusque iuris doctoris*.

³ Письмо Анджело Полициано к Якопо Антикваро от 16 мая 1492; Письмо Карло дель Бенино к Пьетро Гвиччардини от 13 апреля 1492 г. см. у R. Ridolfi [244].

⁴ Того же мнения придерживается A. Amante [5].

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОПЫТ БИБЛИОГРАФИИ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ЭПИТАФИИ

В этом разделе приложений дана библиография каждой эпитафии в отдельности. Сведения приведены в следующем порядке: дата надписи (при несовпадении ее с датой смерти последняя приведена в скобках), имя, местонахождение надписи (город, церковь), имя автора эпитафии, incipit метрической надписи и ее заключительное слово; сокращенно указано, является ли данная надпись метрической. — *Metr.*, метрико-прозанческой — *Metr.-p.* (причем, чтобы быть отмеченной, надпись должна иметь не только даты и имена) или прозанческой — *P.* Затем дан перечень источников (не претендующий на полноту), в скобках указан номер источника в общем списке библиографии, том, если таковой имеется, и страницы. В самом конце, в случае необходимости, даны примечания.

IX в. **С. Донато, епископ Фьезоланский** (*S. Donato, vescovo da Fiesolo*), Фьезоло, собор.

Hic ego Donatus scotorum sanguine natus... sua.

Metr.: 298. Vol. 3. Col. 213.

около 970 г. **Стефано да Новара** (*Stefano da Novara*).

Novariae natus, Papiae moenibus altus... viros.

Metr.: 249. Vol. 1. P. 212.¹

1095 г. **Гвидо, каноник Миланский** (*Guido canonico da Milano*).

Leto Widonis moriuntur dicta Platonis... superno.

Metr.: 103. S. 181; 134. Vol. 2. P. 171—172; 249. Vol. 1. P. 232—233.

1153 г. **Гвидо да Пиза, канцлер** (*Guido da Pisa Cancellario*), Рим, С. Косма и С. Дамиани,

Sedis Apostolicae Guido Cancellarius... deus.

Metr.: 270. P. 127^v; 67. P. 11; 3. II. 197—198; 151. P. 101; 118. T. 4. P. 64. N 147.

1194 (1193?) г., 30 октября. **Джованни Боргондио да Пиза** (Giovanni Borgondio da Pisa).

Quis, qualis, quantus jacet hic in marmore clausus...receptum.

Метр.: 270. P. 90^v; 109. Vol. 1. P. 36; 108. Т. 1. P. 304—305; 249. Vol. 2. P. 95); 39; 141. P. 151, 206—209; 261. Vol. 2. Part 1. P. 348; 222.

1197 г.

Джованни Бозиано или Базано да Кремона (Giovanni, Bosiano o Basiano da Cremona), Болонья, С. Пьетро.

Hoc tumulata jacent Basiani membra lapillo... turmis.

Метр.: 270. P. 54^v; 67. P. 241—242; 286. P. 248—249; 179. Vol. 2. Parte 3. P. 1836.

1265 г.

Одофредо (Odofredo), Болонья, С. Франческо.

Clauditur hic mundi sensus iurisque profundi... decembris.

Метр.: 270. P. 59^v; 3. III_{IV}. 281; 111. Т. 6. P. 168.

1276 г. 2 февраля.

Роландино да Падова (Rolandino da Padova), Падуя, С. Даниэле.

Grammaticae doctor simul artis Rhetoricorum... spiritus.

Метр.: 270. P. 27^v; 266. Col. 262; 255. P. 452—453. N 2; 239. Т. 8. Col. 155.

1307 г.

Боветтино да Мантова (Bovettino da Mantova), Падуя, собор.

Mantua me genuit, Patavis Bovetinus et orbi... precatur.

Метр.: 270. P. 4; 3. III_{IV}. 291.

1309 г. 7 марта, автоэпитафия.

Лупато де'Лупати (Ловато де'Ловати) (Lupato de'Lupati — Lovato de' Lovati), Падуя, С. Лоренцо.

Mors, mortis morti, mortem si morte dedisset... Lupi.

Метр.-пг.: 270. P. 25^v; 266. Col. 263; 67. P. 195; 286. P. 305 (с ошибкой); 3. III_{VI}. 362; 154. P. 157; 40. P. 459. (без имени и места).

1318 г.

Мондино де Луцци (Mondino de Luzzi), Болонья, С. Витоле.

Gloria naturae medica virtute Leuci... habenis.

Метр.: 270. P. 69^v.

1329 г.

Феррето деи Феррети (Ferreto dei Ferreti), Виченца, С. Лоренцо.

Hic situs est clara Ferretus origine Vates... lapis.

Метр.: 270. P. 325; 67. P. 326; 3. III_{VI}. 386—387; 265. P. 182—183; 239. Т. 9. Col. 1195; 169. Т. 2. P. 66; 209. P. 146; 159. S. 4; 75. P. 57; 74.

Чиполла (74—75) доказал, что первоначальный текст включал 6 строк; в 1642 г. прибавлены были при втором перенесении праха последние две строки.

1329 г. **Альбертино Муссато** (Albertino Mussato), автор — Гвиццардо да Болонья, Падуа, С. Джустина.

Conditæ Trojugenis post diruta Pergama tellus... malis.

Метр.: 270. P. 17^v; 266. Col. 261; 255. P. 434. N 38; 204. P. 7. — Установлено, что автором текста был Гвиццардо да Болонья, современник Альбертино, который им украсил свой комментарий к «Есцеринис».

1346—1347 г. (ум. 1321) **Данте Алигьери** (Dante Alighieri), автор — Барнардо да Каначо, Равенна, С. Франческо.

Jura Monarchiæ... Florentia mater amoris.

Метр.: 286. P. 138; 3. III^v. 362; 41. P. 43; 154. P. 160; 92. Т. 1. P. 269—272. библиогр.

Эпитафия с конца XIV в. ошибочно приписывалась самому поэту.

1348 г. **Франческо да Барберино** (Francesco da Barberino), Флоренция, Санта Кроче.

Inclÿta plange tuos lachrymis Florentia cives... trecentis.

Метр.: 298. Vol. 3. Col. 158; 304. Vol. 2. P. 445¹.

1355 г. **Якопо Донди дель Ороложиио** (Jacopo Dondi dell'Orologio), Падуа, собор.

Ortus eram Patavi Jacobus terræque rependo... precare.

Метр.: 270. P. 6; 266. Col. 233; 3. III^v. 339; 255. P. 26. N 136.

1361 г. **Пьетро Алигьери** (Pietro Alighieri), Тревизо, С. Катарина.

Clauditur hic Petrus tumulatus corpore tetrus... cive.

Метр.: 229. P. 144; 40. P. 375, 418.

1362 г. **Гвидо да Баньоло** (Guido da Bagnolo), Венеция, Фари.

Physicus hic regis Cypri regniq[ue] salubre... sedebit.

Метр.: 179. Vol. 2. Parte 1. P. 64; 163.

1365 г. **Паоло де'Дагомари** (Paolo de'Dagomari), Флоренция, С. Тринита.

Qui numeros omnes terræque marisque profundi... Olympus.

Метр.: 304. P. 449²; 242. Т. 3. P. 167.

1374 г. 18 июля, автоэпитафия. **Франческо Петрарка** (Francesco Petrarca), Арква, С. Франческо.

Frigida Francisci tegit hic lapis ossa Petrarcae... in arce.

Метр. - р.: 231. P. 138; 149; 67. P. 220; 3. III_{VI}. 365—365; 154. P. 195; библиогр.: 203. Об авторстве Петрарки: 119. II. P. 349. *Nota*; 71. P. CLXXV⁹⁸.

1375 г. 21 декабря, автоэпитафия. **Джованни Боккаччо** (Giovanni Boccaccio), Чертальдо, церковь С. Якопо и С. Филиппо.

На гробнице — три надписи. Первая — автоэпитафия:

Haec sub mole iacent cineres et ossa Ioannis... poesis.

Затем — добавление Колюччо Салютати:

Inclite cur vates humili sermone locutus... silebit.

Наконец, следует прозаическая надпись подесты Латтанцио Тедальдо, добавленная в 1503 г. при реконструкции.

Метр. - р.: 149; 270. P. 83^v (только автоэпитафия и отнесенная к Флоренции); 286. P. 244 (по L. Schrader'у); 3. III_{VI}. 375; 154. P. 281; все три надписи: 179. Vol. 2. Parte 3; 317. T. 2. C. 14.

1383 г. 16 февраля. **Джованни да Леньяно** (Giovanni da Legnano), Болонья, С. Доменико.

Frigida mirifici tenet hic lapis ossa Ioannis... jacet.

Метр.: 3. III_{IV}. 269; 111. T. 5. P. 37.

1384 г. 27 сентября. **Джованни Донди дель Оролоджо** (Giovanni Dondi dell'Orologio), Падуя, собор.

Tumbica sic celsum conclusit petra Ioannem... scandens.

Метр.: 270. P. 6^v; 266. Col. 234; 255. P. 26—27. N 137.

1390 г. 11 августа, автоэпитафия. **Ломбардо да Серико** (Lombardo da Serico), Падуя, С. Лука.

O Regina lucis almae siderum... extremum.

Метр. - р.: 270. P. 24^v; 266. Col. 265; 255. P. 134. N 30.

1394 г. **Луиджи Марсили** (Luigi Marsili), Флоренция, собор.

Р.: 270. P. 80^v (под именем Luisii Rhetori); 242. T. 6. P. 125—126.

1400 г. **Бальдо Убальдини** (Baldo Ubaldini), Павия, С. Франческо.

Vita, labor, studium, divini cultus amoris... arce.

Метр. - р.: 149; 270. P. 356; 286. P. 181. 67. P. 291; 3. III_{IV}. 265; 179. Vol. 2. Parte 1. P. 152.

1402 г. **Марсилио Санкта София** (Marsilio Sancta Sophia), Падуя, С. Франческо.

Vivat et aeternum vitae jam munere functus... occubuit.

Метр.: 270. P. 58; 266. Col. 230; 286. P. 254; 40. P. 159.

1402 г.,
автоэпитафия.

Джованни Квадрарио да Сульмона (Giovanni
Quadrario da Sulmona), Рим, С. Мария ин Капи-
толио.

Hic sua Quadratus reliquit membra Ioannes... poesis.

Метр.: 270. P. 149^v; 217.

1406 г.

Колюччо Салютати (Coluccio Salutati).

Exprimit Herculeos Coluccius iste labores... Lusci.

Метр.: 304. P. 429²; 242. Т. 2. P. 43.

Эпитафия известна по кодексу Riccardian'ы; гробница не сохранилась; Колюччо готовил ее себе в С. Ромоло, по постановлению Республики должен был быть похоронен в соборе. Состоялось ли перенесение, неизвестно.

1408 г.

Антонио Бутрио (Antonio Butrio), Болонья,
С. Микеле ин Боско.

Qui legum ante alios interpretes vixit acutus... colit.

Метр.: 179. Vol. 2. Parte 4. P. 2269; 111. Т. 2. P. 363.

1415 г. 15 апреля.

Мануил Хризолор (Manuel Crisolor), Констанца,
капелла доминиканского монастыря.

Рг.: 84. P. 500; 286. P. 389; 3. III^v. 391—392; 154. P. 537—538); 140. Т. 1. Prolegomena. 10—11; 168. Т. 1. Pars 1. P. 181; 50. Т. 25. P. 318; 144. P. 56; критический текст по надписи: 161. P. XXIX.

Прозаическая надпись на своде капеллы, современная смерти, составлена Пьетро Паоло Верджеро Старшим. В XVI в. существовала и надпись метрическая, которая приписывалась Энею Сильвию Пикколомини; если она принадлежала последнему, то могла быть составлена только значительно позднее.

1416 г. 23 апреля.

Бьяджо Пелакане (Biagio Pelacane), Парма,
собор.

Inclita lux illustre jubar celeste Sophye... filii ejus.

Метр.: 270. P. 395^v (с неверной транскрипцией имени «Ulasius Pelasanus»); 293. Т. 6. Parte 1. P. 337—338; 245.

1418 г. 17 августа.

Лодовико Кортузио (Lodovico Cortusio), Падуя,
С. София.

Astra Ludovicus scandens hoc marmore clausum... praces pie.

Метр.: 266. Col. 196—197; 255. P. 275. N 23.

1427 г. 25 апреля,
автоэпитафия.

Уберто Дечембрио (Uberto Decembrio), Милан,
собор.

Sorte necis pariter stratis cum corpore membris... coelo (кончается молитвой на греческом языке).

Метр. - рг.: 8. Т. 2. Col. 2107—2108.

около 1430 (ум. 1381) г. **Лапо да Кастильонкио Старший** (Lapo da Castiglionchio sen.), автор — Лапо да Кастильонкио Младший, Флоренция, Санта Кроче.

Si tibi, quos patria est virtus Lapo maxima fascies... nepos.

Метр.: 67. P. 148 (без приведения имени); 229. P. 105; 242. Т. 1. P. 89.

Лапо да Кастильонкио умер и похоронен был в Риме в 1380 г.; в Санта Кроче — кенотаф, составленный внуком.

1433 г. **Бартоломео Капра да Кремона** (Bartolomeo Capra da Cremona), автор — Маффео Веджо, Базель, собор.

Quem legis insubris praesul clarissimus urbis... coluit.

Метр.: 8. Т. 1. Col. 285—286; 201. P. 380¹.

Обе эпитафии, одна в 8 дистихов — начало приведено, другая — в 9: Fecerat extinetas iterum... воспроизводились много раз кремонскими и миланскими учеными с теми же ошибками.

О существовании плиты ныне: 284. P. 386 (дает fac-simile надписи. Видно, что была вырезана только часть первой эпитафии — 4-й дистих и, быть может, 1-й, не без вариантов).

1436 г., **Косма Раймонди** (Cosma Raimondi). автоэпитафия.

Quem Maro, quem Cicero vatunque exercitum omnis... iaces.

Текст входит в состав элегии автора.

Метр.: 180.

1438 г. **Боккападула** (Voccapadula), Рим, С. Мария ин Ара Чели.

Quem tu Roma potens, quem Voccapadula fovebas... poli.

Метр.: 118. Т. 1. P. 135. N 493.

1439 г. 11 июля. **Лодовико Романо да Сполето**, по прозвищу Понтано (Lodovico Pontano), автор — Эней Сильвий Пикколомини, Базель, собор.

Si mille aut totidem rapuisses usque virorum... fuit.

Метр.-пр.: 286. P. 370—371; 3. III_v. 270—271; 215. P. 193; сокращенно и с ошибками: 85. P. 673; последние 6 дистихов: 22. S. 16. N 33; 110.

1444 г. **Леонардо Бруни Аретино** (Leonardo Bruni Arentino), автор — Карло Марсуппини (?), Флоренция, Санта Кроче.

Postquam Leonardo e vita emigravit... non potuisse.

Метр.: 149; 270. P. 84; 67. P. 150 (без имени); 286. P. 245; 3 III_{vi}. 387; Т. 1. Pars I. P. 165; 242. Т. 1. P. 92; 35. L. I. P. 11; 46. S. 138; 21. S. 14. Nota 22.

1446 г., ноябрь, автоэпитафия. **Леонардо Джустиниани** (Leonardo Giustiniani), Венеция, Чертоза.

Р г.: 2. Т. 1. Р. 162; 73. Т. 2. Р. 71.

1448 г. 22 декабря. **Уго Бенци** (Ugo Benzi), Феррара, С. Доменико.

Р г.: 270. Р. 47^v; 3. III_{IV}. 339.

1453 г. **Франческо Барбаро** (Francesco Barbaro), Венеция, Фрари.

Si quis honos, si fas lacrymis decorate sepultos... artus.

Мет р.: 149; 270. Р. 304; 286. Р. 155; 2. Т. 2. Р. 109.

1453 г. **Карло Марсуппини Аретино** (Carlo Marsuppini Aretino), Флоренция, Санта Кроче.

Siste, vides magnum quem servant marmorа Vatem... chori.

Мет р.: 270. Р. 84; 67. Р. 150 (без имени); 286. Р. 245; 3. III_{VI}. 366; 154. Р. 241—242; 242. Т. 1. Р. 90.

1455 г. **Николай V—Томмазо Парентучелли** (Niccolo Quinto—Tommaso Parentucelli), автор—Эней Сильвий Пикколомини, Рим, Ватиканские гроты.

Hic sita sunt Quinti Nicolai antistitis ossa... sacro.

Мет р.: 270. Р. 168^v; 286. Р. 20; 154. Р. 311; 128. Р. 164; 135. S. 222—223; 118; Т. 6. Р. 37, N 59; 274. Р. 254; 220. Bd 1. Buch 3. S. 630^v (библиогр.).

1457 г. 1 августа. **Лоренцо Валла** (Lorenzo Valla), автор—Франкино Козентино, Рим, С. Джованни ин Латерано.

Laurens Valla iacet Romanae gloria linguae... loqui.

Мет р.-р г.: 149; 270. Р. 138^v; 67. Р. 15; 286. Р. 41; 269. Pars 2. Р. 33; 3. III_{VI}. 361; 154. Р. 200; 118. Т. 8. Р. 24. N 41 (без дистиха); 172. Р. 325—326.

О составе эпитафии см. гл. V.

1457 г., автоэпитафия. **Базинио Базини да Парма** (Basinio Basini da Parma), Римини, Сан Франческо.

Р г.: 270. Р. 286; 15. Р. XIII—XV; 16. Р. 138.

Автоэпитафия, приведенная в завещании, не была использована.

1459 г. 16 февраля. **Джованни Ауриспа** (Giovanni Aurispa), Рим, С. Сальваторе делле Капелле.

Р г.: 118. Т. 8. Р. 501. N 1160.

1460 г. 4 декабря. **Гварино да Верона** (Guarino da Verona), автор—Тито Веспасиано Строцци, Феррара, С. Паоло.

Hunc tibi consensu tumulum Ferraria magno... domos.

Метр.: 149; 67. P. 174—175; 3. III_{VI}. 368; 76. P. 103.

Гварино был похоронен на общественный счет по декрету герцога; начало эпитафии подтверждает этот факт в согласии с П. Иовием, который данный текст приводит первым.

1463 г. **Сикко Полентоне** (Sicco Polentone), Падуя, С. Леонардо.

Sicco Polentone quem scripta...

Метр.: 266. Col. 267; 255. P. 194. N 10.

1463 г., июнь. **Флавио Бьондо да Форли** (Flavio Biondo dá Forli), Рим, Ара Чели.

Р г.: 270. P. 147^v; 67. P. 38; 286. P. 35; 3. III_{VI}. 387. 118. Т. 1. P. 141. N 519; 199. P. CLXXVII.

1463 г. 12 ноября. **Пьетро делла Валле** (Pietro della Valle, vescovo d'Ascoli), автор — Лелио делла Валле, Рим, Ара Чели.

Diva tibi est, felicia tempora novi... mei.

Метр.: 270. P. 148; 298. Vol. 1. Col. 469; 62. P. 205; 69. P. 15⁴—16; 11. P. 395; 22. P. 20⁴⁹; 150.

См. гл. IX.

1464 г. 19 декабря. **Грегорио Корреро** (Gregorio Correro), Венеция, С. Джорджо ин Альга.

Р г.: 2. Т. 1. P. 127.

1464 г. 24 июля. **Джованни Якопо Боккабелла** (Giovanni Jacopo Boccabella), автор — брат. Рим, Ара Чели.

Р г.: 270. P. 147; 62. P. 267; 179. Vol. 2. Parte 3. P. 1312—1313; 118. Т. 1. P. 142. N 521.

1464 г. **Пий II — Эней Сильвий Пикколомини** (Pius II, Aep. Sylvius Piccolomini), автор — кардинал Франческо Пикколомини, Рим, С. Андреа делла Валле.

Р г.: 135. S. 223.

1465 (ум. 1450) г. **Гемист Плетон** (Gemisto Pletone), автор — Си-джизмондо Пандольфо Малатеста, Римини, С. Франческо.

Р г.: 270. P. 285; 67. P. 271; 286. P. 136; 3. III_{VI}. 384; 315. Т. 1. Ч. 3. Гл. 6; 263. Т. 6. P. 94.

1466 г. 12 мая. **Баттиста Паллавичино** (Battista Pallavicino), Реджио, собор.

Hic Baptista jaces, Regii dignissime praesul... colit.

Метр.: 270. P. 397; 298. Т. 2. Col. 2311.

1466 г.,
автоэпитафия.

кардинал Виссарнион (card. Bessarione), Рим,
церковь Двенадцати апостолов.

Метр.-р.г.: 149; 270. P. 122; 67. P. 8; 286. P. 50; 3. II. 74; 14. App. VII. P. 134—139 (в тексте завещания); 235. Vol. 2. P. 115; 118. T. 2. P. 226. N 656.

1467 г.

Катон Сакко (Catone Sacco), Павия, Кармелитский монастырь.

Р.г.: 270. P. 355^v.

1467 г.

Антонио Сеттимулейо Кампано (Antonio Settimuleio Campano), автор — Юлий Помпоний Лет, Рим, С. Онофрио на Яникуле.

Regia te sepelit Jani, tulit hernica tellus... ingenium.

Метр.-р.г.: 89. T. 2. P. 431. N 71; 118. T. 5. P. 312. N 871; 96. P. 99—100.

1470 г. 12 ноября.

Пьер Кандидо Дечембрио (Pier Candido Decembrio), Милан, собор.

Scandere sydereas virtus si novit ad oras... sepulchro.

Метр.-р.г.: 149 (без прозаической части); 8. T. 2. Col. 2099—2100; 32. P. 418; 99.

1471 г. 6 января,
автоэпитафия.

Антонио Беккаделли Панормита (Antonio Beccadelli Panormita).

Quaerite, Pierides, alium, qui ploret amores... pias.

Метр.: 149; 286. P. 80; 138. S. 19; 3. III^{vi}. 428—429; 154. P. 232; 17. T. 3. P. 579(G); 312. T. 1. P. 316; 132. S. 532.

Автоэпитафия сохранена литературной традицией.

1472 г.,
автоэпитафия.

Ян Панноний (Giano Pannonio или Joann Cezemieze, Giovanni da Cesinge), Феррара, С. Доменико, Кенотаф.

Hic situs est Janus, patrium qui primus ad Istrum... locus.

Метр.: 270. P. 103; 67. P. 172; 286. P. 277; 3. III^{vi}. 370; 216. P. 319.

Эпитафия заимствована из элегии самого поэта «De se aegrotante in castris».

1472 г.

Леонардо Дати (Leonardo Dati), Рим, С. Мария: сопра Минерва.

Р.г.: 298. Vol. 3. Col. 723; 86. P. LXVIII, LXII; 289; 9. IX, II (сообщает о нахождении утраченной плиты с надписью).

1473 г.

Никколо дела Валле (Niccolo della Valle), Рим, С. Мария ин Ара Чели.

Р.г.: 270. P. 148; 62. P. 206—207; 118. T. 1. P. 145. N: 533; 69. P. 18^z.

К тому же Никколо делла Валле относятся две надписи того же года, прежде в С. Бастианелло, ныне в С. Андреа делла Валле (*118*. Т. 8. P. 519. N 1203, 1204).

1476 г. Джованни Андреа Лампуньяни (Giovanni Andrea Lamprugnani), автор — Джироламо Ольджати.

Viator properans, siste; morari juvat paululum... ne ignores.

Метр.: 81; 1. P. 286—287; 18.

1476 г. 21 января. Базилий (Basilius), Неаполь, С. Катарина.
P. г.: 270. P. 246.

1477 г. Джованни Антонио Кампано (Giovanni Antonio Campano), Сиена, собор.

Campanus jacet hic nostri clarum decus aevi... potuit.

Метр.: 67. P. 283; 3. III_{VI}. 390; 298. Vol. I. Col. 317.

1477 г. Антонио дельи Агли (Antonio degli Agli), Флоренция, церковь дель Импрунета.

Artistes templi jacet hic Antonius urna... lapum.

Метр.: 298. Vol. 1. Col. 1459; 179. Vol. 1. Parte 1. P. 186; 242. Т. 5. P. 103.

1477 г. Домицио Кальдерино (Domizio Calderino), 1) Рим?, 2) Торри, озеро Гарда; автор обеих — Анджело Полициано.

Hunc Domiti siccis tumulum qui transit ocellis... iuveni.

Adsta, viator, pulverum vides sacrum... debcs.

Метр.: 20. P. 304 (текст испорчен); 149; 3. III_{VI}. 389—390; 154. P. 251 (только первый текст); 31. P. 203—205; 169. Т. 2. P. 114; 93. P. 151, 153. LXXXII.

1478 г. Донато Аччайуоли (Donato Acciaiuoli), автор — А. Полициано, Флоренция, Чертоза.

Donatus nomen, patria est Florentia, gens... sepelit.

Метр.: 149; 67. P. 161; 3. III_{VI}. 429; 189. Vol. 2. P. 79; 93. P. 152.

1479 г. 11 сентября, автоэпитафия. Якопо Амманати де Пикколомини (Jacopo Ammanati de'Piccolomini), Рим, церковь Двенадцати апостолов.

Luca ortus, Sena lege fuit mihi patria, nomen... redit.

Метр.: 149; 270. P. 125 (под именем Jacobi Mentebonae); 67. P. 10 (так же); 3. II. 78 (так же); 68. Vol. 2. Col. 1062; 298. Vol. 1. Col. 1104 (с прозаической частью); в составе завещания: 227. P. 908.

1480 г., Порчеллио де Пандони (Porcellio de'Pandoni),
автоэпитафия.

Qui cecini egregias laudes vatum quo ducumque... posteritas.

Метр.: 292. Т. 6. Parte 2. P. 704.

Засвидетельствована литературной традицией.

около 1480 г., Феличе Феличано Антикварио да Верона (Felice
Feliciano Antiquario da Verona), Верона(?).

Sponte fui pauper, tam re quam nomine foelix... .

Метр.-р.г.: 7. P. CCCXXVI—CCCXXVII (проза и дистих); 40. P. 100
(только проза); 136: проза — р. 1052, N 8, дистих — р. 911, N 15; 154.
P. 509 — проза; 194. Т. 3. P. MDCCCVI. 4; 47. L. 4. P. 17. Ep. XVII; 182.
N 1571; 82. Vol. 5. Pars 1. P. 37. Veronae. 427; 151.

См. Экскурсе I.

1481 г. 31 июля. Франческо Филельфо (Francesco Filelfo), Бо-
лонья, С. Доменико.

Abstulit insignis corpus fera Parca Philelphi. . nequit.

Метр.: 270. P. 62; 3. III_{VI}. 393; 154. P. 195.

1481 г. Пьетро Марси (Pietro Marsi), Рим, С. Лоренцо
ин Дамазо.

Р.г.: 270. P. 140^v; 118. Т. 5. P. 193. N 549.

1481 г. 21 сентября, Бартоломео Платина (Bartolomeo Platina), Рим,
автоэпитафия, С. Мария Маджоре.

Метр.-р.г.: 149 (без греческого текста); 270. P. 150^v; 286. P. 28; 3. III_{VI}.
389; 235. Vol. 1. P. 153; 118. Т. 2. P. 31. N 52; 53; 55. Т. 12. P. 128.

1482 г. Роберто Вальтурно (Roberto Valturio), Римини,
С. Франческо.

Р.г.: 270. P. 286; 286. P. 136; 292. Т. 6. Parte 2. P. 429.

1483 г. Микеле Верино (Michele Verino), Флоренция,
С. Спирито.

Regia Pyramidum cedant monumenta, viator... habet.

Метр.: 13. P. 146; 93. P. 154. LXXXIII.

1483 г. Маттео Пальмери (Matteo Palmieri), Флорен-
ция, С. Мария Новелла.

Р.г.: 312. Т. 2. P. 169—170; 239. Т. 1. P. 237.

1487 г. (дата надписи). Ченчо Рустичи (Cencio Rusticci), автор — внук,
Антонио, Рим, С. Мария sopra Минерва.

Р.г.: 270. P. 155.

- 1489 г. **Бернардо Джустиниани** (Bernardo Giustiniani),
Венеция, С. Пьетро.
Р. г.: 270. P. 308; 258. P. 7.
- 1490 г. 26 февраля. **Франческо Роланделло** (Francesco Rolandello),
Тревизо, С. Франческо.
Rholandellus in hoc Franciscus Apolline dignus... tulit.
В 1554 г. добавлена прозаическая надпись внуком.
Метр. - р. г.: 41. P. 224—226; 40. P. 412; 273. P. 97.
- 1490 г. 22 сентября. **Бальдо Бартолини** (Baldo Bartolini), Перуджия,
у сервитов.
Interpres utriusque Iuris ingens... felix.
Метр. - р. г.: 149. P. 271; 270. P. 340; 3. III_{IV}. 265.
- 1493 г. **Джованни Пико делла Мирандола** (Giovanni
Pico della Mirandola), автор — Джироламо Бен-
вивьени, Флоренция, С. Марко.
Ioannes jacet hic Mirandula, caetera norunt... Antipodes.
Метр.: 149; 270. P. 82; 67. P. 140; 286. P. 241; 40. P. 405; 95. Pars 2.
P. 209; 1148; 3. III_{VI}. 366; 154. P. 195; 298. Vol. 3. Col. 181; 179. Vol. 2.
Parte 2. P. 861; 242. T. 7. P. 141.
- 1494 г. **Джорджо Мерула** (Giorgio Merula), автор —
Лянчино Курцио, Милан, С. Евсторгиана.
Vixi aliis inter spinas, mundique procellas... mili.
Метр.: 149; 3. III_{VI}. 370; 154. P. 195; 8. T. 2. Col. 2133.
- 1494 г. 21 мая. **Эрмолао Барбаро** (Ermolao Barbaro), Рим,
С. Мария дель Пополо.
Barbariem Hermoleos Latio qui depulit omnem... mori.
Метр.: 149; 270. P. 159^v; 286. P. 44; 3. III_{VI}. 375; 154. P. 269—270; 118.
T. 1. P. 327. N 1232; 22. P. 26².
- 1494 г. 24 сентября. **Анджело Полициано** (Angelo Poliziano), Фло-
ренция, С. Марко.
Politianus in hac tumulo iacet Angelus, unum... habuit.
Метр.: 149; 270. P. 82^v; 67. P. 146; 286. P. 242; 40. P. 405; 148. P. 188; 298.
Vol. 3. Col. 181; 242. T. 4. P. 127. T. 7. P. 141.
- 1496 г. 1 ноября. **Филиппо Каллимако Эсперiente Буонаккорси**
(Filippo Callimaco Esperiente Buonaccorsi), Кра-
ков, церковь Св. Троицы.
Р. г.: 80. P. 120; 37. P. 289; 312. T. 2. P. 333; 177. P. 266.

- 1498 г.** **Юлий Помпоний Лет** (Giulio Pomponio Leto), автор — Джан Джовиано Понтано, Рим, С. Сальваторе ин Лауро.
 Pomponio, tibi pro tumulo sit laurea silva... aquas.
 Metr.: 149; 3. III_{VI}. 431; 154. P. 323; 234. T. 2. P. 179; 82. VI^s 4*; 82. VI^s 3477*.
- 1499 г. 7 октября.** **Николетто Верниа** (Nicoletto Vernia), Виченца, С. Бартоломео.
 P г.: 270. P. 327^v; 236. P. 41.
 Ныне другая надпись в Capella dell'ospedale civile.
- около 1500 г.** **Леонардо Монтанья да Верона** (Leonardo Montagna da Verona).
 P г.: 25 (осталась недоступной).
- 1500 г., автоэпитафия.** **Антонио Кодро Урчео** (Antonio Codro Urceo), Болонья(?).
 P г.: 78.
 Автоэпитафия засвидетельствована биографом Бианкини.
- 1500 г.** **Микеле Марулло** (Michele Marullo), Анкона, С. Доменико.
 Эпитафии семейной капеллы: 270. P. 276—277; 67. P. 264—266; 286. P. 123—126; 3. III_I. 178—180; 263. Appendix. P. 173—235; 214 (осталась недоступной).
- 1501 г.** **Пьетро Голино** (Pietro Golino), автор — Джан Джовиано Понтано, Неаполь, Темпьетто.
 P г.: 7, 113. N 9. P. 113.
- 1502 г. 13 ноября.** **Аннио да Витербо** (Annio da Viterbo), Рим, С. Мария сопра Минерва.
 P г.: 312. T. 2. P. 192—193; 118. T. 1. P. 432. N 1663.
- 1503 г., автоэпитафия.** **Элизио Каленцио** (Elisio Calentio-Luigi Galluccio).
 Metr.: 149; 3. III_{VI}. 431—432.
- 1503 г., автоэпитафия.** **Джан Джовиано Понтано** (G. G. Pontano), Неаполь, Темпьетто.
 Vivus domum hanc mihi paravi... vale.
 Metr.: Все эпитафии Tempietto: 270. P. 230^v—231; 67. P. 88—93; 113. P. 113; 234. T. 2; только автоэпитафия: 149; 7. P. CXV; 40. P. 103, 312. T. 2. P. 178.
- 1503 г.** **Джованни Кальфурнио** (Giovanni Calfurnio), Падуя, С. Антонио.
 Calphurni cineres sunt hic, possessor Olympi...virum. (То же на греч. яз.).

Метр.: 270. P. 19^v; 266. Col. 468; 255. P. 182. N 27 (с прозаической частью); 72. P. 221—248.

1504 г.,
автоэпитафия. **Лодовико Страццароли Понтико да Тревиджи** (Lodovico Strazzaroli Pontico da Trevigi), Тревиджи, С. Микеле.

Рг.: 39. P. 154; 40. P. 421; 312. Т. 2. P. 308 (ошибочно относит надпись к Лодовико Понтико Вируно да Беллуно, ум. 1520); ошибка исправлена: 273. P. 117—122.

1505 г. 18 июля. **Филиппо Бераольдо Старший** (Filippo Beroaldo sen.), Болонья, С. Петролио.

Метр. - рг.: 270. P. 57; 67. P. 231, 235, 246; 286. P. 252—253; 3. III_{VI}. 379; 179. Vol. 2. Parte 2. P. 1008; 111. Т. 2. P. 117—118.

См. Экскурс II.

1506 г.,
автоэпитафия. **Марк Антонио Коччо Сабеллико** (Marc Antonio Coccio Sabellico), Венеция(?).

Quem non res hominum, non omnis coeperat setas... brevis.

Метр.: 149; 67. P. 131; 286. P. 156; 3. III_{VI}. 364; 154. P. 189.

около 1508—1510 г. **Лодовико Одасси да Падова** (Lodovico Odassi da Padova), Урбино, С. Бернардино.

Qui genitus Patavi clara. Lodovicus in urbe... chelin.

Метр.: 270. P. 282^v.

1510 г. **Джованни Котта** (Giovanni Cotta), Верона, собор.

Sperabas tibi culta novum Verona Catullum... erubuit.

Метр.: 149; 270. P. 329^v; 3. III_{VI}. 378.

1511 г. **Джиrolамо делла Торре** (отец); **Марк Антонио делла Торре** (сын); (Della Torre Girolamo e Marc Antonio), авторы — сыновья, Верона, С. Фермо.

Рг.: 270. P. 332^v (с ошибкой в транскрипции имени «Moturgiani» от слияния слогов Hieronymo-turriani); 169. Т. 2. P. 284—292.

1511 г. **Дмитрий Халкондил** (Demetrio Calcondilo), автор — Джан Джорджо Триссино, Милан, Сеттария делла Пассионе.

Рг.: 8. Т. 2. Col. 2091—2092; 161. Т. 1. P. С.

1511 г. **Аноним из Пезаро** (Anonimo da Pesaro), Рим, С. Спирито ин Сассия.

Pindarus hic iaceo musis non parva pisauri... aquam.

Метр.: 118. Т. 6. P. 387. N 1185.

1512 г. **Алессандро Акиллини** (Alessandra Achillini), автор — Джано Витале, Болонья, С. Мартиньо.

Hospes, Achillinum tumulo qui quaeris in isto... oculis.

Метр.: 149; 67. P. 249; 286. P. 259; 95. Pars 2. P. 1438; 3. III^{VI}. 361; 154. P. 218; 179. Vol. 1. Parte 1. P. 102; 106. T. 1. P. 51—52; 115. P. 262¹.

Надпись более не существует; G. Fantuzzi [1:1] считает ее эпитафией литературной; подлинность надписи, с указанием местонахождения, устанавливается свидетельством П. Иовня.

1513 г. **Бартоломео делла Фонте** (Bartolomeo della Fonte), Монтемурле близ Пистойи, С. Джованни Баттиста.

Spernere qui docuit mundum superosque verere... Ecclesias.

Метр.: 174. P. 97²; 117. P. 23.

1514 г. **Баттиста Фьера** (Battista Fiera), Мантуя, С. Франческо.

Рг.: 270. P. 338.

1514 г. 7 октября. **Бернардо Ручеллаи** (Bernardo Ruchellai), Флоренция, С. Мария Новелла.

Рг.: 239. T. 2. P. 774.

1514 г. **Доменико Мария Новара** (Domenico Maria Novara), Болонья, С. Мария Аннунциата.

Qui responsa dabat coeli internuncius ore... domus.

Метр.: 270. P. 70; первые две строки: 293. T. 6. Parte 1. P. 397—398.

1515 г. — памятник **Ланчино Курцио** (Lancino Curzio), автор — Дольчино да Кремона, Милан, С. Марко, ныне Палаццо Сфорца, Археологический музей.

En virtutem mortis nesciam... Самоенае.

Метр.: 149; 270. P. 397⁴; 67. P. 135 (с неверным отнесением к Венеции в связи с названием церкви); так же: 286. P. 144; 8. T. 1. P. 531—533.

1516 г. **Фра Баттиста Спальнюоло Мантовано** (Fra Battista Spagnuolo Mantovano), Мантуя, у кармелитов, по соседству с памятником Вергилия.

Alter hic iacet a Marone vates... fontes.

Метр.-рг.: 149; 270. P. 339; 3. III^{VI}. 373.

1517 г. 27 сентября, автоэпитафия. **Джиrolамо Болоньи** (Girolamo Bologni), Тревизо, собор.

Lector, ut ecce vides condenda Hieronymus ossa... eris.

Метр.-рг.: 40. P. 121—122; 179. Vol. 3. Parte 3. P. 1489; 273. P. 359.

1517 г. 5 августа. **Джиrolамо Буцио** (Girolamo Buzio), Рим, С. Мария sopra Минерва.

Р г.: 270. Р. 155; 67. Р. 42; 118. Т. 1. Р. 439. N 1697.

1517 г. **Марко Музура с Крита** (Marco Musuro da Creta), автор — Антонио Амитерно, Рим, С. Мария делла Паче.

Musuro, ô mansure parum properata tulisti... cito.

Метр. - р г.: 149; 270. Р. 158; 67. Р. 24; 286. Р. 44; 161. Т. 1. Р. СХХI (понедоразумению списывает у F. Swirtius'a [286] вслед за эпитафией Музура эпитафию Пьетро Марси, относя обе к одному лицу).

1517 г. 22 ноября, автоэпитафия. **Антонио Галатео де Феррарис** (Antonio Galateo de Ferrariis), Лекче, С. Джованни д'Аймо.

Qui novit medicas artes et sydero coelo... tegit.

Метр.: 312. Т. 2. Р. 290.

1518 г. **Филиппо Бераальдо Младший** (Filippo Beroaldo jun.), автор — П. Бембо, Рим, собор Св. Петра.

Felsina te genuit, colles rapuere Quirini... ad citharam.

Метр.: 154. Р. 318; 19. Т. 4. Р. 353; 111. Т. 1. Р. 140.

Засвидетельствовано только литературной традицией.

1519 г. 22 марта. **Язон Майно** (Giason Maino), Павия, С. Якопо фуори Мура.

Quis iacet hoc hospes tumulo? quis? Summus Jason... togae.

Метр.: 270. Р. 349^v.

1520 г. **Бернардо Довизи да Биббена** (Bernardo Dovizi da Bibbena), Рим, С. Мария ин Ара Чели.

Р г.: 68. Vol. 3. Col. 341; 118. Т. 1. Р. 162. N 612.

1520 г. **Джано Парразо** (Giano Parrasio), Неаполь, С. Джованни да Карбонария.

Р г.: 270. Р. 237^v; 67. Р. 102—103.

1521 (ум. 1499) г. **Марсилио Фичино** (Marsilio Ficino), Флоренция, С. Мария дель Фиоре.

Vivitur ingenio vivit quem vere sepultum... publico.

Метр.: 270. Р. 80—80^v; 67. Р. 142; 3. III_{VI}. 365; 154. Р. 306; 298. Т. 3. Col. 181; 122; 242. Т. 6. Р. 128; 252. Р. 147.

В 1527 г. после изгнания Медичи надписи как относящейся к их клиенту угрожало уничтожение

1521 г. **Гвидо Постумо** (Guido Postumo), Сутри, С. Франческо.

Posthumus hic situs est, ne dictum hoc nomine credas... parte.

Метр.: 149; 3. III_{VI}. 434.

- 1521 г. **Марчелло Вирджилио Адриани** (Marcello Virgilio Adriani), С. Франческо дель Монте близ Флоренции.
Suprema nomen hoc sole...
- Метр.: 229. P. 119; 67. P. 147; 179. Vol. 1. Parte 1. P. 157.
Надпись на памятнике.
- 1522 г. 25 июня. **Джованни Франческо Поджо** (Giovanni Francesco Poggio), Рим, С. Себастьяно.
Р г.: 270. P. 130^v; 67. P. 12; 286. P. 48; 3. III^v, 360; 154. P. 282; 118. Т. 2. P. 105. N 294.
- 1522 г. 3 сентября. **Христофор Лонголий** (Cristoforo Longolio), автор — П. Бембо, Падуа, С. Франческо.
Te iuvenem rapuere Deae, fatalia nentes... dedeissent.
Метр.: 149; 270. P. 20^v; 266. Col. 461; 67. P. 194; 286. P. 300; 255. P. 337. N 72; 154. P. 504; 95. Pars 2. P. 378; 19. Т. 4. P. 353—354; 277. P. 93—94.
- 1522 г. **Николао Кьерли** (Nicolao Chierli), Венеция, С. Северо.
Р г.: 73. Т. 3. P. 101.
- 1523 г. **Сатурно Джерона** (Saturno Gerona), Рим, Кьеза делья Анима.
Scis remeare datum nulli post busta... fruor.
Метр.: 131.
- 1524 г. 18 октября, автоэпитафия. **Аврелий Авгурелли** (Aurelio Augurelli), Тревизо, собор.
Aurelii Augurelli image est, quam vides... firmior.
Надпись находилась под бюстом Авгурелли.
Метр.: 149; 41. P. 114—115; 67. P. 137; 40. P. 406—407; 154. P. 233; 179. Vol. 1. Parte 1. P. 1253²⁴; 59. Т. 1. P. 434; 273. P. 191.
- 1524 г. **Урбано Больцано** (Urbano Bolzano), автор — И. Валерьяно Больцано, Венеция, Фрари.
Р г.: 270. P. 303^v; 278. P. 154.
- 1524 г. **Никколо Леоничено** (Niccolo Leonicensino), автор — Бонавентура, Феррара, С. Доменико.
Р г.: 270. P. 47^v; 67. P. 170; 286. P. 275; 3. III^v, 367.

1525 г. 18 мая. **Пьетро Помпанаци** (Pietro Pompanazzi), Мантуя, С. Андреа (на памятнике).

Mantua clara mihi genitrix fuit et breve corpus... cuncta.

Met r.: 270. P. 337 (под прозвищем Peretto); 115. P. 68¹.

1525 г. **Агостино Маффеи да Верона** (Agostino Maffei da Verona); Рим, С. Мариа sopra Минерва.

P r.: 270. P. 155^v; 118. Т. 1. P. 428. N 1638 (без греческого текста).

1526 г. **Пьетро Англарио Мартир** (Pietro Anglario Martir), Гренада, собор.

P r.: 179. Vol. 1. Parte 2. P. 775; 8. Т. 2. Col. 1941—1942.

1527 г. **Марк Антонио Казанова** (Marc Antonio Casanova), автор — Блозио Палладио, Рим, С. Лауренциано.

Comensis Casanova, dum priores... paravit.

Met r.: 149; 154. P. 230.

1529 г. **граф Бальдассаре Кастильоне** (conte Baldassare Castiglione), автор — Пьетро Бембо, Мантуя; С. Мариа делле Грацие.

P r.: 8. Т. 2. Col. 2083—2084; 19. Т. 4. P. 354.

1529 г. 5 июля. **Эмилий Павел** (Emilio Paulo), Париж, Собор Парижской Богоматери.

P r.: 286. P. 613—614; 101; 17. Т. 1. P. 723¹³.

1529 г. **Феличе де Фредис** (Felice de Fredis), Рим, С. Мариа ин Ара Чели.

P r.: 308. Т. 2. P. 193; 250. Т. 2. P. 490. Note 254; 118. Vol. 1. P. 164. N 620.

1531 г., автоэпитафия. **Леонико Томео** (Leonico Tomeo), автор — Пьетро Бембо, Падуя, С. Франческо.

Met r. - *p r.*: 270. P. 20^v; 266. Col. 461; 67. P. 200—201; 286. P. 301; 3. III^{VI}. 369; 255. P. 338—339. N 89; 19. Т. 4. P. 354; 293. Т. 7. P. 413—414.

Греческий дистих принадлежит Томео.

1532 г. **кардинал Эгидий да Витербо** (card. Egidio da Viterbo), Рим, С. Агостино.

P r.: 270. P. 126; 276. P. 202⁴³.

1533 г., автоэпитафия. **Лодовико Ариосто** (Lodovico Ariosto).

Ludovici Ariosti humantur ossa... pereret.

Met r.: 149; 270. P. 49; 67. P. 172—173; 286. P. 278—279; 179. Vol. 1. Parte 2. P. 1068; 9. Т. 1. P. 365; 54. P. 205—207; 24. P. 653.

1535 г.,
автоэпитафия.

Филиппо Децио (Filippo Decio), Пиза, Кампо Санто, на памятнике, заказанном Децием при жизни.

Метр.: 149; 270. P. 90; 67. P. 299; 3. III_{IV}, 275; 8. Т. 1. Col. 551—552; 109. P. 204.

1535 г.,
автоэпитафия.

Марино Санудо (Marino Sanudo).

Ne tu hoc despice quod vides sepulcrum... vale.

Метр.: 260. Vol. 58. Pref. P. 101—107.

Автоэпитафия в завещании 4 декабря 1533 г. надписью не стала.

1535 г.

Альберто Пио да Карпи (Alberto Pio da Carpi), Париж, С. Франческо, ныне Лувр.

Р г.: 286. P. 608; 67. P. 728—729.

1535 г.,
автоэпитафия.

Иоанн Ласкарис (Giovanni Lascaris), Рим, С. Агата алла Субурра.

Метр.: 149 (только латинский перевод); 270. P. 120^v; 158. 13.4^o; 3. III_{VI}-372; 235. Vol. 1. P. 302; 116. P. 458; 118. Vol. 10. P. 348. N 572; 161. Т. 1. P, CLVII.

1537 г.

Фаворино да Камерино (Favorino da Camerino), Ночера, собор.

Метр.-р г.: 298. Vol. 1. Col. 1072; 93. P. 213. Nota XLII; 190.

См. гл. III.

1538 г.

Якопо Саннадзаро (Jacopo Sannazzaro), автор—Пьетро Бембо; Мерджеллина, С. Мария ин Парто, Позилиппо близ Неаполя.

Da sacro cineri flores, hic ille Maroni... tumulo.

Actius hic situs est, cineres gaudete sepulti... caret.

Метр.: 149; 270. P. 234; 67. P. 93—94; 286. P. 94; 3. III_{VI}, 364; 19. Т. 4. P. 354.

1538 г.

Агостино Нифо (Agostino Nifo), автор—Гамаццо Флоримонте, Суэсса, С. Доменико.

Dum lapidi, Fitulum moerens Galeacius addit... lacrumis.

Метр.: 149; 67. P. 353; 283. P. 133; 3. III_{VI}, 384.

1540 г.

Бенедетто Лампридио (Benedetto Lampridio), Мантуя, С. Андреа.

Р г.: 143; 270. P. 335^v.

около 1540 г.,
автоэпитафия.

Аббат Джано Анизио (Abbate Giano Anisio), Неаполь, С. Джованни Маджоре.

Onustus aevo Janus hic Anisius... ne tangito.

Метр.-гр.: 270. P. 238; 67. P. 107; 286. P. 99; 3. I_{III}. 178; 179. Vol. 1. Parte 2. P. 801.

около 1540 г. **Джованни Баттиста Лео** (Giovanni Battista (Pio), Рим, Св. Евстафий.

Ingenio tentasse Pius se se omnia cernens... vaie.

Метр.: 149; 111. Vol. 7. P. 34.

1541 г., **Челло Кальканьини** (Coelio Calcagnini), Ферра-
автоэпитафия. ра, С. Доменико.

Р г.: 270. P. 47v; P. 171—172; 286. P. 273—274; 3. III_{VI}. 374; 133. Col. 80; 33. P. 199.

1542 г. 17 марта. **Анджело Беолько Руццанте** (Angelo Beolco Ruz-
zante), автор — Дж. Б. Рота, Падуя, С. Даниэле.

Р г.: 270. P. 27v; 266. Col. 290; 255. P. 453. N 11; 179. Vol. 2. Parte 2. P. 907.

В эпоху G. M. Mazzuchelli надписи уже не было.

1542 г., **кардинал Джироламо Алеандро** (card. Girolamo
автоэпитафия. Aleandro), автор — племянник, греческий дн-
стих — автоэпитафия, Рим, Сан Кризоно.

Метр.-гр.: 149; 270. P. 127; 67. P. 10—11; 286. P. 51; 3. I_{II}. 79—80; 68. Vol. 3. Col. 625; 179. Vol. 1. Parte 1. P. 408. Примеч. 3; 116; P. 442—443; 200; 273. P. 258¹.

1542 (ум. 1475) г. **Феодор Газа** (Teodoro Gaza), Аббатство С. Джо-
ванни а Пиро близ Салерно.

Р г.: 166. P. 22; 161. Т. 1. P. XL—XLI.

1542 г. 24 августа. **кардинал Каспар Контарено** (card. Caspar Con-
tarenno), автор — М. А. Фламинио, Болонья, С. Проколо.

Contarenno, tuo docuisti magne libello... innumerabilibus.

Метр.: 270; 67. P. 230; 68. Vol. 3. Col. 594 (дает другой текст); 95. Pars 1. P. 1044; 3. I_{II}. 100; 59. Т. 4. P. 416.

1545 г. **Леонардо да Порто** (Leonardo da Porto), Вичен-
ца, С. Лоренцо.

Р г.: 270. P. 325; 286. P. 160.

1547 г. 15 февраля. **кардинал Якопо Садолето** (card. Jacopo Sadole-
то), автор — племянник Камилл, Рим, С. Пьетро
ин Винкулио.

Р г.: 270. P. 172; 67. P. 29; 3. I_{II}. 75; 154. P. 538; 68. Vol. 3. Col. 617; 118. Т. 4. P. 82. N 185.

1547 г. **кардинал Пьетро Бембо** (card. Pietro Bembo),
автор — прозаического текста — сын Торкват,
Рим, С. Мария sopra Минерва.

Hic Bembus iacet Aonidum laus maxima Phoebi... fides.

Метр.-пр.: 286. P. 31. 68. Vol. 3. Col. 658 (оба дают стихотворную часть); 176. Vol. 2 (только проза); 298. Vol. 4. Col. 491 то же: 135. P. 138 (по F. Sweertius'у, A. Ciaconius'у).

Ныне сохранилась только прозаическая часть.

1549 г. **Агостино Беациано** (Agostino Beaziano), Тревизо, С. Пьетро.

Hospes, Beatianus hic est, scis coetera, num tam... oculis.

Метр.: 40. P. 405; 273. P. 261.

1550 г. 12 января. **Андреа Альчато** (Andrea Alciato), Павия, С. Стефано.

Самый полный текст см. у L. Schrader'a [270. P. 356^v], который посетил его сына и его дом. Дает прозаический текст, две греческие строки и латинский дистих:

Siste gradum, quamvis... fugiat brevis hora, viator... examinet.

Метр.-пр.: 67. P. 292; 286. P. 182—183; Т. 1. Col. 24.

1550 г. **Блосио Палладио Сабино** (Blosio Palladio Sabino), Рим, С. Мария ин Аквино.

Рг.: 298. Vol. 1. Col. 712.

1552 г. 9 января. **Марк Антонио Антимако** (Marc Antonio Antimaco), Феррара, С. Франческо.

Рг.: 270. P. 51^v—52.

1552 г. 10 февраля. **Лазаро Бонамико** (Lazaro Bonamico), Падуя, С. Джованни Баттиста.

Метр.: 270. P. 18^v; 67. P. 261; 3. III^v, 364; 154. P. 295; 255. P. 179. N 9; 179. Vol. 2. Parte 4. P. 2324.

1555 г. **Марк Антонио Майораджо** (Marc Antonio Maioragio), Милан, С. Амброджио.

Рг.: 270. P. 363; 3. III^v, 297.

1558 г. **Франческо Бонафиде** (Francesco Bonafide), Падуя, С. Франческо.

Aeris ad aethereas sonitum dum surget ad auras... honos.

Метр.: 266. Col. 253.

1558 г. **Лука Гаурико** (Luca Gaurico), Рим, С. Мария ин Ара Чели.

Рг.: 270. P. 151^v; 118. Т. 1. P. 173. N 659.

1558 г. **Пьеро Валериано Больцано** (Pierio Valeriano Bolzano), 1) Падуя, С. Антонио, кенотаф.

Р г.: 270. P. 12; 266. Col. 455; 67. P. 215; 3. III_{VI}. 379; 255. P. 416. N 298.

2) Венеция, Фрари, кенотаф.

Р г.: 270. P. 303^v. 67. P. 132.

1560 г., автоэпитафия. **Лелио Грегорио Джиральди** (Lelio Gregorio Giral-di), Феррара, собор.

Quid hospes astas? Tymbion... abi.

Метр.: 270. P. 46^v; 67. P. 171; 286. P. 272; 95. Pars 1. P. 1234—1238; 138. Т. 1. Т. 2. Col. 928; Т. 5. P. 384.

1560 г. **Лелио Капилупо** (Lelio Capiluppo), Мантуя, С. Франческо.

Mantua te Laeli merito te iactat alumno... lacrymis.

Метр.: 270. P. 337; 67. P. 185; 3. III_{VI}. 368.

1562 г. **Габриэле Фаллопио да Модена** (Gabriele Fallopio da Modena), Падуя, С. Антонио.

Fallopì hoc tumulo solus non conderis, una... domus.

Метр.: 270. P. 11^v; 67. P. 199—200; 3. III_V. 310.

1566 г. **Джиrolамо Вида** (Girolamo Vida), Альба, собор.

Р г.: 206. P. 52 — по завещанию 29/III 1564 г.

1585 г. **Марк Антонио Мурето** (Marc Antonio Mureto), Рим, С. Тринита.

Hic Marci caros cineres Roma inclita servat... iacent.

Метр.-р г.: 3. III_{VI}. 380 — стихотворный текст; прозаический: 154. P. 490.

1585, 8 мая. **Андреа Новаджеро** (Andrea Novagero), Венеция, С. Мартино да Мурано или С. Джованни ин Брагола.

Р г.: 196. P. VIII; 73. Т. 6. P. 169.

1587 г. **Спероне Сперони** (Sperone Speroni), Падуя, собор.

Р г.: 255. P. 7. N 27.

Эпитафия на итальянском языке.

1688 (ум. 1504) г. **Христофоро Ландино** (Cristoforo Landino), Оппидо делла Коллина близ Флоренции.

Р г.: 13. Т. 2. P. 167, 168, 174; 224. P. 271.

1776 (ум. 1537) г. **Антонио Тебальдео да Феррара** (Antonio Tebaldeo da Ferrara), Рим, С. Мария ин виа Лата.

Р г.: 118. Т. 98. P. 407. N 972.

ЭКСКУРСЫ

Экскурс I. К составу и судьбе эпитафии Феличе Феличано Антикварио да Верона (ум. ок. 1480)

Эпитафия Феличе Феличано в первый раз опубликована была в 1534 г. Апианом как надпись античная, состоящая из части прозаической и дистиха (см. текст в гл. X).

Следующий издатель латинских надписей всего «orbis terrarum», И. Грутер [136], в 1601 г. отнес ее к числу древнехристианских по признаку содержания, поскольку она исповедовала веру в День Судный — «dies censorius». Вместе с тем, не зная исторического лица, к которому надпись относилась, он счел единую двучленную надпись за две надписи, между собой не связанные, и, разорвав их, поместил их врѳь. Дальше у авторов, базировавшихся на Грутере, проза и дистих повели раздельное существование.

Только прозаическую часть приводит в 1616 г Буркелати, но он представляет традицию совершенно особую, ни от кого не зависящую. Диссертацию об эпитафиях, которая входит в состав его второго труда, он иллюстрирует подлинными, известными ему de visu памятниками в разных городах Италии. В главе о пиеете к гробницам и о надписях соответственного содержания читаем: «Non absouum puto hic Epitaphium Veronae positum re-sensege».* Свидетельство Б. Буркелати, археолога осведомленного и добросовестного, указывает, что во второй половине XVI в. надпись еще существовала, но имя Ф. Феличано из Вероны через сто лет после его смерти уже ничего не говорило даже ученому собрату, занятому вслед за ним той же работой и топографически к нему близкому. Традиция Буркелати дальше заглохла; в томе надписей г. Тревизо странно было бы искать надпись веронскую.

Продолжалась зато по обеим линиям традиция Грутера [136]: прозаическая часть приведена в 1686 г. Лаббѳе в его «Thesaurus epitaphiorum» [154], а дистих — в латинских антологиях П. Бурмана [47] и Г. Мейера [182], наконец в С. I. L. [82] с библиографией и пометкой: «Recentis poetae esse dudum viderint viri docti».**

Этими учеными в XVIII в. были Муратори и Сципюн Маффей. Муратори, возвращаясь к рукописной традиции, приводит снова обе части «e schedis Belloniis apud Apostolum Zeno...»*** и отмечает разночтения с Грутером, чтобы заключить о надписи как «recentiorum saeculorum foetum»****. Замечательно, что в предисловии к своему «Thesaurus» он упо-

* Считаю уместным привести здесь эпитафию, находящуюся в Вероне (лат.).

** Прежде ученые мужи считали, что это [текст] поэта недавнего времени (лат.).

*** Из записей Беллония у Апостола Зено (лат.).

**** Порождении новых времен (лат.).

минает Феличе Феличано как эпитафиста, но имени с надписью не связывает — она никогда не была у него в центре поля зрения.

Но еще раньше Муратори связь установил историограф и археолог г. Вероны Сципион Маффеи, который обладал рукописным сборником надписей Феличано и поместил последнего среди других ученых мужей «*Veronae Illustratae*». Но тогда как он обычно приводит и тексты сохранившихся эпитафий, по отношению к Феличано он этого не делает, ограничиваясь замечанием: «*Non so donde fosse tratta quell' iscrizione fatta pel sepolcro di Feliciano stesso, che quasi antica fu riferita da Apiano, poi da Grutero e da più altri*».* Содержания надписи он не касается.

Таким образом в изданиях XVI—XVII вв. надпись фигурировала как надпись античная, древнехристианская у Грутера и вместе с тем была расколота на две части, ведшие раздельное существование до XIX в., хотя уже в XVIII в. она была отнесена и Муратори, и Маффеи к Новому времени и определенному историческому лицу.

Экскурс II. К надписи Филиппо Бераальдо Старшего (1505)

Текст надписи Филиппо Бераальдо Старшего известен в нескольких редакциях. Л. Шрадер [270. P. 57] записал в С. Петронии только последнюю строку:

O literae, ô cantus, ô Apolline, vobis in posterum
quid, heu, fiet?***

Ф. Сверций и за ним Дж. М. Маццукелли приводят надпись, состоящую из четырех частей:

- 1) прозаической части, составленной внуками, — *Vincentii filii haeredes;*
- 2) дистиха: *I nunc et vigila. . .****
- 3) строки с датами возраста и смерти;
- 4) строки Шрадера.

Дж. Фантуцци [111. Т. 2. P. 117—118] через 22 года после Маццукелли на месте под бюстом гуманиста нашел только 1-ю и 3-ю прозаические части, обратив внимание на вкрающуюся в них хронологическую ошибку: Бераальдо умер не в 1504 г., как указывает текст, а 18 июля 1505 г. Ошибка объясняется, очевидно, тем, что эта часть надписи, как явствует из того же текста, составлена значительно позднее внуками покойного.

Но тот же Фантуцци в другом месте [111. Т. 3. P. 176] приводит дистих «*I nunc et vigila*», отнеся его к другому лицу, юристу *Giovanni Battista Cimatore*, похороненному в С. Мартино в 1513 г., не заметив совпадения текстов. Тот же дистих и в той же церкви прочитал еще раньше Шрадер, который связал его с третьим лицом: *Laelio Vochio Achilis filius* [270. P. 67].

С другой стороны, известно, что прах Бераальдо не сразу нашел место последнего упокоения. Похороненный первоначально в церкви dell'Annunziata, он, как сообщает хроникер Ghiselli, был перенесен «*per rumor di guerra a S. Martin Maggiore, dove vi fu fatta la sua statua*»****. Одновременно с возведением памятника окончательную редакцию, надо думать, получила и надпись. Но и в С. Мартино прах оставался только временно, а затем перенесен был в собор С. Петронии, при этом перенесении дистих происхождения более раннего, чем прозаическая надпись, занимавший отдельную

* Я не знаю, откуда была извлечена эта надпись, сделанная для надгробия самого Феличано, которая как античная приведена Апианом, Грутером и многими другими (ит.).

** О словесность, о песнопение, о Аполлон, увы, что с вами станется в будущем? (лат.).

*** Иди теперь и будь бдителен... (лат.).

**** По причине слухов о войне в С. Мартино Маджоре, где была установлена его статуя (ит.).

плиту, очевидно, остался в церкви С. Мартино среди близких ему по времени могил. Так следует заключить из того факта, что разными эпитафистами он мог быть отнесен к двум погребениям. В таком случае естественно, что Шрадер в соборе С. Петронии увидел перед собой только прозаический текст и последнюю строку и по своему обыкновению написал только ее — иначе он не преминул бы записать весь метрический текст целиком. Что же касается текста Свейерция, то надо предположить наличие какой-то другой, нам не известной, письменной традиции эпохи С. Мартино, которой он пользовался помимо Шрадера. Этот список должен был зафиксировать все четыре составных части надписи после установки памятника. То, что Свейерций не выдумал дистих, доказывают независимо друг от друга — в самой случайности их записей — Шрадер и Фантуцци. То обстоятельство, что эти два автора отнесли его к разным лицам и плита, так сказать, заблудилась, делает в высокой степени вероятным, что она относилась к третьему лицу, т. е. к Бероальдо, особенно, если принять во внимание время установки памятника и факт повторного перенесения его праха. Таким образом, можно остановиться на редакции Машцукелли, в этом виде надпись принадлежит двум, если не трем разным моментам, как показывает и самый состав ее и ее история.

Экскурс III. К судьбе эпитафии на Ватиканской гробнице папы Льва X (1521)

Историограф пап Л. Пастор пишет о погребении папы Льва X в 1521 г.: «Папа эпохи Возрождения, больше всех любивший роскошь, был погребен скудно, бедная гробница в соборе Св. Петра приняла его останки (Jovius, Vita, 14). Лишь при Павле III ему была воздвигнута на хорах церкви С. Мария sopra Минерва слева за алтарем большая гробница из белого мрамора. Странно, что нет и надписи...» [270. Bd. 4. S. 349].

Между тем у того же П. Иовия, у которого Пастор почерпнул сведения о первом погребении, надпись эта приведена *in extenso*.*

Deliciae humani generis, Leo maxime, tecum

*Miserere simul tecum abiere simul.***

Л. Пастор, который дает на полстранице библиографию надписи папы Николая V, в данном случае, как невнимательный читатель, предпочитает недоумевать по поводу отсутствия надписи. Молчит о ней и В. Форчелла.

Вернемся к биографии папы Льва X, написанной П. Иовием. Она посвящена была автором наследникам и ближайшим родственникам папы, герцогу Алессандро Медичи и кардиналу Ипполито, и следовательно, имеет, так сказать, официальный штамп. Ипполито умер в 1535 г., и до этого года примерно эпитафия, таким образом, существовала спокойно и не смущала никого.

А. Giasonius [68. T. 3. Col. 313] рассказывает, что Ватиканская гробница была покрыта целым рядом эпитафий, оплакивающих потерю, а Ф. Угелли [298] в примечаниях к А. Чаконию (col. 321), ссылаясь на запись Ф. Свейерция, приводит тот же текст Иовия — в XVII в. о нем еще можно было говорить.

В. Роско [251. Vol. 2. P. 113] и за ним другие дистих приписывали Морери, их исправил Дж. Тумминелли [297], который его обнаружил среди «Элогий римских первосвященников» Джано Витале (см. гл. III).

Таким образом, позднейшая духовная цензура при Павле III фактически уничтожила первоначальную надпись, а новейшая клерикальная эпитафика и историография пытаются отрицать ее существование тем, что молчат о ней.

* Полностью (лат.).

** Услады рода человеческого, о; Лев Великий, с тобой, шутя, играли, с тобой ушли (лат.).

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Adda G. d'*. Canti storici italiani // Archivio storico lombardo. 1875. Sér. 1. Anno 2.
2. *Agostini G.* Notizie storico-critiche intorno la vita e le opere degli scrittori veneziani. Venezia, 1752—1754. 2 vol.
3. *Aicher Ottone* (Dodone Richea). Theatrum funebre, exhibens per varias scenas Epitaphia nova, antiqua, seria, iocosa... Salisburgi, 1675.
4. *Alessandri A.* Alexandri ab Alexandro Genialium dierum, libri sex. Francofurti, 1646.
5. *Amante A.* La poesia sepolcrale latina. Palermo, 1912.
6. *Anthologia latina* / Ed. A. Riese. Leipzig, 1869—1870. 2 vol.
7. *Apianus P.* Inscriptiones sacrosanctae vetustatis. Ingolstadt. 1534.
8. *Argelati Ph.* Bibliotheca scriptorum mediolanensium. Mediolani, 1745. 2 vol.
9. *Ariosto L.* Opere minore. Firenze, 1857.
10. *Atti del II Congresso nazionale di Studi romani.* Roma, 1931.
11. *Bährens E.* Poetae latini minores. Lipsiae, 1883.
12. *Bandini A. M.* Catalogus codicum Latinorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae. Florentiae, 1774—1777. 5 vol.
13. *Bandini A. M.* Specimen literaturae Florentinae. Florentiae, 1751.
14. *Bandinius L.* De vita et rebus gestis Bessarionis, cardinalis Nicaeni. Romae, 1777.
15. *Basini B.* Basinis Parmensis poetae opera praestantiora. Arimini, 1794. 2 vol.
16. *Basini B.* Poesie liriche de Basinio a cura di F. Ferri. Torino, 1925 (Testi latini umanistici. Vol. 1).
17. *Bayle P.* Dictionnaire historique et critique. 5 éd. Amsterdam, 1740. 4 vol.
18. *Belotti B.* Il drama di Gerolamo Olighati. Milano, 1929.
19. *Bembo P.* Opere. Venezia, 1729.
20. *Bergomas* (Foresti) J. Ph. Supplementum chronicarum. Venetiis, 1513.
21. *Berni F.* Opere. Milano, 1887.
22. *Bertalot L.* Die älteste gedruckte Epitaphiensammlung // Collectanea variae doctrinae. Festschrift für L. S. Olschki. Florenz-München, 1921.
23. *Bertalot L.* Cincius Romanus und seine Briefe // Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 1929—1930. Bd 21.
24. *Bertoni G.* Il codice ferrarese dei «Carmina» di Ludovico Ariosto // Archivum Romanicum. 1933. Vol. 17. N 4.
25. *Biadego G.* Propugnatore. 1893. VI. 7.
26. *Boccaccio G.* Le lettere édite et inédite // Ed. F. Corazzini. Firenze, 1877.

27. *Boccaccio G.* Vita di Dante / Ed. Le Monnier. Firenze, 1863.
28. *Boccaccio-Funde* / Ed. O. Hecker. Braunschweig, 1902.
29. *Boissier G.* A propos d'un mot latin: comment les Romains ont connu l'Humanité // Revue de deux mondes. 1906. T. 36.
30. *Bogni G.* Dell'origine delle terre ad essa soggette, e degli uomini illustri della città di Trevigi // Supplementi al Giornale di letterati d'Italia T. 2. Venezia, 1772.
31. *Bonamici Ph.* De claris pontificarum epistolarum scriptoribus. Romae, 1753.
32. *Borsa N.* Pier Candido Decembri e l'umanesimo in Lombardia // Archivio storico lombardo. 1893. Ser. 2. Vol. 10.
33. *Borsetti F.* Historia almi ferrariae gymnasii. Ferrariae, 1735. 2 vol.
34. *Brandi K.* Das Werden der Renaissance. Göttingen, 1910.
35. *Bruni Aretino L.* Epistolarum libri VIII // Ed. L. Mehus. Florentiae, 1741. 2 vol.
36. *Bruns C. G.* Die Testamente der griechischen Philosophen // Zeitschrift der Savigny-Stiftung. Romanistische Abth. Bd 1. 1880.
37. *Bruti G. M.* Philippi Callimachi vitae brevis descriptio // Rerum hungaricarum scriptores varii. Francofurti, 1600.
38. *Buecheler F.* Anthologia latina sive poesis latinae supplementum. Pars posterior. Carmina epigraphica. Lipsiae, 1895—1897. 2 vol.
39. *Buonamico F.* Annali dell' Università Toscana. 1908. Vol. 28.
40. *Burchelati B.* Commentariorum memorabilium multiplicis hystoriae Tarvisinae locuples promptuarium libris quatuor distributum hystorico, antiquario, poetae, philosopho in primis autem christiano ac funebrium studioso, iudicandum atque utile. Tarvisii, 1616.
41. *Burchelati B.* Epitaphiorum dialogi septem. Ad illustriorem Tarvisii civiumque memoriam. Venetiis, 1583.
42. *Burckhardt J.* Cicerone. Leipzig, 1900.
43. *Burckhardt J.* Geschichte der Renaissance in Italien. 7 Aufl. Esslingen, 1924.
44. *Burdach K.* Vom Mittelalter zur Reformation. Berlin, 1917.
45. *Buresch C.* Consolationum a Graecis Romanisque scriptarum historia critica // Leipziger Studien. 1886. Bd 9. H. 1.
46. *Bürger F.* Geschichte des florentinischen Grabmals von der ältesten Zeiten bis Michelangelo. Strassburg, 1904.
47. *Burman P.* Anthologia veterum latinorum epigrammatum et poematum. Amsterdam, 1759—1773. 2 vol.
48. *Caetani-Lovatelli E.* Thanatos. Roma, 1888.
49. *Cagnat R.* Cours d'épigraphie latine. 2 éd. Paris, 1889.
50. *Calogera A.* (ed.). Raccolta d'opuscoli scientifici e filologici. Vol. 25. Venezia, 1741.
51. *Campanus G. A.* Opera. Romae, 1495.
- 51a. *Canonherius P. A.* Flores illustrium epitaphiorum Antwerpen, 1613.
52. *Cappelletti G.* Le chiese d'Italia. Venezia. Venezia, 1844—1871. 21 vol.
53. *Carducci G.* Epigrafi, epigrafisti, epigrafai // Cronaca bizantina. 1881.
54. *Carducci G.* La gioventù di Lodovico Ariosto // Opere. 2 ed. Bologna, 1905.
55. *Carducci G.* Opere. Bologna, 1902.
56. *Carmina.* Venetia, 1505.
57. *Carmina* ad Pasquillum posita. Roma / Impr. Romae per J. Mazochium // Romanae Academiae Bibliopolae. 1511.
58. *Carmina* illustrium poetarum Italarum / Ed. J. M. Toscanus. Lutetiae, 1576. 2 vol.
59. *Carmina* illustrium poetarum Italarum. Florentiae, 1719—1726. 11 vol.
60. *Carmina* quinque illustrium poetarum. Bergami, 1753.
61. *Carmina* selecta ex illustrioribus poetis sec. XV—XVI. Part. 1—2. Veronae, 1732.
62. *Casimiro F.* Memorie storiche della chiesa e convento di S. Maria in Araceli in Roma. Roma, 1736.

63. *Casio G.* Libro intitolato Cronica ove si tratta di epitaphi di amore e di virtute. Bologna, 1535.
64. *Cassirer E.* Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance. Leipzig, 1927.
65. *Cavicchi F.* Girolamo da Casio. 1464—1533 // Giornale storico della letteratura italiana. 1915. Vol. 66.
66. *Cholodniak J.* Carmina sepulcralia latina epigraphica // Записки Историко-филологического факультета С.-Петербургского университета. СПб., 1904. Ч. 74.
67. *Chytraeus N.* Variorum in Europa itinerum deliciae seu ex variis manuscriptis selectiora tantum inscriptionum maxime recentium monumenta. Herbornae Nassoviorum, 1594.
68. *Ciaconius A.* Vitae et res gestae pontificum romanorum, Romae, 1677. 4 vol.
69. *Ciampi I.* Della vita e delle opere di Pietro Della Valle il Pellegrino. Roma, 1880.
70. *Cian V.* Nuovi documenti su Pietro Pomponazzi. Venezia, 1887.
71. *Cian V.* Le Rime di Bartholomeo Cavassico, notaio bellunese. Bologna, 1893.
72. *Cian V.* Un umanista bergamaseo del Rinascimento G. Calfurnio // Archivio storico lombardo. 1910. Ser. 4. Vol. 14.
73. *Cicogna E. A.* Delle iscrizioni veneziane, raccolte ed illustrate. Venezia, 1824—1853. 6 vol.
74. *Cipolla C.* Historia rerum in Italia gestarum Ferreti Vicentini. Vol. 1 // Fonti per la storia d'Italia. 1908. N 42.
75. *Cipolla C.* Studi su Ferreto dei Ferreti // Giornale storico della letteratura italiana. 1885. Vol. 6.
76. *Cittadella L. N.* I Guarini famiglia nobile ferrarese, oriunda di Verona. Bologna, 1870.
77. *Clarac F.* Musée de sculpture antique et moderne. Paris, 1841.
78. *Codro Urceo A.* Codri orationes sive sermones. Bononiae, 1502.
79. *Colocci.* Antichità Picene. Fermo, 1742.
80. *Coppi G. V.* Annali, memorie ed uomini illustri di San Gimignano. Firenze, 1695.
81. *Corio B.* Dell' Historie Milanese. Padova, 1646.
82. *Corpus Inscriptionum Latinarum* / Ed. Th. Mommsen et al. Berolini, 1863 sqq.
83. *Croce B.* I carmi e le epistole dell'umanista Elisio Calenzio // Archivio storico per le provincie napoletane. 1933. N. S. Anno 19(58).
84. *Crusius M.* Turcograeciae. Basileae, 1584.
85. *Cugnoni J.* Aeneae Sylvii Piccolomini Senensis... opera inedita // Atti della r. Accademia dei Lincei. Memorie di classe di scienze morali. 1883. Ser. 3. Vol. 8.
86. *Dati L.* Epistolae / Ed. L. Mehus. Firenze, 1743
87. *Davidsohn R.* Geschichte von Florenz. Berlin, 1896—1927. Bd 1—4.
88. *De Rossi G. B.* Delle antiche raccolte d'iscrizioni in relazione specialmente con la storia critica degli studi epigrafici e con le loro fonti // Archivio della Società romana di storia patria. 1887. Vol. 10.
89. *De Rossi G. B.* Inscriptiones christianae. Romae, 1888.
90. *De Rossi G. B.* Le prime raccolte d'antiche iscrizioni compilate in Roma tra il finir de secolo XIV ed il cominciar del XV // Giornale Arcadico. Roma, 1852.
91. *Dehio G.* Zur Geschichte der Buchstabenform in der Renaissance // Repertorium für Kunstwissenschaft. 1881. Bd 4.
92. *Del Balzo C.* Poesie di mille autori intorno a Dante Alighieri. Roma, 1889. Vol. 1.
93. *Del Lungo I.* Prose volgari inedite e poesie latine e greche di A. Poliziano. Firenze, 1867.
94. *Del Lungo I.* Le vicende di un'impostura erudita // Archivio storico italiano. 1920. T. 78.

95. *Delitiae* CC Itolorum poetarum. Frankforti, 1608.
96. *Della Torre* A. Paolo Marsi da Pescina. Rocca S. Casciano, 1903.
97. *Dessau* H. Lateinische Epigraphik. Einleitung in die Altertumswissenschaft. Leipzig; Berlin, 1925.
98. *Diehl* E. Inscriptiones latinae christianae veteres. Berlin, 1924.
99. *Ditt* E. Pier Candido Decembrio // Memorie del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere. 1931. Ser. 3. Vol. 15 (24).
100. *Doren* A. Fortuna im Mittelalter und in der Renaissance // Vorträge der Bibliothek Warburg. 1922—1923. Teil 1. Leipzig, 1924.
101. *Du Breul* J. Antiquités et choses plus remarquables de Paris. Paris, 1608.
102. *Du Cange* Ch. Glossarium mediae et infimae latinitatis. Parisiis 1883—1887. 10 vol.
103. *Dümmler* E. Gedichte aus dem elften Jahrhundert // Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. 1876. Bd 1.
104. *Enciclopedia italiana*... Milano; Roma, 1929—1937. 35 vol.
105. *Engström* E. Carmina latina epigraphica. Post editam collectionem Buechlerianam in lucem prolatam. Gotoburg; Lipsiae, 1912.
106. *Ephemeris* Epigraphica // Corpus Inscriptionum Latinarum. Venetiis, 1872—1913. 9 vol.
107. *Epigrammata* poetarum multorum in obitum Alexandri pueri Senensis. Roma, ca 1477.
108. *Fabricius* I. A. Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis. Florentiae, 1858. 6 vol.
109. *Fabroni* A. Historiae Academiae Pisanae. Pisa, 1791.
110. *Falcone* P. Lodovico Pontano e la sua attività al Concilio di Basilea. Spoleto, 1934.
111. *Fantuzzi* G. Notizie degli scrittori bolognese. Bologna, 1781—1794. 9 vol.
112. *Ficinus* M. Theologia platonica. . . Florentiae, 1482.
113. *Filangieri di Candida* R. Tempietto di Giovano Pontano in Napoli // Atti della Accademia Pontaniana. 1926. Ser. 2. Vol. 31 (56).
114. *Fiocco* G. Felice Feliciano amico degli artisti // Archivio veneto-tridentino. 1926. Vol. 9. N 17/18.
115. *Fiorentino* F. Pietro Pompanazzi. Firenze, 1868.
116. *Firmin-Didot* A. Alde Manuce. Paris, 1875.
117. *Fonte* B. Carmina / Ed. J. Vogel et L. Juhasz. Lipsiae, 1932.
118. *Forcella* V. Inscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri. Roma, 1869—1884. 14 vol.
119. *Fracassetti* G. In epistolas Francisci Petrarcae de rebus familiaribus et variis ad notationes. Fermo, 1890.
120. *Fracastoro* G. Opera omnia. Venetiis, 1574.
121. *Fueter* E. Geschichte der neueren Historiographie. 2. Aufl München, 1925.
122. *Galeotti* L. Saggio intorno alla vita ed agli scritti di Marsilio Ficino // Archivio storico italiano. 1859. N. S. T. 9. Part. 2.
123. *Galletier* E. Etude sur la poésie funéraire romain d'après les inscriptions. Paris, 1922.
124. *Gaurico* P. Liber elegiarum. Venezia, 1526.
125. *Geffcken* J. Stimmen der Griechen am Grabe. Hamburg, 1898.
126. *Gentile* G. G. Bruno e il pensiero del Rinascimento. 2 ed. Firenze, 1925.
127. *Gentile* G. Il concetto dell'uomo nel Rinascimento // Giornale storico della letteratura italiana. 1916. Vol. 67.
128. *Georgius* D. Vita Nicolai Quinti, pontificis maximi. Romae, 1742.
129. Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd 1—2. Leipzig, 1925—1926.
130. *Gnoli* D. L'epitaffio e il monumento d'Imperia cortigiana // Nuova antologia. 1906. Fasc. 827.
131. *Gnoli* D. Messer Saturno // Nuova antologia di lettere, scienze ed arti. 1894. Vol. 51.

132. *Gothein E.* Die Kulturentwicklung Süd-Italiens. Breslau, 1886.
133. *Graevius I. G.* Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae. Lugduni Batavorum, 1723.
134. *Graf A.* Roma nella memoria e nelle immaginazioni del medio evo. Torino, 1882—1883. 2 vol.
135. *Gregorovius F.* Grabmäler der römischen Päpste. Leipzig, 1857.
136. *Gruterrus I.* Inscriptiones antiquae totius orbis Romani. Heidelberg, 1602—1603. Pt. 1—4.
137. *Guidotti P.* Un amico del Petrarca e del Boccaccio. Zanobi da Strada, poeta laureato // Archivio storico italiano. 1930. Ser. 7. Vol. 13. N. 2.
138. *Gyraldi L. G.* De poetis nostrorum temporum / Hrsg. von K. Wotke. Berlin, 1894.
139. *Gyraldi L. G.* Opera. T. 1—2. Lugdunum Batavorum, 1696.
- 139a. *Hain L.* Repertorium bibliographicum... Stuttgartiae, 1826—1838. 2 vol. in 4 part.
140. *Hardt H. von der.* Constantiense Concilium. Francofurti, 1700.
141. *Haskins Ch. H.* Studies in the history of medieval science. Cambridge, 1924.
142. *Heyfelder E.* Die Ausdrücke "Renaissance" und "Humanismus" // Deutsche Literaturzeitung. 1913. Jg. 34. N. 36.
143. *Hill G. F.* A lost medal by Pisanello // Pantheon, 1931. N. 12.
144. *Hody U.* De Graecis illustribus... Londini. 1742.
145. *Huizinga J.* Herbst des Mittelalters. 2. Ausg. München, 1928.
146. *Inscriptiones christianae urbis Romae septimo saeculo antiquiores* / Ed. A. Silvani. Romae, 1922.
147. *Jacoby E.* Fonti retoriche delle consolazioni di Seneca a Marcia e a Polibio // Reale istituto lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. 1931. Ser. 2. Vol. 64. Fasc. 6—10.
148. *Jacoby E.* Intorno alla "consolatio ad Marcia", ed alla "consolatio ad Polibium" di Seneca // Reale istituto lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. 1931. Ser. 2. Vol. 64. Fasc. 1—5.
149. *Jovius Paulus, Novocomensis.* Elogia doctorum virorum. Antverpiae, 1557.
150. *Khomentovskaia A.* La famiglia Della Valle nella storia dell'epigrafia umanistica // Archivio della Società romana di storia patria. 1935. N. S. Vol. 1 (58).
151. *Khomentovskaia A.* Felice Feliciano da Verona, comme l'auteur de l'Hypnerotomachia Polifili // Bibliofilia. 1935. Vol. 37. Dispense 4—5; 1936. Vol. 38. Dispense 1/2, 3/4.
152. *Koht H.* Le problème des origines de la Renaissance // Revue de synthèse historique. 1924. T. 37. N. 109/111.
153. *Kristeller P.* Andrea Mantegna. London, 1901.
154. *Labbé Ph.* Thesaurus epitaphiorum. Parisiis, 1686.
155. *Lamio J.* Catalogus codicum manuscriptorum qui in Bibliotheca riccardiana... Liburni, 1756.
156. *Lanciani R.* Storia degli scavi di Roma e notizie intorno alle collezioni romane di antichità. Roma, 1902. 2 vol.
157. *Lapo da Castiglionchio.* Super excellencia et dignitate curie Romane. 1438 / Ed. R. Scholz // Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken. 1913. Bd 16. I.
158. *Lascaris J.* Epigrammata. Parisiis, 1544.
159. *Laue M.* Ferreto von Vicenza, seine Dichtungen und sein Geschichtswerk. Halle, 1884.
160. *Laurenza V.* Il Panormita a Napoli // Atti dell'Accademia Pontaniana. Sor. 2. Vol. 17 (42). N. 8. Napoli, 1912.
161. *Legrand E. L. J.* Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en grecs au XV^e et XVI^e siècles. Paris, 1885.
162. *Lier B.* Topica carminum sepulcralium latinorum // Philologus. N. F. 1903. Bd 16; 1904. Bd 17.

163. *Livi R.* // Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie modenesi. 1916. Ser. 5. Vol. 2.
164. *Longolius Ch.* Epistolarum. Basileae, 1580
165. *Luca della Robbia.* Recitazione del caso di Pietro Paolo Boscoli e di Agostino Capponi. 1513 // Archivio storico italiano. 1842. T. 1.
166. *Luccia P. M. de.* L'Abbadia di S. Giovanni a Piro. Roma, 1700.
167. *Luzio A., Renier R.* I Filelfo e l'umanismo alla corte dei Gonzaga // Giornale storico della letteratura italiana. 1890. Vol. 16.
168. *Mabillon J.* Museum Italicum. Paris, 1687. 2 vol.
169. *Maffei S.* Verona illustrata. Verona, 1731. Vol. 2.
170. *Male E.* L'art français de la fin du Moyen Âge. L'idée de la mort et de la danse macabre // Revue de deux mondes. V Periode. 1906. T. 32.
171. *Mancini G.* Vita di Leon Battista Alberti. 2 ed. Firenze, 1911.
172. *Mancini G.* Vita di Lorenzo Valla. Firenze, 1891.
173. *Manilius M.* Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. Bd. 1—3. München, 1911—1931.
174. *Marchesi C.* Bartolomeo della Fonte. Catania, 1900.
175. *Martin A. von.* Soziologie der Renaissance. Zur Physiognomik und Rhytmik der bürgerlichen Kultur. Stuttgart, 1932.
176. *Masucci G.* Gioviano Pontano e i suoi "Tumuli" // Atti della Accademia Pontaniana. 1911. Vol. 41. Memoria N 7.
177. *Matthiae de Miechow.* Chronicae Polonorum. Suppl. 1. Scriptorum rerum polonicarum. Cracoviae, 1874.
178. *Mayer E. W.* Machiavellis Geschichtsauffassung und sein Begriff «virtù». München; Berlin, 1912 (Historische Bibliothek, 31).
179. *Mazzuchelli G. M.* Scrittori d'Italia. T. 1—2. Brescia, 1753—1763.
180. *Mercati G.* Miscelanea di note storico-critiche // Studi e documenti di storia e diritto. 1894.
181. *Mercati G.* Per la cronologia della vita e degli scritti di Niccolò Perrotti // Studi e testi. 1925. T. 44.
182. *Meyer H.* Anthologia veterum Latinorum epigrammatum. Leipzig, 1835.
183. *Michaelis A. Th. F.* Romische Skizzenbücher Marten van Heemskercks und anderer nordischer Künstler des XVI Jahrhunderts // Jahrbuc. des K. Deutschen Archäologischen Institut. 1891. Bd 6.
184. *Michelangelo Buonarroti.* Rime / Ed. C. Frey. Berlin, 1897.
185. *Migliore F. L.* del. Firenze, città nobilissima illustrata. Firenze, 1684.
186. *Minasi G.* L'antica poesia sepolcrale latina. Roma, 1920.
187. *Misch G.* Geschichte der Autobiographie. Leipzig; Berlin, 1907. Bd 1.
188. *Misson F. M.* Nouveau voyage en Italie. La Haye, 1702. 3 vol.
189. *Moreni D.* Notizie istoriche dei contorni di Firenze. Firenze, 1791—1795. 6 vol.
190. *Morici M.* Dove e morte l'umanista Fav. Camerte? // Archivio marchigiano. 1903. N. S. Vol. 2. N 1.
191. *Morsolin B.* Gian Giorgio Trissino. 2 ed. Firenze, 1894.
192. *Müntz E.* Les arts à la cour des papes. Paris, 1878. 3 vol.
193. *Muntz E.* Histoire de l'art pendant la Renaissance. Paris, 1889—1895. 3 vol.
194. *Muratori L. A.* Novus Thesaurus veterum inscriptionum. Mediolani, 1740.
195. *Mussato A.* Historia Augusta Henrici VII. Caesaris et alia quae extant opera. Venetiis, 1635.
196. *Naugerii A.* Opera omnia. Patavii, 1718.
197. *Niebuhr B. G.* Vorträge über römische Altertümer. Berlin, 1858.
198. *Hiphus A.* De immortalitate animae adversus Petrum Pomponatium. Venetiis, 1518.
199. *ivogura B.* Scritti inediti e rari di B. Flavio // Studi e testi. 1927. 48.
200. *Notices et extraits des ms. de la Bibliothèque Nationale.* 35. Paris, 1895.

201. *Novati F.* Bartolomeo della Copra ed i primi suoi passi in corte di Roma // Archivio storico lombardo. 1903. Ser. 3. Vol. 19.
202. *Novati F.* L'influsso del pensiero latino sulla civiltà italiana del medio evo. 2 ed. Milano, 1899.
203. *Novati F., Lafaye G.* Le manuscrit de Lyon N°C // Mélanges. d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome. 1892. Année 12. Fasc. 1/2.
204. *Novati F.* Nuovi studi su Albertino Mussato // Giornale storico della letteratura italiana. 1886. Vol. 7.
205. *Novati F.* Scritti storici in memoria di G. Monticoli, Padova, 1922.
206. *Novati F.* Sedici lettere inedite di M. G. Vida, vescovo d'Alba // Archivio storico lombardo. Ser. 3. Vol. 10. 1898. Vol. 11. 1899.
207. *Oligiati F.* L'anima dell'umanesimo e del rinascimento. Milano, 1924.
208. *Olschki L.* Die neusprachliche wissenschaftliche Literatur. Bd. 1—3. Leipzig; Florenz, 1919—1927.
- 208a. *Omont H.* Journal autobiographique du cardinal Jérôme Aléandre (1480—1530). Paris, 1895.
209. *Orti Manara G.* G. Cenni storici e documenti che riguardano Cangrande I della Scala. Verona, 1853.
210. *Ozanam A. F.* Documents inédits pour servir a l'histoire litteraire de l'Italie. Paris, 1850.
211. *Pagnotti F.* La vita di Niccolo V scritta da Giannozzo Manetti // Archivio della Societa romana di storia patria. 1891. Vol. 14.
212. *Pais A.* Degli epicedii latini // Rivista di filologia. 1889.
213. *Palearius A.* De immortalitate animae. Lugduni, 1536.
214. *Palermo G. G.* Guida spirituale di Acona. Ancona, 1932.
215. *Panciroli G.* De Claris legum interpretibus. Lipsiae, 1721.
216. *Pannonii J.* Poemata quae uspiam reperiri potuerunt omnia. Traiecti ad Rhenum. 1784. 2 vol.
217. *Pansa G.* Quadrario di Sulmona (1336—1402). Contributo alla storia dell'umanesimo. Sulmona, 1912.
218. *Paoli (Le P. Sebastiano).* Disguiszione istorica della patria e compendio dela vita di Giacomo Ammanati Piccolomini. Lucca, 1712.
219. *Pascal C.* Le credenze d'oltretomba. 2 ed. T. 1—2. Torino, 1923.
220. *Pastor L.* Geschichte der Pápste. 3 und 4 Aufl. Bd 1—4. Freiburg, 1899—1906.
221. *Petetta F.* Di una raccolta di componimenti e di una medaglia in memoria d'Alessandro Cinuzzi // Bullettino senese di storia patria. 1899. Anno 6.
222. *Patetta F.* L'epitaffio di Burgundio Pisano // Studi storici e giuridici dedicati a F. Ciccaglione. Catania. 1909.
- 222a. *Pellechet M. L. C.* Catalogue general des incunables des bibliothèques publiques de France. Paris, 1897—1909. 3 vol.
223. *Percopo E.* Pomponio Gaurico, umanista napoletano. Napoli, 1894.
224. *Pintor F.* Per la data della morte di Cristoforo Landino // Bulletino della Società dantesca italiana. 190. N. S. T. 7.
225. *Piper F.* Mythologie und Symbolik der christlichen Kunst. Weimar, 1847—1851. Bd 1—2.
226. *Pius II.* Briefwechsel von Aeneas Silvius Piccolomini /Hrsg. von R. Wolkan. Wien, 1909. Abt. I. (Fontes rerum austriacarum. 1909. Bd 61).
227. *Pius II.* Pii Secundi, pontificis maximi, Commentarii rerum memorabilium. . . Francofurti, 1614.
228. *Platina B.* De vitis pontificum romanorum. Venetia, 1518.
229. *Poccianti M.* Catalogue scriptorum Florentinorum. Florentiae, 1589.
230. *Poetae tres elegantissimi.* Michael Marulus, Hieronymus Angerianus, Joannes Secundus. Parisii, 1582.
231. *Polentone (Siccone).* Sicconis Polentoni scriptorum illustrium latinae linguae. Romae, 1928.
232. *Poliziano A.* Prose volgari inedite e poesie latine e greche edite, raccolte e illustrate da I. Del Lungo. Firenze, 1867.

233. *Pomponatius P.* De immortalitate animae. Bononiae, 1516.
234. *Pontani I. I.* Carmina. A cura di B. Soldati. Firenze, 1901—1902. Vol. 1—2.
235. *Raggi O., Tosi F. M.* Monumenti sepolcrali cretti in Roma. Roma, 1844.
236. *Ragnisco P.* Nicoletto Vernia. Venezia, 1891.
237. *Rehm W.* Der Todesgedanke in der deutschen Dichtung vom Mittelalter bis zur Romantik. Halle am Saale, 1928.
238. *Reitzenstein R.* Werden und Wesen der Humanität im Altertum. Strassburg, 1907.
239. *Rerum italicarum scriptores.* Mediolani, 1723—1751. 25 vol.
240. *Rerum italicarum scriptores.* Florentiac, 1748—1770. 2 vol.
241. *Rerum italicarum scriptores.* Citta di Castello, 1904.
242. *Richa G.* Notizie storiche della chiese fiorentine. Firenze, 1754—1762. 10 vol.
243. *Ridolfi R.* La visita del Savonarola al Magnifico morente a la leggenda della negata assoluzione // Archivio storico italiano. 1928. Ser. 3. Vol. 10.
244. *Ridolfi R.* Studi savonaroliani. Firenze, 1935.
245. *Rizzi F.* Macrobio e Biagio Pelacane // Aurea. 1932. T. 16. 3—4.
246. *Rizzo T. L.* Poesia sepolcrale in Italia, Perella, Napoli, Genova, Citta di Castello // Bibliotheca della Rassegna, 1927. T. 11.
247. *Rohde E.* Psyche. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. Tübingen, 1925.
248. *Romano M.* I tumulorum libri di G. Pontano // Rivista abruzzese. 1901.
249. *Ronca U.* Cultura medioevale e poesia latina d'Italia nei secoli XI e XII. Roma, 1892. 2 vol.
250. *Roscoe W.* The life and pontificate of Leo the Tenth. 5th ed. London, 1846.
251. *Roscoe W.* Vita e pontificato di Leone X. Milano, 1816.
252. *Roth C.* L'ultima repubblica fiorentina. Firenze, 1929.
253. *Ruggiero G. de.* Storia della filosofia. Parte terza. Rinascimento, Riforma e contririforma. Bari, 1930.
254. *Sadoletto J.* Epistolae. Vol. 1—2. Roma, 1754.
255. *Salomonius J.* Urbis Patavinae Inscriptiones. Patavii, 1701.
256. *Salutati C.* Epistolario. A cura di F. Novati. Roma, 1891—1911. 4 vol.
257. *Sanazzarius J.* Opera omnia. Romae, 1590.
258. *Sansovino F.* Venetia città nobilissima. Venetia. 1663.
259. *Sant'Ambrogio D.* La tomba nella cattedrale di Basilea // Archivio storico lombardo. 1897. Ser. 3. Vol. 7.
260. *Sanuto M.* Diarii. Venezia, 1903. 58 vol.
261. *Sarton G.* Introduction to the history of science. Baltimore, 1931.
262. *Sarton G.* Science in the Renaissance // The Civilization of the Renaissance. Chicago, 1929.
263. *Sathas C. N.* Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au Moyen Age. Paris, 1885.
264. *Scaliger I. I.* Confutatio fabulae Burdonum // Opuscula varia. Francofurti, 1612.
265. *Scaliger I. C.* Poetices libri septem. Genevae, 1561.
266. *Scardeone B.* Historiae de urbis Patavii antiquitate, et claris civibus Patavinis. Appendix: De sepulchris insignibus exteriorum Patavii jacentium. Graevius, 1722.
267. *Schantz O.* De incerti poetae "Consolationes ad Liviam" deque carminum consolatoriorum apud Graecos et Romanos historia. Marburgi, 1899.
268. *Schlosser J.* Die Kunstliteratur. Wien, 1924.
269. *Schottus F., Hieronymus ex Capugnano F.* Itinerarium nobiliorum regionum, urbium, oppidorum et locorum. Vicentiae, 1601.
270. *Schrader L.* Monumentorum Italiae libri quatuor. Helmaestadii, 1592.

271. *Schubring P.* Das italienische Grabmal der Frührenaissance. Berlin, 1904.
272. *Sepulchral monuments of Italy Medieval and Renaissance / Publ. by the Arundel society.* London, 1883.
273. *Serena A.* La cultura umanistica a Treviso nel secolo XV // *Miscellanea di storia Venetia.* 1912. Ser. 3. T. 3.
274. *Sforza G.* La patria, la famiglia e la giovinezza di papa Niccolò V. Lucca, 1884.
275. *Sighinolfi L.* La biblioteca di Giovanni Marcanova // *Collectanea variae doctrinae.* Festschrift für L. Olschki. München, 1921.
276. *Signorelli G.* Le cardinal Egidio da Viterbo. 1469—1532. Firenze, 1929.
277. *Simar Th.* Christophe de Longueil. Louvain, 1911.
278. *Skutsch F.* Consolatio // *Paulys Real-Encyclopadie der classischen Altertumswissenschaft / Hrsg. von G. Wissowa.* Stuttgart, 1900. Bd 4.
279. *Smith L.* Note chronologiche Vergeriane // *Archivio veneto-tridentino.* 1926. Vol. 10.
280. *Smith L.* Note cronologiche Vergeriane // *Archivio veneto.* 1928. Ser. 5. Anno 58. Vol. 4.
281. *Sombart W.* Der Bourgeois. Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen. München; Leipzig, 1913.
282. *Sombart W.* Der moderne Kapitalismus. 2 Aufl. München, 1916. Bd 1.
283. *Statuta almae urbis Romae.* Roma. 1580. Appendice. 1590.
284. *Stückelberg E. A.* Die mittelalterlichen Grabdenkmäler des Basler Münsters. Basel, 1896.
285. *Sutter C.* Aus Leben und Schriften der Magisters Boncompagno. Freiburg in Breisgau, 1894.
286. *Sweertius F.* Selectae christiani orbis deliciae ex urbibus, templis, bibliothecis et aliunde. Coloniae Agrippinae, 1608.
287. *Symonds J. A.* The Renaissance in Italy. London, 1877.
288. *Symonds J. A.* Sketches and studies in Italy and Greece. Ser. I. New ed. London, 1907.
289. *Tacchi Venturi P.* Storia della Compagnia di Gesù in Italia narrata col sussidio di fonti inediti. Vol. 1. Pt. 1—2. Roma, 1931 // *La Civiltà Cattolica.* 1930. Anno 81. Vol. 2.
290. *Theiner A.* Codex diplomaticus. Romae, 1861—1862. 3 vol.
291. *Thorndike L.* Science and thought in the fifteenth century. New York, 1929.
292. *Tiraboschi G.* Storia della letteratura italiana. Modena, 1787—1794. 11 vol.
293. *Tiraboschi G.* Storia della letteratura italiana. Firenze, 1805—1812. 9 vol.
294. *Toffanin G.* Che cosa fu l'umanesimo. Firenze, 1929.
295. *Tolman J. A.* Study of the sepulchral inscriptions in Buechelers Carmina epigraphica latina. Chicago, 1910.
296. *Traversari A.* Epistolae. Accedit ejusdem Ambrosii vita a L. Mehus. Firenze, 1759.
297. *Tuminello G.* Giano Vitale umanista del secolo XVI // *Archivio storico siciliano.* N. S. T. 8. Palermo, 1883.
298. *Ughelli F.* Italia sacra sive de episcopis Italiae et insularum adiacentium, rebusque ab iis praeclare gestis... Ed. 2. Venetiis, 1717—1722. 10 vol.
299. *Valerianus I. P.* De literatorum infelicitate. Amstelodami, 1647.
300. *Valla L.* Opera. Basileae. 1540.
301. *Vasari G.* Le vite dei più eccellenti pittori, scultori ed architettori. Firenze, 1878. 9 vol.
302. *Vespasiano da Bisticci.* Vite di uomini illustri del secolo XV. Firenze, 1859.
303. *Vigo P.* Le Danse Macabre in Italia. Bergamo, 1901.
304. *Villani F.* Vite d'illustri fiorentini // *Chroniche di Giovanni Matteo et Filippo Villani.* Trieste, 1858.

305. *Vitali J. F.* Jani Francisci Vitalis Rubimontii Panormitani opera cura, studio et magnis sumptibus ex antiquis editionibusque undique conquisitis accuratissime descripta. Napoli, 1816.
306. *Vossler K.* Poetische Theorien in der italienischen Frührenaissance // *Litterarhistorische Forschungen.* 1900. N 12.
307. *Warburg A.* Gesammelte Schriften. Die Erneuer der heidnischen Antike. Bd. 1—2. Leipzig, 1932.
308. *Winckelmann J.* Storia dell'arti del disegno presso gli antichi. Milano, 1779.
- 308a. *Winterberg C.* Fra Luca Pacioli De Divina proportione: Die Lehre vom goldenen Schnitt. Nach der venezianischen Ausgabe von Jahre 1509 neu herausgegeben, übersetzt und erläutert von C. Winterberg. Wien, 1889.
309. *Wulf M. de.* Histoire de la philosophie médiévale. 5 éd. Louvain, 1924.
310. *Zabughin V.* Storia del Rinascimento cristiano. Milano, 1924.
311. *Zaccagnini G.* Storia dello studio di Bologna durante il Rinascimento. Geneve, 1930 (*Biblioteca dell'Archivium Romanicum*, 14).
312. *Zeno A.* Dissertazioni Vossiane. Venezia, 1752—1753. 2 vol.
313. *Zippel G.* Niccolo Niccoli. Contributo alla storia dell'umanesimo. Firenze, 1890.
314. *Альберти Л. Б.* Десять книг о зодчестве / Пер. В. Зубова. М., 1935.
315. *Буркгардт Я.* Культура Италии в эпоху Возрождения. СПб., 1904—1906. 2 т.
316. *Вазари Джорджо.* Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / Пер. А. И. Венедиктова и А. Г. Габричского; Под ред. А. Г. Габричского. Т. 4. М., 1970.
317. *Веселовский А. Н.* Боккаччо, его среда и сверстники. Т. 1—2. СПб., 1893—1894.
318. *Веселовский А. Н.* Вилла Альберти // *Собрание сочинений.* Т. 3. СПб., 1908.
319. *Гоголь Н. В.* Собрание сочинений. 12-е изд. СПб., 1894.
320. *Гуковский М. А.* К вопросу о сущности так называемого Возрождения // *Памяти К. Маркса. Сборник статей.* Л., 1933.
321. *Забугин В.* Юлий Помпоний Лет // *Историческое обозрение.* 1914. Т. 18.
322. *Люблинский В. С.* «Semideus» Катона Сакко. Неопубликованный трактат XV в. о военном искусстве // *Средневековье в рукописях Публичной библиотеки.* Вып. 2. Л., 1927.

А. И. Хоментовская

ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ

Вступление

Заканчиваю историю своей жизни в октябрьские — ноябрьские дни 1941 г. в Высшем Волочке, в почти пустом городишке, в доме с заколоченными окнами, снова оторванная от всех близких, под пролетающими германскими самолетами, в постоянном ожидании бомбежки, рядом с пожарищем Торжка, в то время как идут бои в соседней Твери-Калинине и когда решаются судьбы Москвы и Ленинграда. Людям моего поколения выпало на долю пережить четыре войны и три революции. Каждый из моих современников был участником великих трагедий мирового масштаба, почти каждый их пережил вместе с тем как личные трагедии. Недостаточно ли этого, чтобы судьбы тех, что были способны мыслить и что вынесли на своих плечах до конца общие испытания, могли притянуть на внимание хотя бы любителей мемуарной литературы и человеческих документов, к числу которых я принадлежала всегда? Предметом моего повествования будет история моей жизни, научной, профессиональной и общественной. Кульминационной ее точкой, согласно трудовому списку, является всего-навсего звание доцента по кафедре новой истории Петроградского университета от 1919 до 1923 г. Далее волею ГУСа — Государственного Ученого Совета — я превращаюсь официально в библиотекаря, по сути вещей — в Privatgelehrter'a.¹ В 1940/41 г. я скатываюсь еще ниже согласно табели о рангах и уже числюсь только преподавателем средней школы захолустного Вышнего Волочка. Официальным признанием заслуг хвалиться нельзя. Не всякому, однако, родиться в сорочке. Еще Демокрит объяснил, что характер человека — есть его судьба, ибо характер диктует выбор пути на роковых перекрестках, куда в сказке приезжает на своем коне Иван-царевич и видит надпись: «Поедешь направо — потеряешь коня, налево — погибнешь сам...». Мой выбор сохранил независимость научной мысли ценой отказа от званий и связанных с ними благ:

... дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный...²

На этом пути, вопреки всем препятствиям и утратам, я все-таки вытаскала свой 200-тысячный выигрыш. Работа о Феличе Феличано как авторе «Сна Полифила» и монография о «Гуманистической эпитафии» — если только последняя не погибнет со мной в рукописи — остаются моим вкладом в историю итальянского гуманизма. Большей чести для себя я не искала. История тернистых исканий, увенчавшихся этими работами, и есть история моей жизни; к этому в моем сознании сводится ее смысл: *non qui incepterit, sed qui*

perseveraverit...³ Отсюда мне хочется обозреть ее на всем протяжении, вплоть до скитаний последних лет, до скитаний «на дне».

Детство и школа

Год моего рождения— 1881-й— был годом убийства Александра II. Я родилась в г. Ростове Ярославской губернии, старшей в семье штабс-капитана артиллерии Ильи Ивановича Шестакова и его жены Людмилы Михайловны, урожденной Раевской. Мне не было 5 лет, когда отец перевелся вместе с выросшей семьей, — кроме меня, были еще брат и сестра, — в Петербург, где я училась и прожила без выезда всю свою жизнь до 1935 г.

Отец из помещицкой семьи Новгородской губернии молодым офицером участвовал добровольцем в Болгарской войне. В Петербурге он до 1898 г. служил в Артиллерийском управлении, затем был председателем Хозяйственного комитета в Арсенале, начальником склада огнестрельных припасов в 1906/07 г., позднее до 1912 г. — в чине генерала начальником крепостной артиллерии Петропавловской крепости, порога которой я потому не могла никогда перешагнуть, ни при его жизни, ни тогда, когда ее двери были открыты революцией. Последние годы отец служил в Вильне до смерти в 1915 г. Человек старого режима с головы до ног, властный, принципиальный, неподкупный, он требовал, чтобы все гнулось по его указке, согласное его правилами, снисходительными только для него. Мы, дети, мало его видели, а знали преимущественно его карающую десницу. В детстве меня кара не касалась, так как я не была капризна и училась хорошо. Терпели брат и сестра, плакала иногда мама, когда он кричал на нее. Мама эти оскорбления и слезы прощала их виновнику, а я нет, по глухому чувству протеста. По мере того, как давил авторитет отца, этот протест возрастал и становился сознательнее, превращаясь в основной камертон существования. В детстве это сказалось у меня замкнутостью, лет с 15 вылилось в ожесточенные споры и конфликты с отцом. Строгий к детям, отец смягчился к старости и к внукам относился с нежностью.

Мама была из совершенно другого теста. В противоположность эмоциональной и интеллектуальной примитивности отца она была способна интуитивно понимать и чувствовать все, но воля мужа была для нее законом. Она нуждалась в его твердой опоре и без нее не могла бы существовать. Младшая дочь протоиерея Михаила Федоровича Раевского, настоятеля посольской церкви в Вене, она там и родилась, и выросла, и там же получила домашнее образование, которое дало ей прекрасное знание четырех иностранных языков и литературы, а в математике ограничилось четырьмя действиями. Но она росла в среде и обстановке, культурно насыщенной разными веяниями, поскольку дом был центром славянофильства и привлекал как русских путешественников этого лагеря, так и «братушек» всей многоплеменной Австрии. Особенно были близки Раевские с Аксаковыми. К старухе Аксаковой, жене Сергея Тимофеевича, мама ездила в гости в Москву маленькой девочкой с бабушкой и привезла от нее на память сказки Пушкина с ее подписью, книгу, которую мы читали детьми. В маминной библиотеке рядом с Гете, Шиллером и Байроном были представлены и Хомяков, и Тютчев, и «Песни калек переходящих», и словарь Даля.

Уже после смерти матери я неоднократно встречала в литературе фамилию своего деда, человека волевого и энергичного. Он фигурирует в Барсуковской «Жизни Погодина» на венских сборищах славянофилов, так же как в мемуарах известного путешественника по Средней Азии Вамбери, отмечен в словаре Брокгауза—Эфрона, встречается в рукописной флорентийской переписке библиофила и большого барина И. Е. Бецкого 70-х годов.⁴ В Италии дед побывал около 70-х годов опять-таки вместе с той же дочкой, который было тогда лет 13. Вместе они видели Помпею, откуда привезли прекрасные сохранившиеся у меня акварели 40-х годов XIX в. с видом двориков, развалин и фресок.

Юность моей матери была еще счастливее. От деда, музыкально одаренного и страстного любителя музыки — в бытность в Петербурге в семи-

нарии он потихоньку оттуда удирал, чтобы послушать итальянскую оперу— Людмила Михайловна унаследовала, как нередко в среде духовенства, музыкальность и голос, меццо-сопрано исключительно красивого тембра. Ученица Маркези, она получила совсем молоденькое звание действительного члена Флорентийского филармонического общества— диплом до сих пор цел, как реликвия, а затем два сезона пела в Миланской La Scala. Антон Рубинштейн и Лист восхищались ее пением. Поражала она не силой голоса, а изумительным разнообразием лирических оттенков и драматизмом. При исполнении ею «Лесного царя» у слушателей пробегал мороз по спине. Пение ее преображало, ее большие черные глаза лучились вдохновением, она становилась прекрасна.

После замужества на сцену она не вернулась, в Петербурге только преподавала пение в Консерватории. Девочкой 7—8 лет я удивлялась, что мама предпочла семью театру, но в ответ на мои рассуждения она не пускалась в объяснения и никогда вслух не пожалела о своем выборе. Впрочем, женщине ее типа нужен был бы импрессарио, а мой отец ни сам не захотел бы им стать, ни допустить кого-нибудь к этой недостойной, по его мнению, роли. В результате образ мамы остался в моей памяти двойственным. На окружающую жизнь и людей она реагировала как дочь протоиерея и жена своего мужа и пугалась всех мыслей и выходов, в частности моих, вне рамок привычной идеологии. Вместе с тем интуитивно, по наитию художника она переоценила и переживала все то, чего никогда не поняла и не допустила логически. По причине той же двойственности на нее находили полосы угнетения, казалось бы, без видимых на то причин. Бессознательно она была выше своей среды и не могла ей удовлетвориться. Детей она любила с нежностью, они ей отвечали тем, же, но языка со мной она не нашла. Я жила в себе, тщательно и стыдливо скрывая свою внутреннюю жизнь, особенно сильные эмоции. В 7 лет я научилась читать и с тех пор свои досуги охотнее всего отдавала книгам. На десятом году у меня в руках были Жуковский, Пушкин и Лермонтов; так называемые детские книги у меня уже тогда переставали водиться.

В 10 лет я поступила в 1-й класс Annen-Schule, где преподавание велось на немецком языке. Пробыла там 8 лет и окончила ее весной 1899 г. Школу равным образом не могу помянуть добрым словом; она так же душила, как деспотизм отца, и донимала мелочностью, формализмом, бесмысленно беспощадной муштрой. Промокательная бумага в наших тетрадях должна была быть приклеена к обложке ленточкой, скрепленной облаткой. Когда я пробежала раз по классу во время перемены— мне было 11 лет— мне сбавили за поведение. В старших классах нотации стали только длительнее и нуднее; поводы к ним, например, забытый дома передник, осгавались столь же ничтожны. Дух нашей Mädchen-Schule⁵ сводился к идеалу трех «К», которые должны были сознательно ограничить женский кругозор: Kirche, Kinder, Küche⁶— все остальное от лукавого. Но училась я хорошо и без всякого труда, конфликтов не возникало, так как уже семья приучила насиловать себя и не высказываться. Вместе с тем уже лет с 10 я ощущала одинаково гнет семьи, школы и церкви, куда тоже водили насильно и где тоже приходилось томиться мертвенным обрядом, который отвращал не менее, чем уроки Закона Божия недалекого батюшки и вызывал ранние недоумения и сомнения— без какого бы то ни было постороннего воздействия или примера. Странное дело: был достаток, общее благополучие, нормальная семья, любящие родители, здоровье, была школа с хорошей репутацией, и все это было не то, и все было внутренне чуждо и враждебно. Почему-то мои глаза сами видели изнанку: угнетение низов, надругательство над человеческой личностью, грубость, потрясающую бедность и проституцию. Потрясающие уличные сцены, разговоры с прислужгой, товарищами, недомолвки взрослых, книги показывали и объясняли то, что тщательно скрывается от детей. Как будто это было вчера, я вижу перед собой, словно ярко освещенный отрезок кинофильма, тротуар Надеждинской улицы на солнечной стороне, где какой-то ражий паренъ тащит, как полено, полуживую, трясущуюся, ужасную старуху, не то пьяную, не то в лихорадке. И

меня тоже охватывает лихорадка, и я начинаю думать и думать над очередным уроком жизни. Клубок таких размышлений разматывается без конца.

Справедливость, однако, требует отметить, что школа дала кое-что и положительное: приличное знание трех иностранных языков, приобретенное без усилий. Французским и английским я овладела, конечно, не только благодаря школе, но также благодаря помощи дома и тому, что стала сразу самостоятельно на них читать, беря книги из библиотеки Семенникова, и этому же чтению, беспорядочному, но усиленному, я была обязана и общим развитием, весьма превышающим средний уровень моих товарок. В старших классах, впрочем, мы нашли трех хороших учителей: Викт. Андр. Геннинга, историка, живого, знающего, загоравшегося часто при рассказе, учителя немецкого языка Эггерса и учителя русского языка Александра Григорьевича Шалыгина. Эггерс очень меня взбудоражил в 6-м классе чтением драм Шиллера и Гете mit verteilten Rollen.⁷ Целыми часами мы читали «Орлеанскую деву» и «Дон Карлоса», «Геца фон Берлихинген» и т. д., причем отдельные роли поручались разным ученицам, преимущественно тем, кто читал хорошо. Я бредила стихами, эти чтения меня восхищали и волновали до самозабвения, как могли бы возбуждать выступления на сцене; они давали возможность под чужой личиной выражать вслух и со всей силой клокотание и напор чувств и эмоций, которые загонялись внутрь и не находили нигде и никогда нормального выхода: сказывалось наследство мамы. Шалыгин, друг поэта И. Анненского, человека большого образования и вкуса, но так же, как и тот, ушибленный чем-то, знал литературу не только русскую, но и европейскую. Он много поездил на своем веку, после отставки пожил в Риме, не был чужд искусству. Он давал на уроках хорошо обдуманный материал, но речью владел плохо, что называется, мямлил и как-то конфузился, хотя уже был совсем не молод. В классе его поэтому никто не слушал и не ценил, кроме меня. По окончании школы мы с ним встретились случайно в 1903 г. на курорте, и завязалось личное знакомство — он первый дал мне в руки Стендаля и указал «Пана» Кнута Гамсуна.

Кризис

Настоящий кризис я пережила еще в школе в возрасте от 15—17 лет. В это время отчетливо и окончательно оформился разрыв с семьей, школой, церковью, социальным окружением. В чем нашел выражение этот кризис? Тут были вечно лихорадочный пульс и искание одиночества, и бессонные ночи, и упорные размышления над проклятыми вопросами, извечными, как вопрос о Боге и бессмертии, и современными, как нищета. Был стыд за собственную праздность в деревне перед лицом того крестьянина, который в глухом углу Новгородской губернии в 1897 г. еще гнул передо мной шапку; была вражда к паразитической среде и категорический отказ, к огорчению матери — от балов, выходов к гостям и золотых украшений как следствие аскетической настроенности. Было выражение сомнений священнику на исповеди, а по окончании школы — отказ от причастия и посещения служб. Были попытки разобраться в течениях общественной жизни путем ежедневной читки газеты — по началу покушение с негодными средствами, так как в доме не читали ничего, кроме «Нового времени». Был дневник, где я стремилась и училась говорить своими словами. Были первые друзья, смятение исповеди, признания, долгие разговоры, оживленная переписка. На пороге шестнадцатилетия я нашла опору и питание в чтении русских критиков Белинского, Добролюбова, Писарева, позднее Герцена, с которым я познакомилась в старом подцензурном издании.

Новый толчок дали весенние студенческие беспорядки 1899 г., года окончания школы. Столкновение студентов с полицией, их заключение в манеже, сходки, забастовка, — все это воспринималось как взрыв какого-то плана. В апреле последовал арест и высылка в деревню Д. Н. Монастырского, двоюродного брата, студента университета, позднее профессора Ленинградского Политехнического института — первая репрессия среди друзей.

Под тем, что душило в детстве, отрочестве и юности, под троицей семьи, церкви и школы вырастал в сознании венчающий купол российского самодержавия как источник всякого угнетения. На пороге высшей школы я была настроена революционно.

С этого же возраста — мучительные размышления, какую избрать дорогу. Искания эти составляют основную драму следующих 10—12 лет. Обычные пути претили. «Выйти замуж» и так «устроиться», самый торный путь, — ничего не разрешало. Тягу к врачебной профессии, массовую в то время, я не разделяла по инстинктивному отвращению к анатомии и к необходимости сосредоточить внимание на болезнях, патологии. Педагогическое поприще нисколько не прельщало, ибо только что оконченная школа оставляла в общем мерзкую память, несмотря на некоторые исключения. Соблазняла по наследству мысль о сцене — драматической только, поскольку налицо была неспособность владеть голосом; этому противодействовал страх среды не по характеру и закулисных интриг. Резюме: пути нет, нет будущего — и ужасная тоска.

Высшая школа. Берлин. Геттинген

Оканчивая школу в 1899 г., — день своего окончания я тогда почитала счастливейшим, — я решила идти на Бестужевские курсы по физмату, наперекор вкусам к гуманитарным знаниям и подготовке. Почему такой выбор? Именно потому, что в этой области я ничего не знала. Математика в Appen-Schule ограничивалась арифметикой и планиметрией; по физике, физической географии и естествознанию мы были полными невеждами благодаря малейшему учителю Кольбе и невозможности изучать физику без знания элементарной математики. Кончив среднюю школу в столице, я ощущала себя дикарем, не понимавшим принципов устройства телеграфа и телефона, а стремление понимать все вокруг себя — вероятно, одно из основных заложенных в меня стремлений. Празда, чтение Реклю и знакомство с какой-нибудь Канто-Лапласовской теорией по популярной астрономической литературе горизонты раздвигали, но по-прежнему не хватало базы и системы. Грандиозные концепции астрономии и исторический ход ее развития поражали вместе с тем воображение и мне представлялось возможным специализироваться на ней. Кроме того, просачивались веяния писательницы с единой спасающей верой в точные науки. Наконец, я обладала достаточной самонадеянностью юности, чтобы кинуться в совершенно неизведанную пучину.

Пришлось грызть науки и притом впервые. В течение трех летних месяцев я прошла, но, конечно, кое-как, геометрию, алгебру и тригонометрию, работая целыми днями. Был у меня учитель-студент, но куда не годный: задач, к которым я не умела подступиться, не мог одолеть и он. Следить с осени на курсах за преподаванием было очень трудно — терялась нить. Вместе с тем я отвлекалась во все стороны: кроме математики и химии слушала и историков, и филологов, и философов А. И. Введенского и И. И. Лапшина, и геолога Мушкегова,⁸ великолепного лектора, читавшего для III курса, много времени пропадала в читальном зале за журналами. Несмотря на упорную работу, я к экзаменам не попыталась приступить и оставила себя на второй год. На втором курсе я тяжело заболела и проболела более двух лет. Петербургские врачи не могли поставить диагноза. Лассар в Берлине весной 1902 г. определил psoriasis. Около года до февраля 1903 г. я лечилась у него в клинике. Этот год научил многому.

По состоянию изоляции мне прежде всего доступны были книги. Чтение мое впервые стало систематическим. С места в карьер я набросилась на запрещенную литературу, ища откровений, глотала Кеннана и многочисленные труды иностранцев о России (Leroу Beauлиёu; Брандеса),⁹ а также все религиозно-анархические сочинения Л. Толстого, читала по женскому вопросу (Лили Браун, дневник Башкирцевой),¹⁰ а больше всего по марксизму, политэкономии, рабочему вопросу. Маркс сменялся Энгельсом, Бебе-

лем, Лассалем. Зомбартом, Бернштейном, Давидом и т. п. Помню, как удивлялся молодой врач-немец, видя на столе молодой девушки такие книги; он говорил, что у них студенты в круге чтения никогда не выходят за пределы специальности. Политика, мол, — удел старших; он с благоговением говорил о выступлении своего профессора в качестве национал-либерала. Некоторые указания по вопросам чтения я получила от старика-профессора А. И. Чупрова,¹¹ которого ко мне в клинику притащила его дочь Елена Александровна, по мужу позднее Неупомс, с которой мы тогда подружились, хотя она была старше меня лет на шесть. Сама она занималась в Берлинском университете зоологией.

На марксизме и смежных предметах я особенно сосредоточилась уже потому, что в предыдущие годы широко распространены были среди петербургской молодежи кружки по его изучению. Был период, когда в Берлине он меня увлек, но постепенно критическая мысль, мне свойственная, преодолела догматизм его философских и экономических основ; доводы ревизионистов и Е. де Роберти¹² мне импонировали больше, чем сердитые окрики ортодоксов. Но вместе с тем школа марксизма, через которую я тогда прошла, мне объяснила многое в жизни такого большого политического центра современности, как Берлин. Элементы политграмоты, которые общались к западной социально-политической жизни, ее пружинам, формам и партиям, черпались также из газет и журналов разных направлений. В моих руках ежедневно был «Vorwärts», регулярно приобреталась «Искра» и желтые тетради «Освобождения». Знакомая с именами и политическими злобами дня, я присутствовала уже сознательно на заседании рейхстага и на рабочем социал-демократическом митинге в предместье в среде русской студенческой молодежи и посмотрела всю поучительную mise-en-scene.¹³ Таких отдушин на родине не было; нелегальная литература давала вместе с тем больше знаний о России, чем можно было иметь на месте.

Наконец, Берлин знакомил с последними достижениями современной научной и художественно-музыкальной жизни. Я обошла все музеи и достопримечательности. Разве можно было сравнить Петербургский жалкий Зоологический сад с Берлинским садом или с Аквариумом, и даже наш Эрмитаж в отношении принципов экспозиции с Kaiser-Friedrich-Museum? Элементы исторического подхода к живописи приобретены впервые здесь и на выставках Sezession и др. Здесь же впервые я услышала волнующую музыку Вагнера.

Два года неподдающейся лечению болезни и год в клинике были вместе с тем первой жестокой школой воли. Перерыв в учебе, только что налаженной, оторванность от друзей и близких, от общества вообще, благодаря обезображенному лицу, одиночество и изгойство, борьба с болезнью и ее сомнительный исход, упадок сил и припадки отчаяния, соблазны жизни, все это в возрасте 20 лет дается нелегко, несмотря на все отвлекающие пластыри. Наконец, весной 1903 г. я стала поправляться.

Я вернулась на курсы. Новь была поднята, трудности преодолены, но удовольствия не было, и вина была не только на моей стороне. К экспериментально-лабораторной работе я не чувствовала влечения, а в области чистой математики физмат, несмотря на нескольких знающих и солидных ученых, был тогда лишен всякой связи с жизнью и всякой мысли, предлагая гимнастику для мозгов и алгебраическую схоластику, где вы изучали науки одну за другой, в виде бесконечных лент или рядов вытекающих друг из друга выкладок, не понимая, зачем они могут быть нужны и откуда что пошло. Я пыталась обнаружить эти связи чтением книг по истории и философии математики, но, предоставленная самой себе, не могла выбраться из дебрей, а вместе с тем не хотела отступать на полдороге и признавать себя побежденной; не позволяло самолюбие.

Казалось, что при поступлении в 1899 г. на курсы я должна была бы окрепнуть в оппозиционности, найти соответствующую среду. Студенческие беспорядки-сходки и забастовки возникали стихийно и в следующие годы по разным поводам, и теперь я в них была вовлечена сама. Но это участие не только не сблизило меня со студенческой крайней левой, но отдалило от нее после того, как я убедилась, что на сходках вожак добивают-

ся проведения своих резолюций quand t¹⁴ вопреки воле большинства. Листовки и прокламации, ходившие по рукам, обычно, увы, казались мне неумными и ходульными. Влево я не качнулась, но это не значит, чтобы я примирилась со своей средой и со старшими. Между нами оставалась тоже пропасть. Честность требовала ясности. Осенью 1904 г. я ушла из дому и поселилась в мебелированной комнате. Уход подготовлялся очень давно, был отсрочен болезнью, но дался мне все-таки трудно: та же болезнь показала привязанность ко мне родителей, особенно матери, отец приезжал ко мне в Берлин, надо было резать по живому мясу. Вместе с тем солидаризироваться с этой средой значило примириться со всем, что меня душило в старой России. Это было невозможно. На новой квартире я взяла урок, который обеспечивал мне прожиточный минимум.

Здесь я пережила 9-е января и с негодованием видела казаков, гарцующих на тротуарах Васильевского острова, как в завоеванном городе, а 11-го числа, идя по жутко пустынным улицам на урок по Невскому по направлению к Аничковому мосту, перебежала с одного тротуара на другой, уклоняясь от маневров скачущей гвардии.

В ту же зиму через Н. А. Рубакина¹⁵ я познакомилась с безалабернейшим меньшевистским издательством М. Малых,¹⁶ где работала в качестве переводчика. По моей инициативе издательством был издан мой перевод афейского «Искушения Св. Антония» Флобера,¹⁷ причем состязание с таким стилистом, как Флобер, было, без спору, более полезно для переводчицы, чем для читающей публики. У Малых я встречала молодых литераторов, вроде В. Башкина, а также вернувшихся из Парижа эмигрантов Финна-Енотаевского и Коллонтай,¹⁸ элегантной блондинки с высоко взбитой модной прической, которая кокетливо рассказывала о знакомстве с Гедом и Лафаргом, тогда как Финн-Енотаевский предсказывал, что кадеты, овладев властью, как версальцы, зальют Россию кровью, и всякий раз представлял хозяевам платить за своего извозчика.

В период октябрьской забастовки и позднее, среди митингов, демонстраций, прокламаций, лекций явочным порядком в частных домах, я пыталась разобраться в программах многочисленных выплывших на поверхность, как мыльные пузыри, политических партий: кадетов, октябристов, партии правого порядка, с.-р.-ов, с.-деков, н.-сов¹⁹ и т. д. Когда я сравнивала их проекты хотя бы по аграрному вопросу, я ни на одном не могла остановиться. Чтобы согласиться с выводами, мне надо было бы проверить исходные данные и выкладки, зарыться в книги и цифры — недаром меня еще коснулась математическая школа. Тогда меня это очень мучило и унижало в собственных глазах, осуждая на бездействие, одиночество и созерцание волнующих событий.

Курсы были закрыты по случаю забастовки, и поэтому летний семестр 1906 г. я решила прослушать в Геттингене, куда, как в Мекку, ездили все наши математики. Слушала там Ф. Клейна.²⁰ Подготовка моя, конечно, была недостаточна, с черчением на первых же порах я не справилась. Работала очень много, жила замкнуто, мало с кем общалась. Из Геттингена ездила в München к Чупровой-Неупомс, смотрела Франкфурт-на-Майне и прекрасный Кассельский парк, а также Рембрандта в Кассельской галерее. В Геттингене я как-то сдвинулась с академической мертвой точки, что сказалося в течение следующей зимы, когда я вернулась на курсы и сдала 17 экзаменов на «отлично» за третий и четвертый курсы, причем все предметы последнего курса постигала непосредственно перед испытаниями. В сентябре 1907 г. я была у финиша с дипломом.

Однако ни Геттинген, ни диплом пути к математике мне не открыли. Во всей массе сданных мной предметов я не нашла ни одного уголка, где мне представлялась бы возможность самой копнуть дальше. Я пробовала продолжать свчвать над теми же курсами, а также слушать в университете лекции акад. Стеклова,²¹ но живая вода и здесь на меня не брызнула. Голова была способна перемалывать и математику, но не двигать ее. В смысле применения знаний по окончании физмата я имела только частные уроки, меня тяготившие, занятия в рабочем клубе народнического толка, где была больше полезна организационной работой, чем преподавани-

ем, и технические переводы, которые давали хороший заработок — и только. Следующие несколько лет были потому самыми томительными в моей жизни. Я осталась «взыскующей града», несмотря на то, что преодолела столько барьеров и убила на это столько лет и столько труда. Было стыдно встречать знакомых, потому что на вопрос о том, что я делаю, не могла дать ответа, достойного себя. «Пути для тебя нет!» — был приговор одного из друзей. Другой говорил, что я ищу философский камень. Из тупика, казалось, выхода не было. Ошибки были непоправимы. Жизнь бессмысленна. . .

Выход на дорогу. Исфах

В те же самые годы я много помогала в работе своему мужу-адвокату, который выступал в ряде политических процессов на Кавказе, в Новороссийске, в Прибалтийском крае и т. д. Летом 1905 г. он по поручению товарищей путем допроса свидетелей и потерпевших производил общественное расследование армяно-татарской резни того же года в Нахичевани и уезде, на границе с Персией, так же как А. С. Зарудный²² ту же работу проработать нахичеванский материал и зимой 1907/08 г. много читала о Кавказе и по истории армян в Публичной библиотеке. К весне был написан очерк, но «Русское богатство» его не поместило, ссылаясь на цензурные препятствия. Таковые, конечно, были, но ученическим был и очерк, представляя собрание сырых фактов, не сведенных к единому синтезу. Ни руководства, ни школы, ни точки зрения у меня не было. Тем не менее в самом процессе сосредоточенной около одной темы работы в этом непрерывном расширении горизонта, где открываются все новые пункты, я нашла то удовлетворение, которого никогда не давала математика.

Так же сосредоточенно я стала в те же годы заниматься Стендалем, которого тогда для себя открыла; в предыдущие годы он до меня не доходил. В этих занятиях не было никакой цели, кроме того удовлетворения, которое они давали сами по себе и затягивались они тоже сами собой. Я прочитала и перечитывала все, что написал он сам (из того, что в эти годы было опубликовано), ознакомилась со многим из того, что писали о нем. Знакомство со Стендалем — эпоха в моей жизни. Он был для меня не просто писателем, а человеком, в интимный мир которого я вошла по принципу «Wahlverwandschaft»,²³ Вергилием, который мне повстречался в дремучем лесу, «nel mezzo del cammin di nostra vita»²⁴ у которого я училась его «науке о человеке». Он же, который в автэпиграфии пожелал назвать себя миланцем, мне открыл Италию с ее искусством и людьми.

Начинаются, также сперва ощупью, чтения по Италии. Порядка воспроизвести не могу, один автор сменяется другим, большинство конспектируется: идут Я. Бурггардт, Фойгт, Э. Мюнц, М. Корелли, Гаспари, И. Тэн, Муратов, А. Н. Веселовский, Г. Вельфлин и т. д.,²⁵ причем в центре остаются два последних. Рядом идут источники, первоначально в переводах и знакомство с мастерами по воспроизведениям. Кристаллизуется эпоха Возрождения, как фокус и кладезь, неисчерпаемый людьми, энергией, мыслью, красотой. На протяжении нескольких веков здесь творят историю, искусство, науку, причем словно с целью сознательного эксперимента пролагает путь всем мыслимым социально-политическим формам, искусство в поисках технических проблем перспективы, воспроизведения нагого человеческого тела, красок и т. д. пронизано духом научной пылкости, а в науке одним из формирующих элементов является эстетическое обаяние древности. На фоне этих штудий рождается мысль о новой специальности и другом факультете. Давно было сказано: «Ищите и обрящете». Призвание наконец определилось. Однако от первоначальной смутной тяги до определенно поставленной цели, до наложения на себя нового послушания проходят долгие месяцы, если не годы. Связывала крылья первая неудача, которая породила сомнения в себе. Да будет ли задача по плечу? Не бу-

дет ли и здесь фиаско? Отсюда долгие шатания. На историко-филологический факультет я поступила только в 1912 г.

Летом того же года я приняла участие в учительской заграничной экскурсии, организованной Московским экскурсионным центром, который работал несколько лет, вплоть до 1914 г. Заплатив 120 р. за железнодорожный проезд, питание (3 раза в день), стоимость внутригородского транспорта и оплату труда экскурсоводов, мы в числе 40—50 человек в течение месяца посетили Вену, Мюнхен, Париж и Берлин. От итальянских маршрутов я уклонилась впредь до того времени, когда буду чувствовать себя более подготовленной: мировой войны мы тогда, увы, не предвидели. Экскурсия не стесняла меня при посещении музеев, которые я осматривала всегда самостоятельно, зато показала мне то, чего я не увидела бы в одиночку: социал-демократический хлебозавод в Вене, где машины заменили человеческий труд до минимума, завод, элегантно чистой похожий на игрушку и обслуживаемый 2—3 десятками рабочих, после работы принимающих душ. Это было, казалось, окошко в счастливое будущее, показ эксперимента. В Шарлоттенбурге близ Берлина мы посетили лесную школу на воздухе для выздоравливающих детей, я присутствовала на уроке ботаники в саду, куда выходили открытые окна спален. Незабываемое впечатление оставил собор *Noire Dame de Paris*,²⁶ только гениальные памятники зодчества могут непосредственно так потрясти, как откровение ушедшего мира. В первый раз в жизни я пережила экстаз, когда через портал вошла внутрь и увидела эти убегавшие в невообразимую высь своды, где косность материи будто была побеждена волей мастера, очутилась в пространстве, насквозь пронизанном чудесной игрой радужных лучей света от разноцветных витражей, услышала торжественные и сладкие звуки органа, а затем, поднявшись по лестнице, созерцала соблазнительно-причудливых химер над расстилавшимся у ног Парижем.

В 1912/13 г. я занимала одна небольшую квартирку мансардного типа на Петроградской стороне; заработок сводился к преподаванию по вечерам немецкого языка в аудиториях Народного университета и тем же техническим переводам. Основное время было отдано истафу.

Задним числом и здесь в смысле постановки преподавания можно установить немало промахов, даже с точки зрения науки того времени. Предметов было много, но среди них отсутствовали даже как факультативные до-исторический период и археология, вспомогательные исторические дисциплины, политэкономия, история права. Были курсы, представляющие бесформенное нагромождение имен и дат, например история славян проф. Ястребова;²⁷ бессмысленна была повторная сдача тех же предметов на государственных экзаменах. Но в противоположность сонному математическому факультету здесь мысль находила пищу, здесь на лекциях, но еще больше в семинариях, вводили в исследовательскую работу такие ученые, как М. И. Ростовцев и С. Ф. Платонов.²⁸

Ориентировка в научных руководителях решала выбор узкой специальности в пользу истории, а не истории искусства. По западному искусству нельзя было миновать проф. Д. В. Айналова,²⁹ а с ним мне было не по пути. Его ученицы напоминали дрессированных обезьян, которые повторяли даже его нескладную, скудную и неправильную русскую речь. В области итальянского Возрождения он был невеждой, что постоянно скандальным образом обнаруживалось на его лекциях, которые я посещала из-за показываемых им иллюстраций. Не было у него и метода, была зато бездна самомнения, нетерпимости и генеральства. Е. В. Леонтьеву, которая захотела у него работать и в то же время не поступалась своей самостоятельностью, он всячески преследовал и не дал ей ходу ни по окончании курсов, ни впоследствии в Институте истории искусств. Мой прогноз был правilen.

Не пошла я и к Вульфису,³⁰ хотя он официально тогда ведал отделом эпохи Возрождения и в ту пору я знала больше него в этой области. Этим я избежала столкновений и впоследствии встала спокойно рядом с ним. Первым моим руководителем был проф. Э. Д. Grimm, который в 1912/13 г. вел семинарий по «Государю» Макьявелли; вторым — проф. И. М. Гревс, у кото-

рого в следующие три зимы я работала над хроникой Дино Компанья и Данте.

Э. Д. Гримм был столько же умен и остроумен, сколь неустойчив как в науке, так и в общественно-политической жизни. Он нисколько не походил на немца; в своей широте и гибкости он усвоил русский стиль, в остроумии, скепсисе и тонкости равнялся по французам. Дорогу он не раз менял, и не слишком обдуманно. Перед Февральской революцией все его историческое образование не помешало ему принять участие в подозрительной «Русской Воле» Протопопова, в 1918 г. он входил в состав Крымского правительства Врангеля, эмигрировал в Болгарию, в 1925 г. вернулся, причем волна то опускала его вниз — на библиотечную работу, то снова возносила вверх в 1933 г., когда по смерти Покровского клапан несколько освободился и он был привлечен в Академию истории материальной культуры на работу над вузовскими учебниками. Смерть его в начале 1940 г. была трагична и таинственна.³¹ В области науки он занимался и древней и новой историей, главным образом историей Франции. Ни Италии, ни Макьявелли он по-настоящему не знал, он только перелистнул источник, но был на методологической и критической высоте, мог дать оценку и сделать меткое замечание по существу. Кроме того, он умел не давить превосходством и авторитетом, давал свободу всякому мнению и этим стимулировал выступления и высказывания учеников. Исключительно острый материал в цинической формулировке вызывал на это и сам собой. Поэтому каждое собрание кружка проходило при сосредоточенном внимании и в горячих прениях, хотя бы иногда и наивных. На семинарии я делала доклад по истории Флоренции; Э. Д. справедливо отметил склонность к схематизму от математической школы. Второй доклад был посвящен двум базам доктрины Макьявелли: опыту древних и опыту дипломатическому. В конце года Гримм мне дал лестный отзыв для Московского экскурсионного центра, которому я предлагала услуги в качестве экскурсовода по Флоренции, но вакансия была уже занята. Через Гримма же семинарий по моему списку выписал большое количество нужных мне книг — как это было тогда доступно и просто! Под его же поручительством стала пользоваться книгами богатейшей библиотеки Петербургского университета.

Все-таки мне нужно было руководство учителя, который знал бы больше не только вообще, но в области специальной темы. Таким был Гревс — историк с религиозно-философским уклоном, больше учитель, чем исследователь, и учитель, богатый талантливыми учениками, среди которых можно назвать О. А. Добиаш-Рожественскую, Л. П. Карсавина, Н. П. Оттокара, Г. П. Федотова. И. М. охотно исправлял шаги молодежи и умел направлять ее. Он любил то, чем занимался, и пронес эту любовь через всю жизнь. «Он с высоты взирал на жизнь» — в этом было его обаяние по контрасту с господствующим мелким практицизмом, в этом была и некоторая его ограниченность идеалиста, столь чуждого пороку, что он не чувял его. Его академическая работа прерывалась дважды: на несколько лет при царском правительстве он был отстранен при Кассо;³² при Советской власти на 11 лет, начиная с 1923 г. Однако он был в силах возобновить свою деятельность в университете и в 70 лет и продолжить ее до 80 лет. Накануне смерти в мае 1941 г. — он умер вовремя — он был еще на заседании. Один из немногих уцелевших старых профессоров, он этим обязан был в 1935 г. заступничеству Дыбенко, своего бывшего слушателя,³³ но ученики его почти все рассеялись: кого рок давно и безвозвратно увлек на запад, кого — на восток. Его старость была омрачена.³⁴

Пора вернуться к началу моего с ним знакомства. Я обязана ему прежде всего тем, что он меня повернул к эпохе коммун, которая до того была вне поля моего зрения, а без нее нет ключа и к следующей эпохе. На первых же порах в его семинарии я получила ценные импульсы, когда была поставлена задача по четырем разным хроникам восстановить определенный политический факт и когда впервые в моих руках оказался такой замечательный публично-правовой документ, как «Ordinamenti di Guistizia».³⁵ Следующие два года с наслаждением погружались в Данте, который требует для своего одоления преданного труда и времени. К голосу студентов И. М.

всегда прислушивался внимательно, но большинство перед ним робело. Темы, как правило, предлагал он сам, но не исключал работ, где инициатива шла снизу. На третий год занятий я делала доклад на предложенную мной тему о «Методы мышления Данте», причем базировалась на его прозаических трактатах, прежде всего «De Monarchia». Я обратила внимание, что в нем чередуются методы строго силлогистический и геометрический, с немногими премиссами, и диаметрально противоположный метод символической интерпретации, который позволял проникновение в систему самых неожиданных положений. Задачей было выявление этих методов и обследование их истоков. Каждой новой эпохе в самом деле свойствен свой отличный метод мышления и аргументации, которым она довольствуется и который признает достаточным и необходимым. В самом абстрагировании логической ткани постановка проблемы обнаруживала предшествующую математическую школу. В безбрежной литературе у Данте эта точка зрения не была представлена. Доклад был сделан, но работа требовала философского углубления и уточнения, которого она так и не получила. Как критик И. М. был слабее Э. Д.; ему не хватало гибкости, чтобы следить за новой для него мыслью. Если эта мысль слишком шла вразрез с общепринятой, он не смел с ней и согласиться, хотя бы и признавал самую аргументацию «остроумной». Позднее именно им я была оставлена при курсах и ему же сдавала ведущие темы при магистратских экзаменах. Он же давал мне работу для словаря Брокгауза — Эфрона, пока тот существовал.

Отдел по Возрождению я сдавала у Е. В. Тарле,³⁶ манера которого как экзаменатора была мне известна. По каждому вопросу и отделу его память безупречно хранила несколько ведущих имен и фактов, которым он маневрировал. В данном случае это был взгляд Маколея на Макиавелли и личность П. Помпонаци. В то же время я продолжала заниматься историей искусства, причем методически шла за Вельфлином.

Истфак на Бестужевских курсах я вспоминаю с благодарностью и удовлетворением — как *alma mater*, и не только за импульсы с кафедры, но и за импульсы от товарищей. Дружеская среда сочувствия и коллективного труда, благородного соперничества без зависти и интриги давала новую моральную опору. Именно тогда сложились дружеские связи, из которых некоторые проводили меня через всю жизнь. . .

Октябрьская революция. Магистерские экзамены. Университет

В 15-м году я кончала курсы, в 16-м году сдавала государственные экзамены при университете. Не всегда легко было работать: выбывала из колеи война, которая расшатывала все привычные устои, уносила бесчисленные жертвы, наводняла тыл беженцами и лазаретами. Тыл разлагался, ползли зловещие слухи об изменах, о Григории Распутине, пока неслыханное позорище не было пресечено великокняжеской рукой, воскрешая зверскую расправу в Инженерном замке. За революцией дворцовой последовали взрывы революций Февральской и Октябрьской.

И ту, и другую я встретила как исторически должное и неизбежное. Ясно было и то, что новая власть утвердилась надолго, пока будет жить в массах вера в нее. Все это меня не смущало, так же как жестокость приемов этой власти: еще Козимо де Медичи говорил, что государством нельзя управлять с помощью «*patet poster'ov*».³⁷ Казалось, что я могу оставаться на своем месте и продолжать свое дело. Весь мой капитал сводился к одному выигрышному билету третьего займа и скромной обстановке двух небольших комнат. Я числилась оставленной для подготовки к профессорскому званию при Бестужевских курсах, по нынешнему — аспиранткой, но без стипендии, и преподавательницей истории частной средней школы. Итак, я никуда не двинулась. После того как школа закрылась, я в 1918—1919 гг. работала в 1-м Петроградском отделе 4-й секции Российского архивного фонда (в Архиве Министерства народного просвещения) по описанию еврейских дел

у Николаева, позднее — в Комиссии по истории еврейских погромов, собирая материал для соответственных вышедших двух выпусков в архивах б. Департамента полиции и Министерства внутренних дел. Позднейшее знакомство со сборниками «Материалов» оставило во мне неприятный осадок, ибо пришлось убедиться, что редакторы Дубнов и Красный-Адмони³⁸ выбрасывали попросту и без затей те документы, которые их не устраивали, — вот и доверяйте после этого изданиям документов.

В те же годы при университете сдала шесть экзаменов по кафедре новой истории на звание магистра (по русской истории, новой, средней, древней, истории искусств и политэкономии). Тема о Чернышевском по русской истории вылилась в исследование по вопросу о его причастности к нелегальным воззваниям начала 60-х годов: «К барским крестьянам» и др. Эту причастность я утверждала несмотря на отрицание ее Чернышевским на процессе. В ходе исследования, через посредство проф. Гревса, я связалась с сыном и литературным душеприказчиком Чернышевского, Михаилом Николаевичем, товарищем И. М. по гимназии, а также его кузиной, Верой Алекс. Ляцкой, ур. Пыпиной, у отца которой жила семья Чернышевского; оба отнеслись ко мне дружески и охотно делились своими знаниями, хотя мою тезу Михаил Николаевич оставлял под знаком вопроса. Позднее, после выхода исследования в печати,³⁹ эта тема была принята многими русскими историками. Только Лемке в «Книге и революции» возмущался, что я, «никому не известный автор», осмелилась ему прекословить. По тому же вопросу писал А. Шебунин в 60-й книге «Каторги и ссылки» 1929 г.⁴⁰ На самом экзамене проф. А. Е. Пресняков дал работе о Чернышевском очень лестную оценку и в смысле инициативы, и в отношении методологическом. Беседа со мной комиссии коснулась второй темы, сказаний иноземцев, главным образом П. Джовио, о России, где я остановилась на любопытной, резко индивидуальной, обращенной к Западу и тем исключительной личности предпринимчивого Дм. Герасимова, знакомого с Ледовитым океаном и Италией. В остальном тема магистерских экзаменов имела отношение главным образом к истории Италии. Были проработаны вопросы: история Флоренции XIII—XIV вв.; Флорентийские цехи (по политэкономии); доктрина Махьявелли; история семьи по литературным и юридическим памятникам, которую я намечала как тему диссертации, пока не ознакомилась со специальным трудом на эту тему Tamassia (1910); трактат Л. Б. Альберти и Рафаэлевские фрески Фарнезины у Фармаковского по истории искусства. Особняком, но во внутренней связи, остался Стендаль на фоне общественных группировок эпохи Реставрации во Франции. Этуод о нем в 23-м году появился в юбилейном сборнике Н. И. Кареева. То был опыт разрешить проблему личности Стендаля в рамках двух портретов Стендаля, юношеского, романтического, и саркастического портрета зрелых лет как двух полюсов развития.⁴¹

Эпоха магистерских экзаменов — момент признания научной работы. То же исследование о Чернышевском в 1919 г. привело меня в университет, где я была избрана ассистенткой с поручением заведовать библиотекой б. исторического семинария Высших женских курсов, которые уже перестали существовать самостоятельно. Во то же время меня приглашал Рязанов, глава Центрархива, продолжать там работу; после некоторых колебаний я от этого уклонилась, не желая сходить с основного пути и поступаться независимостью в выборе темы и выводов.

Бытовая обстановка эпохи интервенции и гражданской войны была исключительно тяжела: пришлось терпеть и голод, и холод, и темноту, довольствоваться восьмушкой хлеба в день, кормовой свеклой и кониной, буржуйкой — вместо примуса, *oleum'om sicini*⁴² для жаренья — вместо масла, малюсенькой копилкой-лампадой — вместо лампы, приходилось самой ломать назначенные на слом деревянные дома и везти эти «дрова» домой на санках. Не было ни трамваев, ни бани. В конце 1919 г. при учреждении возглавленной Горьким комиссией Цекубу⁴³ я получила академический паек, и был преодолен голод, но другие нестроения продолжались еще долго. Многие падали под бременем материальных тягот, они прищипывали более сильных: была надежда на лучшее будущее.

В двадцатом году после долгой болезни я пережила тяжелый личный удар. Осенью семнадцатого года, до октябрьского переворота, на юг уехала моя мать с семейством сестры, которой уже трудно было кормить детей в Петрограде. Гражданская война на две зимы, полных тревоги за близких, оборвала меж нами связь. Когда, наконец, в мае 1920 г. я получила первое о них известие, оказалось, что трое взрослых, мать, сестра и ее муж погибли от тифа, а остались в живых, перенеся тот же тиф, трое детей. Этих детей я приняла как их наследство, и с октября 1920 г. они составили мою семью. Младшая девочка первые 4 года росла в семье брата, а потом соединилась со старшими.

Возвращаюсь к университету. В 1920/21 г. по поручению общественного факультета я вела семинар по «Книге царедворца» Б. Кастильоне, в 1921—1923 гг., кроме семинарских занятий, в качестве доцента читала курс по истории итальянского гуманизма. Профессора Вульфус и Тарле как специалисты по новой истории входили с ходатайством о присвоении мне профессорского звания, в чем ГУС — Государственный Ученый совет, отказал. С 1920 г. и до его закрытия состояла сотрудником I разряда Историко-исследовательского института при университете, где в 1922 г. читала доклад о замечательной Лукской хронике Серкамби 1400 г. и др. В те же годы получила приглашение занять кафедры новой истории в Ярославском и Саратовском университетах, от чего отказалась, не желая терять возможность продолжать научную работу в ленинградских библиотеках, отклонила также приглашение проф. Фармаковского в Академию материальной культуры, поскольку университет поглощал меня целиком.

Семинар по Кастильоне мне проложил дорогу в Институт истории искусств по отделу изобразительных искусств, куда меня ввел В. А. Головань и где я являлась с 1921 по 1928 г. сотрудником I разряда и читала курс общий по истории искусства итальянского Возрождения и курс специальный по истории итальянского портрета. Курс свой я строила методологически не по эпохам и художникам, а по истории проблем. *Post factum* я нашла соответственные немецкие пособия Ландсбергера и др., вышедшие в те же годы.

При институте до 1927/28 г. состояло и общество по изучению итальянской культуры, председателем которого был А. А. Починков. Там я ежегодно делала доклады на разные темы: о трактате Саббинио делья Ариенти об именных женщинах; о Лаврентии Валье как Вольтере XV в.; о том, чем Европа XV—XVI вв. обязана Италии Возрождения, и др. Такие же популярные доклады о Данте и портрете итальянского Возрождения были прочитаны в те же годы в клубе ученых.

С темами университетского преподавания была связана и научная продукция как того времени, так и позднейшего. По поручению проф. Е. В. Тарле была написана для «Анналов» статья по историографии итальянского Возрождения и гуманизма.⁴⁴ В семинаре трактат Кастильоне изучался аналитически с точки зрения разных намечаемых в нем тенденций и проблем. Биографический очерк для Брокгауза и Эфрона в «Образах человечества», которые редактировал И. М. Гревс, дал повод проделывать обратную работу синтеза. Для русского читателя, не знающего Б. Кастильоне даже по имени, он в заглавии был дан как «Друг Рафаэля». Заглавие уже охвата. Тема определяется Schmutz-титлом, который гласит: к истории *uomo universale*.⁴⁵ Очерк стремится в четком построении дать эпоху, ближайшую среду, личность и произведение в основной тенденции. Новой для автора была задача художественно-пластического изображения эпохи и людей; архитекторника, соотношение частей приобретала потому первенствующее значение. Обычно личность Кастильоне трактуется как до конца гармоническая. Столкновение его с лютеранином Вальдесом и соответственный озлобленный памфлет вскрывает неустойчивость этой гармонии и обнаруживает в Кастильоне лик католической реакции. В литературе это никем не было замечено. «Несмотря на популярную форму, работа насквозь исследовательская», — сказал мне по поводу книжки Тарле. Я имела неосторожность пренебрежительно высказаться где-то в примечании о статье Дживелегова, посвященной тому

же Кастильоне. Он мне отомстил, объявив в печати, что в своей книжке я всего-навсего пересказала Julia Cartwright, приписав мне свой способ работы.⁴⁶

Хроника Серкамби дала в экстракте, по ограниченности предоставленного места, очерк о «Лукке 1400 г. эпохи купеческой династии Гвиниджи, складывавшейся под влиянием тех же факторов, что и медичейский принципат. Очерк вышел в сборнике «Средневековый быт» (1925 г.), посвященном И. М. Гревсу учениками.⁴⁷

Другие замыслы не удалось довести до конца. В 1923 г. по заказу того же издательства Брокгауза — Эфрона в лице А. Ф. Перельмана я взялась составить хрестоматию по итальянскому Возрождению. Листов 8—9 было готово, когда все частные издательства осенью 1923 г. были закрыты или обратились в филиалы «Госиздата». Тем самым на сборнике была поставлена точка. По той же причине осталась неизданной готовая популярная книжка, посвященная типам итальянской женщины Возрождения и составленная также по принципу подбора соответственных источников в переводах с общим введением.

Личное — даже в отношении такой малой спицы в колеснице, как автор этих строк, — здесь не может быть понято и воспринято правильно оторванным от фона, т. е. течения университетской жизни в первые годы Советской власти. Переплет был здесь сложный. В 1917 г. историко-филологический факультет насчитывал много блестящих имен, вроде Платонова, Ростовцева, Тураева⁴⁸ и др. Средний уровень в смысле талантов, знаний, ума — не характера, как показало будущее, был очень высок, несмотря на все наследство старого режима: рутину, генеральство, кумовство. С самого начала эта среда раскололась: эмигрировал с демонстрацией Ростовцев, а за ним потянулись многие другие, без демонстрации. Затем стала косить коса. Одни, как Тураев в 1920 г., погибли от голода; немногие, как ректор Лазаревский,⁴⁹ обвиненный в участии в заговоре, были расстреляны. Но оставалось большинство, которое не хотело эмигрировать и к заговорам отношения не имело. Эта университетская корпорация как таковая — гуманитары в первую очередь, приняли дальнейшие удары; университет кипел непрерывно, как котел. Сперва были объявлены ненужными и отменены всякие ученые степени и испытания, которые теперь, после 1936 г., расплодилось у нас снова на глазах, как грибы. С июня 1920 г. против старой профессуры была поднята ожесточенная газетная травля. Ее начал в «Вечерней Красной» некто, скрывшийся под именем «Старого профессора». На следующие дни появились не менее злопахвательные статьи-доносы за другими подписями, но во всех них я узнавала ту же хорошо мне знакомую руку и стиль М. К. Лемке,⁵⁰ с которым я работала в Архиве и который изливал мне свою обиду на забаллотировавший его факультет. Оскорбленное самолюбие — великий двигатель. Лемке как автора я тогда же называла проф. А. А. Фрейману⁵¹ и другим, но мне не хотели верить. Через несколько лет факт авторства был установлен официально. Позднее последовала реорганизация историко-филологического факультета в факультет общественных наук, причем от историков были отколоты лингвисты и литераторы — *divide et impera!*⁵² — и затем присоединены педагоги, теоретики и историки достаточно низкого калибра. Вслед за тем был учрежден институт «Красной профессуры», который должен был улавливать академическую младшую братию, ассистентов и доцентов, соблазняя званием без эквивалента труда. Пошли на эту удочку те, кто был как-нибудь скомпрометирован, например, перебегом к Колчаку, Врангелю и т. п. Изнутри проводниками новых мероприятий была теплая компания из четырех человек: честолюбивый, мстительный и опасный соглядатай студент Цвибак, позднее сломавший себе голову как троцкист; комиссар Энгель, *hotto povus*, темный делец, нечистый на руку; черносотенец-славянофил Вас. Короблев, бывший редактор «Инвалида» и член Славянского благотворительного общества, и проф. В. Святловский, не так давно снимавшийся в камергерском мундире и охотившийся за квартирой проф. Карсавина.⁵³ Черносотенцы услужливо подставляли спину новым господам.

Когда все это не помогло и оказалось недостаточным, в конце 1922 г. по-

следовала высылка самых непокорных и признанных несправимыми за границу; из Петрограда тогда отплыло до 70 человек вместе со своими семьями, в том числе Л. П. Карсавин и Пит. Сорокин, философы-идеалисты И. И. Лапшин и Н. О. Лосский, а также некоторые совсем безвинные жертвы, вроде математика Д. Ф. Селиванова. Накануне товарищи их провожали последними речами в зале квартиры Карсавина. Нам не суждено было больше увидеть кого-нибудь из них. Осенью 1923 г. в довершение понадобилось еще устранить от университетского преподавания семь человек, в числе которых вместе с профессорами Кареевым и Гревсом была и я. Покровский⁵⁴ в качестве великого инквизитора мог торжествовать победу, так как западная история к этому времени в Петроградском университете была изничтожена почти без остатка, а русские историки стали позднее исчезать исподволь и поодиночке, как М. Д. Приселков и А. И. Заозерский.⁵⁵ Покровский открывал взамен того в Москве свою школу историков-марксистов и обещал через два года дать новых «спецов» без всяких буржуазных шантаний и ересей.

Главная геофизическая обсерватория. Палеографический музей

Высылку 22-го года и устранение в 23-м я пережила, как тяжелые катастрофы. С уходом из университета была отнята опора, которую ничто не могло заменить: продолжать научную работу в одиночку, не поступиться ею, дать ей материальную базу при наличии детей — задача нелегкая. Я сделала попытку попасть в Эрмитаж, где могла бы работать над памятниками того же итальянского Возрождения; директор Тройницкий меня не пустил. Полтора года я перебивалась уроками и литературной случайной работой, часто не зная, чем буду завтра кормить своих. В апреле 1925 г. проф. А. А. Фридман,⁵⁶ знакомый со мной через свою жену, привлек меня в Главную геофизическую обсерваторию в качестве заведующей библиотечной и архивом наблюдений. Эту должность я занимала 10 лет. С Фридманом меня связывал интерес к истории точных наук, как след математического факультета. Весной 25-го года он мне доверил в части Средних Веков и эпохи Возрождения редакцию своего блестящего популярного труда, посвященного истории космогонических воззрений от Птолемея до Эйнштейна. Осенью его не стало, и книга не увидела свет: ее как идеалистическую сумели заклевать личные враги и конкуренты. При комплектовании библиотеки и без него я продолжала иметь в виду проблемы истории точных наук, в 1927 г. организовала при библиотеке выставку по истории физико-математических наук, отчет о которой вышел в московском «Научном работнике».

Библиотека Главной геофизической обсерватории была отнюдь не синкурой — я впряглась в большую организационную и справочную библиографически-издательскую работу, поскольку библиотека в своей отрасли была ведущей в союзном масштабе. До 28-го г. примерно, до шахтинского процесса, атмосфера в обсерватории была, однако, для меня приемлемой. До поры до времени меня не дергали; кроме Фридмана и после него, там были люди, с которыми у меня были общие интересы и некоторые меня активно поддерживали, прежде всего проф. Е. И. Тихомиров. Вместе с тем я была в состоянии исподволь продолжать личную научную работу.

Эта работа была связана с постоянным посещением ряда ленинградских библиотек, куда дорога была мной проложена давно. В каждой из них я обследовала фонды инкунабул и фонды итальянские; на этом пути собирались материалы для задуманной работы, и возникали импульсы для работ новых, очердных, попутных. Систематически были обследованы в том числе фонды инкунабул Публичной библиотеки и библиотеки Академии наук, и то же сделано в московских библиотеках, Ленинской и университетской. Давно для меня была открыта библиотека университета, пополненная А. Н. Веселовским с точки зрения его специальных интересов. Я имела также доступ

в библиотеку, принадлежавшую ему лично и перешедшую в библиотеку романо-германского семинария. Большую ценность представлял для меня фонд проф. Форстена, читавшего в свое время курс по Возрождению, причем его книгами владела библиотека университетского исторического семинария. Литературой по искусству я пользовалась в Эрмитаже и библиотеке Института истории искусств, прекрасно комплектованной скоро уехавшим за границу Зубовым.⁵⁷ Позднее Институт истории науки и техники при Академии наук снабжал литературой по истории науки и техники. Новые возможности давал международный межбиблиотечный абонемент, который связывал с Берлином. До 1930 г. удавалось также понемногу выписывать новую литературу из-за границы. Таким образом из прошлого доходили многочисленные голоса.

Во время работы в 1926 г. в Публичной библиотеке я обнаружила своеобразный, обследованный мною фонд И. Е. Бецкого, так называемую «Флорентийскую елку», или «Флорентийскую энциклопедию», коллекцию, собранную им во Флоренции в 70—80-х годах XIX в. и оформленную им как инволуты единообразно, причем каждый том был роскошно переплетен в пергамент для вящей сохранности. Но это же оформление при лености администрации и косности сотрудников привело к его «консервированию»; «мы ленивы и нелюбопытны», — давно было сказано Пушкиным. Коллекцией не пользовались, в общий каталог она не вошла и нигде не получала оценки, хотя и была описана (впрочем, не целиком) в летописях библиотеки, и представляла интерес как с точки зрения истории русского просвещения, так и совершенно необычного оформления. Работа с «Флорентийской энциклопедией», в которой использовалась и переписка Бецкого с администрацией библиотеки, вышла в 1927 г. в журнале «La Bibliofilia» во Флоренции.⁵⁸ Русский текст ее, более пространный, посланный в двух экземплярах один за другим в московский журнал «Библиоковедение и библиография», редакцией был утерян.⁵⁹ Доклад на ту же тему в реорганизованном Историческом исследовательском институте был отвергнут президиумом, где первую скрипку играл коммунист Зайдель, — по классовому признаку принадлежности Бецкого к знати. Так «Флорентийская энциклопедия» и по сие время неизвестна в русской печати, а Зайдель, впоследствии ректор Ленинградского университета,⁶⁰ вместе со мной в 1935 г. был выслан в Саратов и дальше — sic transit gloria mundi.⁶¹

Особенно много в своей работе я обязана Палеографическому музею, существовавшему по очереди под флагом Археологического института, университета и Академии наук и учрежденному акад. Н. П. Лихачевым,⁶² который оставался его хозяином. В музее я работала с 1920 по 1929 г. — год его закрытия в качестве «вольного художника» и завсегдадая из любви к искусству. Впрочем, дорогу туда знали самые разные специалисты: ассиролог Шилейко, филолог В. Ф. Шишмарев, медиевисты О. А. Добиаш-Рождественская, Е. Ч. Скржинская⁶³ и многие другие. Музей представлял учреждение в своем роде единственное, не только у нас, но и на Западе, как заметил Шарль Ланглуа,⁶⁴ посетивший его в 1928 г. Он заключал музейные экспонаты по истории письма от иероглифов и клинописи, по истории документа с хартиями капитулов и коллекцией папских булл, по истории книги и переплета. Рядом была богатейшая библиотека с систематически подобранной литературой по истории, вспомогательным наукам и библиографии, с многотомными изданиями XVII—XVIII в. Кроме того, библиотека включала *bandi*⁶⁵ итальянских городов, эпистографию гуманистов, собрания листовок, вроде мазаринад и памфлетов Великой Французской революции. Материал печатный продолжал документы и охватывал издания от инкунабул до современных редких изданий «*reg pozzo*».⁶⁶ В этой библиотеке было представлено многое, чего нельзя было сыскать больше нигде в Ленинграде. Палеографический музей стал для меня Академией высшего типа. Помимо того, что я была постоянной читательницей музея, я организовала там студенческую группу, с которой каталогизировала богатейшие отделы эпистографии итальянских гуманистов, истории итальянских городов и литературы. Там же мной был описан рукописный латино-итальянский фонд

документов, датирован и изучен в смысле источников рукописный роман: 1500 г. о «Матидии и Фаустиниане» — работы остались в рукописи, первая ввиду того, что Лихачев опасался широкой огласки и непрошенного внимания.

Знакомство с хозяином этих богатств было не менее поучительно, чем знакомство с творением его рук. Страстный коллекционер и несравненный эрудит, он вложил в свою сокровищницу два наследства и охотился всю жизнь за редкостями, будучи связан со всеми европейскими антикварами. Свои материалы он готовил для монументального труда по истории документа, к которому он уже не смог приступить. До 20-го года он, как скупой рыцарь, дрожал над всем сам и никого не подпускал близко. Позднее он мог показывать эти материалы часами. Надо оговориться, что пускать в музей можно было только на началах полного доверия, поскольку не было ни каталога, ни служащих, кроме единой помощницы Николая Петровича.

Последний из могокан, Лихачев принадлежал к старинному дворянскому роду, представленному в московских посольствах XVII в., а затем оставившему след в Казани и губернии (где у них была оседлость) в истории русского просвещения. Николай Петрович составил историю своего рода и издал ее в ограниченном количестве экземпляров. Книга, которую он мне подарил, заканчивается изображением его самого с лукошком в руках, где лежит его перенец. В политике он был крайне правым — до революции с ним, вероятно, трудно было сговориться, после нее козырь был бит.

В 1930 г. по делу Академии наук из-за тесной связи с С. Ф. Платоновым Николай Петрович был арестован, просидел год, был выслан в Астрахань, где пробыл до 1933 г. и начал слепнуть — ему было около 70 лет. Ему разрешили вернуться к семье. На нем легла просветляющая печать перенесенных страданий. Тем временем от музея осталось только пепелище, он был раскассирован и разорван на части под попечением акад. Ольденбурга, тем спасавшего себя.⁶⁷ Помещение музея понадобилось для квартир аспирантов Академии наук. На этом основании экспонаты были перекинута в Азиатский музей, Эрмитаж и другие места; большая часть вошла в состав вновь организованного как академическое учреждение Института истории книги, документа и письма под началом акад. Орлова,⁶⁸ старого приятеля и низкопоклонника Николая Петровича. Орлов в качестве мародера завладеет даже личными начатыми работами Лихачева и не пожелал ему их вернуть. Книга по византийской сфрагистике Лихачева, которая была издана Академией наук, была уничтожена, за исключением 2 экземпляров, из которых я видела один.⁶⁹ Библиотека музея систематически расставленная и ранее доступная пользованию, новым Институтом была составлена как штабелёв, и до сих пор, через 12 лет, остается *en masse*,⁷⁰ в таком положении, так как каталогизация движется с черепашьей скоростью. Гибель музея — неоправданный вандализм и непоправимый удар русскому просвещению, так как в настоящее время на Западе уже не купить того, что еще было доступно Лихачеву. Я пережила это как новую катастрофу: вырвано было из рук то, чем я уже владела.

Поездка в Италию

Нить изложения систематическая не всегда совпадает с нитью хронологической. Мне приходится вернуться к лету 1927 г., к которому относится одно из самых больших событий моей жизни: командировка от Главной геофизической обсерватории на три месяца за свой счет в итальянские библиотеки для изучения истории геофизики. Командировка была мне обещана еще Фридрихом. Получило осуществление давнишнее намерение. В 1912 г. оно было умышленно, но совершенно напрасно отодвинуто по причине недостаточной подготовки; в 1913 г. я неудачно искала работу экскурсовода во Флоренции; в июле 1914 г. все уже было подготовлено для отъезда, когда разразилась война. Затем на многие годы вырос непреодолимый барьер.

Из трех летних месяцев 1927 г. полтора я пробыла во Флоренции, три недели — в Риме. Из Флоренции ездила в тосканские города Лукку, Пи-стою и Сиену; из Рима совершила поездки по Кампанье в Тиволи и виллу Адриана. По пути до Флоренции отдыхала несколько дней на озере Гарда, останавливалась в Вероне, Милане, Генуе и Пизе. На пути из Рима на север видела Ареццо, Болонью, Феррару, Падую и Венецию. До того мне никогда не приходилось говорить по-итальянски, но я так им была насыщена, что заговорила очень скоро, а понимала язык с первых же шагов. В Риме в доме метеоролога проф. Filippo Egedia, который за год перед тем побывал в Главной геофизической обсерватории в качестве консультанта в связи с полетом Нобиле и которому я показывала Русский музей, я могла даже рискнуть произнести по-итальянски ответный спич.

Рядом с официальной темой было поставлено несколько задач. Пожалуй, их было слишком много. В области живописи я много изучала портрет как тему диссертации по Институту истории искусств. От замысла этого я отказалась, когда по возвращении ознакомилась с потрясающей по малограмотности работой Е. Тартаковской, которую она тем не менее с успехом защитила публично. Затем поставлена была задача по линии исторической в связи с работой, которая стала основной и о которой речь будет впереди; в этом направлении надо было прочитать ряд книг, главным образом памятников, отсутствовавших в Ленинграде, а вместе с тем дополнить пропуски в основных журналах за годы войны и интервенции.

Поездка дала и гораздо больше, и отчасти меньше по сравнению с поставленными задачами. Тема по истории геофизики тоже не получила окончательного оформления, поскольку в следующем 1928 г. во Флоренции была организована грандиозная общетальянская выставка по истории физико-математических наук, на которую попасть не удалось, но с уровня которой была бы произведена оценка работы; не стало смысла к ней приступать. Ни с чем несравним был, однако, общий импульс от знакомства со страной, пейзажем, памятниками, людьми и следами исторической традиции на каждом шагу. По книгам и снимкам прошлое изучается и постигается аналитически, по камешкам, участками. Пейзаж и тенальные памятники зодчества, как собор Notre Dame de Paris, дают интуитивное и мгновенное целостное познание.

Рядом с Notre Dame стали теперь другие незабываемые образы, хотя бы и не всегда столь же грандиозные. Так предстал в Вероне античный амфитеатр и римский театр — рядом с романской церковью XI в. — в напластовании стилей отдаленных эпох. Так неожиданно во время трамвайного подъема открылась панорама *viale dei Colli* с памятником Давида в навстречу несущемуся аромате деревьев и цветов, чтобы потрясти насковозь счастьем. Так воспринята Лукка, где в стены античного амфитеатра оказались вросшими средневековые дома и где также непосредственно интуитивно раскрылась стилистическая генеалогия виллы Гвиниджи от этих самых домиков XIII—XV вв. с фасадами в 2—3 окна; Гвиниджи и Серкамби, знакомые по хронике, ожили в тех же домах, дворцах и башнях, увенчанных площадкой с деревьями, своего рода висячим садом. Поразили раз и навсегда в Риме изумительные перспективы улиц и площадей и единственный в мире замок Св. Ангела, мавзолей римских цезарей, крепость, тюрьма и дворец пап, где архистратиг Михаил окружен хороводами античных божеств, великолепной венчающей фигурой Ангела барокко. Ниже я расскажу подробно, чем подарил меня Ареццо.

На каждом шагу и всюду преследовали следы старой традиции в costume и быту. В Ватикане швейцарская стража красавцев в той же пестрой одежде, как у Рафаэля в «Большенской мессе»; по *via Appia* двигались те самые повозки, доверху нагруженные жителями Кампаньи в нарядных костюмах, какие рисовали там же наши русские художники 100 лет тому назад и более, сцена мне знакомая по инкрустации на дереве на материнской шкатулке, и т. д.

Гостеприимные музеи, старые и новые, раскрывали мне принципы организации и экспозиции. Новые музеи создавались двумя путями: за счет

комплексного использования характерных архитектурных памятников эпохи, вроде Castel Vecchio в Вероне и Castello Sforzesco в Милане, причем в старых исторических стенах умело проводились опыты реставрации внутренних апартаментов, как, например, Sala Cap Grande в Вероне. Музеи росли рядом с этим за счет превращения коллекций частных в городские музеи, причем в отношении такого наследства господствовал абсолютный пиетет к воле учредителя, и все оставалось в полной неприкосновенности.

Имеющий очи видеть — да видит. Актив зрительных впечатлений был громаден: тут было и обнаружение неведомых до тех пор видов искусства, вроде фонтанов, интарсиатуры, миниатюры; и раскрытие связей между разными видами искусства, как, например, между живописью и миниатюрой; и восприятие хорошо известных тенденций в оркестровой, так сказать, аранжировке; и постижение мастерства воздушной перспективы, пленэра и красок, не доходящих в воспроизведениях; и обретение новых любимцев, и импудсы подлинников великих мастеров, и неслыханное обогащение по линии портрета, и обретение новой темы.

Начиная с Испанской капеллы во Флоренции, где я открыла жест счета на пальцах как жест схоластического диспутанта, он меня преследовал и дальше в церквях и музеях. Он был воспринят в связи с привычкой схоластического мышления к счету аргументов. Соответственная работа вышла в Париже в 1938 г.⁷¹

Тем же летом я узнала имя Луиджи Пиранделло и имела в руках гиды Touring Club'a Italiano как разительный контраст с педантическим и скудным Бедкером «времен очаковских и покорения Крыма».

До поездки все мои представления имели как бы два измерения: третье они получили на месте в том пространстве, где происходило действие и где все разместилось в истинных пропорциях и зависимостях, купаясь в том свете и воздухе, которым одарен благодатный край.

Современность фашистской Италии мне открывалась только на поверхности, в виде случайных бликов; за всем не утонишься. Я могла только констатировать, что итальянские газеты абсолютно бесцветны; какие-то силы загнаны в подполье. Вместе с тем на всех белых стенах преследовал отпечаток в типографской краске байронического облика вождя. Встречи с итальянцами тоже были слишком мимолетны, но нельзя сказать, чтобы люди совсем не попали в мое поле зрения. В антиквариате Ольски, где был принят для «Библиофилии» мой этюд о коллекции Бецкого, я познакомилась с двумя молодыми немцами-антикварами, фамилия одного из них была Фелькель, они были «приказчиками» фирмы. Я могла констатировать чрезвычайный сдвиг в психологии по сравнению с 1907 г., когда я наблюдала немецких студентов в Геттингене. Много старых предрассудков было подкошено, очень многое передумано, и продолжались поиски. Как средневековые кочующие подмастерья, свои *Lehr- und Wanderjahre*⁷² они проводили во Франции, Англии, Италии, работая в антиквариатах. Они знали европейские языки и с чрезвычайным интересом относились к Советской России и русской литературе. Дальнейшую переписку с ними, к сожалению, я должна была пресечь. Кроме того, я собрала сведения о русских итальянистах, в том числе о тогда покойном уже В. Забугине.⁷³ В мое время в Италии кроме Горького жил Вяч. Иванов в качестве доцента древних языков и П. Муратов, подвизавшийся как антиквар.⁷⁴ Интересно было знакомство с художником Н. Н. Лоховым, поселившимся в Италии до войны. Бескорыстный энтузиаст своего дела, он задался целью в современных копиях сохранить гибнущие фрески и станковую живопись Возрождения. На месте и в Америке он пользовался исключительным авторитетом у знатоков, например Беренсона. В его флорентийской мастерской я видела в самом деле замечательные по совершенству копии. Продавал он немногие, поскольку без этого не проживешь. В Америку он их отдаст не хотел. Познакомилась я с ним через проф. Флорентийского университета Н. П. Оттокара,⁷⁵ который, как абориген, многое мне объяснял и рассказывал.

11 июля 1927 г.

В теплый ясный июльский вечер, когда жара уже спала, я вышла из поезда и по широкому проспекту начала подыматься в гору, по направлению к центру. Вместе со средневековой планировкой город сохранил в основе облик коммунальной эпохи — почти без напластований — и не вышел из пределов старых стен. Рядом с другими городами, которые строили и разрушались, этот остался неприкосновенным, заповедным, как город-музей. В центре, на горе, высятся Palazzo del comune и готический собор из тяжелых массивных глыб камня, с прямыми контурами и большими углами. На стене Palazzo del popolo по-прежнему красуется черный конь на городском гербе, и он же черным силуэтом выделяется на колокольне.

Восприятие Ареццо, как города Дино Компаньи и Джотто, облегчается его топографией. Из центра, с вершины разворачивается перед зрителем весь город. Отсюда, из акрополя, одни улочки спускаются и разбегаются радиально, тогда как другие переkreшиваются с первыми, идя концентрически. Улички узки, с высокими оградками, с нижним этажом без окон, в виде малых крепостей. Есть дома — это древнейшие — трех- и четырехэтажные с фасадом в два окна.

С этой же высоты вы видите всю линию старых городских стен за соборной площадью вместе с бастиянами крепости, где разбит ныне парк, а еще дальше, на горизонте, линия гор, освещенная садящимся солнцем.

Я зашла в собор: он строг и красив, сохранив в чистоте готический итальянский стиль. Он членится на три нефа мощными пилонами, массу которых дрябят окружающие их тонкие колонки. Боковые нефы крыты крестовым сводом. Пилоны сходятся под стрельчатыми арками. Сумрачный свет льется отовсюду ровно. Ничто не нарушает важной прелести храма, торжественного в одиночестве наступающего вечера. Не хочется уходить.

Отсюда с соборной площади я совершила прогулку вдоль бастонов: с террасы крепости при лунном свете выделяются ближние очертания изрезанных контуров аллей, массивный тяжелый профиль собора и синие легкие профили гор.

Внизу у подножия крепости расположилось кладбище с колоннадой и кипарисами памяти павших в империалистическую войну, где каждый уроженец Ареццо отмечен своим деревом с его именем. Высокая оценка личности ведет начало со времени постройки собора и сохраняется доселе. В соборе, на гробнице епископа Тарлати 1380 г. — какая седая старина! — я только что видела ряд барельефов, которые изображают *ero faits et gestes*,⁷⁶ на площади — памятник изобретателю нот, монаху Гвидо д'Ареццо⁷⁷

Здесь невольно призадуматься: каким образом жизнь веков прошла мимо Ареццо, не задевая его? Почему такая судьба? Память разворачивает его историю. Случилось это само собой. Кипение и жестокая борьба партий оборвались в нем вместе с потерей независимости, когда в начале XIV в., непосредственно после возведения Palazzo del comune и собора, он подчинился Флоренции и стал тихим провинциальным городом. Никакие ломки в дальнейшем его не коснулись. Город никогда не был и не стал промышленным. С тех пор Ареццо начинает обескровливаться, самые талантливые его сыны ищут себе более широкую арену деятельности нежели та, которую они могут найти на родине. В XV в. Леонардо Бруни Аретино и Карло Марсуппини Аретино похоронены во Флоренции, в Santa Croce как деятели этой второй отчизны. В XVI в. Вазари, родом из Ареццо, здесь возводит только аркаду, а работает в Риме и в той же Флоренции.

На следующий день я продолжала осмотр города. От эпохи Возрождения следов немного: аркада на piazzá Вазари и аркада S. Maria delle Grazie за городом. В церкви Сан Франческо меня ожидало знакомство с «Несением Креста» первого в мире пленэрриста Пьеро делла Франческо. Белые рубашки несущих крест словно омыты светом и излучают его. Затем шел

обход Археологического музея со знаменитыми аретинскими вазами. Это еще более ранний этрусский пласт культуры: античная живопись славит вино, пляски и любовь со всей соблазнительной откровенностью языческого мира. Восхищаюсь изящным оформлением зала майолики: столько деликатного вкуса и любви чувствуется здесь. Майолики расставлены на полках в стеклянных шкапах, охраняющих их от пыли. Над шкафами, как ряд медальонов, вставлены в дерево майоликовые блюда. В местах соединения шкапы ритмически украшены небольшими бюстами, а по углам на малых подставках установлено по несколько малых статуэток.

Вид г. Ареццо около 1300 г. сохранила фреска Джотто из цикла жизни Франциска Ассизского. Облик города можно узнать. За зубчатыми стенами лепятся на горе множество домов и башен, а перед ними внизу на равнине стоит Св. Франциск, изгоняющий демонов гражданских междоусобий гвельфов и гибеллинов. Св. Франциску изгнать их не удалось. Их отродье, отродье демонов междоусобий, оказалось живуче. На пути за город по направлению к церкви S. Maria delle Grazie на стене какого-то склада я прочитала надпись: «Viva il comunismo!».⁷⁸

Сколько образов прошлого и образов жгучей современности за одни сутки: город Dino Compragni в натуре, город-музей и... коммунистический лозунг; готический собор с гробницей Тарлоты и кладбище недавно павших с именными кипарисами, сияние света и потоки воздуха на иконе Пьеро делла Франческо и эпикурейские аретинские вазы в обрамлении чьей-то изящной руки, и все это в рамке вечно неизменного пейзажа с цепью Аиеннин на горизонте. Судьба, которая мне все это показала, бывала ко мне благоклонна.

Работа 30-х годов

Перехожу к научной продукции обсерваторских и саратовских лет, составляющей одно неразрывное целое. В 1925 г. я долго обдумывала основную тему, стержень будущей работы. Тем было больше чем достаточно, но одни, как Лоренцо Валла, казались слишком захватаны, другие — недоступны ввиду необходимости изысканий в итальянских архивах. Вместе с тем я имела случай не раз заметить, что всегда оказывались особо плодотворными свежие темы, с новой и достаточно общей точки зрения освещающие всю эпоху насквозь, как [в трудах] «История циперонизма» Р. Саббадини, «История итальянской семьи» Тамассия или «Гуманистическая историография» Футера, входящая в состав его «Истории историографии». Рядом замечательных описаний последних дней папы Николая V Парентучелли, Лоренцо де Медичи, заговорщика Пьетро Паоло Босколи, философа П. Помпонация и других меня привлекла тема Thanatos,⁷⁹ значимости не только научной, но и общечеловеческой. Тема «Как умирали люди Возрождения» первоначально была представлена широко по роду материалов и с обрядовой стороны. Привлекались трактаты, биографии, lettere consolatorie,⁸⁰ завещания, надгробные речи, иконография надгробного памятника, эпитафии и т. д. Затем в процессе работы тема была сужена до «Гуманистической эпитафии, ее судеб и проблематики». Касаясь гуманистов, тема оставалась в пределах университетского курса; построенная на эпитафиях, она примерно, судя по рекогносцировке, могла исчерпать эпиграфический материал, хотя бы повсюду разбросанный и никогда не подвергавшийся доселе систематической и критической обработке, за отсутствием Corpus'a inscriptionum⁸¹ Средних Веков. Факт первоначально более широкой постановки темы сильно замедлил темп работы, но делу не повредил, поскольку углубил во всех направлениях перспективу.

Путь был долгим и кропотливым. Исходными вехами были «Элогия» Паоло Джовио и «Сборник надписей XVI в.» трудолюбивого Шрадера. За сим шло, с одной стороны, изучение надписей по городам, где один Рим представлен 14 томами folio Форчеллини, с другой — изучение биографий гуманистов, одного за другим. Иногда по гуманисту разыскивался материал,

в другой раз эпитафия обнаруживала неизвестного дотоле гуманиста. В 1929/30 г. была сделана первая попытка обработки, но она осталась еще схематической. Для завершения темы понадобилось в общем более 10 лет; предварительно были закончены другие отдельные штудии, выросшие на почве знакомства с terra incognita⁸² эпиграфики, прежде всего в начале 1933 г. «Фамилия делла Валле в истории гуманистической эпиграфики», где мне удалось иллюстрировать группу любопытных надписей в Ага Соелі⁸³ в Риме. За печатным листом текста стоит исследование, которое двигалось вперед по ступенькам очень медленно. Первоначально в «Italia Sacra» была найдена эпитафия епископа делла Валле и по поводу нее поставлен знак вопроса, поскольку на ней будто лежала печать античной языческой фактуры. Затем через 2—3 года в «Латинской антологии» попался ее филологический вариант: эпитафия латинского поэта Невия, и зависимость перевернута после того, как в моих руках оказалась и генеалогия фамилии Делла Валле, с которой я ознакомила у Michaelis'a (Jahrbücher des K. Deutschen Archäologischen Instituts. Bd VI. 1892). Эпитафия Невия оказалась списанной с подлинной подписи епископа делла Валле. Целая группа подписей фамильной Капеллы в Ага Соелі по следам генеалогии была иллюстрирована трактатами гуманистов и их перепиской, объясняя факт сосуществования двух редакций, эпиграфической и филологической. Работа пошла в 1936 г. в «Archivio della Società romana di storia patria».⁸⁴ На месте статья была отдана на суд Феделе, профессора истории Средних Веков Римского университета и директора Итальянского исторического института. Из редакции мне писали, qu'il l'avait beaucoup apprécié.⁸⁵ В «Giornale storico d. letter. italiana» за 1937 г. я нашла о ней такое суждение: «...ottimo contributo alla storia dell'umanesimo a Roma».⁸⁶

По окончании этюда о делла Валле я на продолжительное время — почти на два года — снова оторвалась от «Эпитафий», но на побочный путь меня вывели те же занятия эпиграфикой благодаря тому, что были тронуты россыпи девственной породы.

В начале 20-х годов в Публичной библиотеке я впервые познакомилась с чудесной альдиной «Nurperotomachia Poliphili», о которой прочитала у К. Vossler'a. Роман вышел анонимно, но в XVIII в. был приписан монаху Франческо Колонна. Затем я нашла исследование о романе Dom. Gnoi, заключение которого резко запечатлелось в моей памяти. «Когда-нибудь под расой Фра Франческо Колонна обнаружится фигура крупного гуманиста». Позднее я забавлялась тем, что в своем воображении подставляла некоторых гуманистов в качестве автора: результат был неудовлетворителен. Полифил и Gnoi долго лежали под спудом. В 1931 г. мне попала книжка «Archivio Veneto—Tridentino» 1926 г. со статьей искусствоведа Fiocco o Felice Feliciano как друге художников и выдержками из его писем. Их язык и стиль меня поразили: это был язык Полифила в его несравнимом ни с чем своеобразии. Я сопоставила время, топографические данные, интерес к искусству и эпиграфике — все становилось на место, соблазн был велик. Вместе с тем было убийственно ясно, что в Ленинграде эту работу не поднять. Снова Полифил, D. Gnoi и Ф. Феличано были отложены в долгий ящик.

В 1933 г. был получен новый толчок. В тревизском эпиграфическом сборнике Буркелати 1616 г. внимание привлекла эпитафия Феличано, вернее, ее часть. Она заставила приступить к поискам о нем для готовившейся монографии о «Гуманистической эпитафии». По мере того, однако, как поиски продвигались вперед и прояснялся многогранный облик этого веронца, первоначальная догадка получала новые и новые подтверждения. Об этих совпадениях я говорила с С. А. Жебелевым, М. А. Гуковским, М. А. Буковецкой — она советовала писать.

Началась последняя стадия работы. Розыскана была, с одной стороны, вся пространная литература о романе на протяжении четырех веков, причем оказалось, что взгляд Gnoi разделяется некоторыми другими. Рядом шло углубленное изучение текста самого романа по экземпляру Института истории книги, документа и письма и параллельно собирание сведений о Фели-

чано. На этом промежутке пути меня окрылили новые находки: с одной стороны, трактат Феличано о пропорциях латинских маюскулов, первый в своем роде, — и упоминание об этих маюскулах в романе; далее — строки о горевшем в чудесной лампе Венериного храма спирте рядом с новеллами Саббодино дельи Ариенти о Феличано как алхимике. Исследование о Полифиле потребовало сцепления в едином фокусе всех линий, по каким шла в прошлом моя работа, — историко-литературной, исторической, эпиграфической, линии истории искусств и фаустовской линии истории точных наук.

Хотелось еще проверить свою тезу на рукописях Феличано, но Британский музей отказал Публичной библиотеке, где мне содействовал В. Э. Банк в высылке одной из них, предлагая изготовить фотокопии за мой счет. Их цена в валюте превосходила всякие возможности. На этом надо было поставить крест.

Зимой 1933/34 г. работа о Феличе Феличано как авторе «*Nurperotomachia*» была закончена. Ознакомившиеся с ней в рукописи С. А. Жебелев, Н. П. Лихачев, О. А. Добиаш-Рождественская дали ей положительную оценку. Дальнейшая реализация встретила трудности. Негде оказалось сделать даже доклад М. А. Гукровский, мой единственный ученик, которому я предлагала свою тему, когда еще была в нерешимости, приступить ли к ней самой, не допустил доклада о ней в Институте истории науки и техники. Можно сказать, что он, ученый секретарь, лег на пороге, усмотрев во мне конкурента. Историческая комиссия Академии наук имела за год одно заседание, а затем забастовала; там шла борьба группировок. В Институте истории книги, документа и письма я гнушалась Орловым, а в 1935 г. начались для меня странствия Агасфера. На русском языке работа так и не увидела свет. Но с самого начала я стремилась ее опубликовать в Италии, которая одна могла сказать последнее слово. Перевод был послан V. Cianu, который обещал издать его в «*Giornale storico della letteratura italiana*», но другие редакторы наложили veto на еретическую тезу. Я решила отправить рукопись с письмом Бендетто Кроче. Он, который всю жизнь представлял «*una parte per se stesso*»,⁸⁷ мне представлялся достаточно смелым, чтобы и здесь отойти от рутини. Благодаря его посредничеству работа была принята Л. Ольски для «Библиофилии», где вышла в 1935—1936 гг. в журнале и отдельным изданием.⁸⁸ В качестве гонорара автор получил 10 печатных экземпляров.

После поры магистерских экзаменов 30-е годы были годами счастья в творчестве и его признания немногими, но компетентными судьями. Упорный труд в одиночку, самоотречение, сосредоточенность были увенчаны успехом: *pop qui incepterit, sed qui perseveraverit* [см. прим 3], изречение, которое для меня выплыло у эпиграфиста XVII в. Буркелати. Еще один *post scriptum* По выходе в свет моего исследования я оказалась и остаюсь до конца 1941 г за «великой китайской стеной» по отношению к зарубежной научной печати. До сих пор я не имела возможности прочитать по поводу нее ни единого печатного отзыва. Только в Саратове через издательство Ольски меня дружески, но без слов, приветствовал сттиском оставшийся мне неизвестным автор статьи о Феличано.

Осенью 1934 г. могло казаться несколько времени, что я снова по своей специальности выхожу за линию *Privatgelehrter*'а на дорогу работы *ex officio*;⁸⁹ я получила заказы по договорам для Академии художеств через Н. Н. Пуннина, а также для Института истории науки и техники. Для Академии художеств осенью 1934 г. мной был закончен этюд в 2 печатных листа о «Портрете кваттроченто», причем в основе лежали старый курс в Институте истории искусств, наблюдения в итальянских музеях 1927 г. и неизданный эрмитажный материал. Работа осталась неопубликованной: моя точка зрения, очевидно, была осуждена как «идеалистическая».⁹⁰

Для Института истории науки и техники я стала заниматься агрикультурным трактатом Кресценция и его переводом. Трактат был мной как-то назван на заседании специальной секции. Работа предназначалась для сборника «Агрикультурных текстов Средних Веков» под редакцией О. А. Добиаш-Рождественской. Возвращение к дантовской эпохе с новой точки зре-

ния и свежий материал о Кресценции юбилейного болонского сборника сделали для меня задачу занимательной. Окончен был труд в Саратове, а самый сборник после многих мытарств вышел только в начале 1937 г.,⁹¹ после того как перестал существовать сам институт.

В 1935/36 г. в Саратове была наконец закончена и монография о «Гуманистической эпитафии». Задача, которая стояла передо мной на этот раз, была совершенно другая, чем по отношению к Феличе Феличано и роману. Там общий ход и схема аргументации родились вместе с первой догадкой; окончательный план только углубил и расширил схему, но ничуть не изменил ее: форма была податливой. «Гуманистическая эпитафия», наоборот, в смысле оформления представила из-за мозаичности материала трудности громадные не только в стадии собирания и критического просеивания его, но и в стадии обработки. Дать здесь твердый костяк и связь удалось не сразу, а вместе с тем это было первейшей задачей. Приходилось отсекавать, добавлять, переставлять, обдумывать без конца; работа в целом и в частности претерпела много редакций. Кое-где остались лакуны ввиду недоступности некоторых важных публикаций. С 1935 г. оборваны были всякие зарубежные связи, в том числе и библиотечные, что на основные выводы, мне кажется, это повлиять не могло.

Монография размером более 20 печатных листов распадается на три части: часть вводную, которая дает постановку проблемы, обзор источников, генезис эпитафии от эпитафии античной и средневековой, ее классификацию, литературное развитие жанра, историю эпиграфической техники; часть вторая, главная, в ряде глав содержит анализ эпитафий с точки зрения господствующих мотивов и проблем; часть третья заключает опыт критической библиографии, расположенной хронологически по текстам, и отдельные excursus.

Значение работы, во-первых, в том, что она дает сводку свежего материала. Надписи и в отдельности, и сведенные в ряды представляют интерес с разных точек зрения, как показал выше пример эпитафии епископа делла Валле. Как известно, эпиграфика латинская на основе «Corpus a Inscriptionum Latinarum» и Бюхелера⁹² разрабатывается давно и многими: надобно — литература о надписях Средних Веков и эпохи Возрождения сводится к немногим названиям. Во-вторых, в историю эпитафии вплетены самые большие имена итальянской литературы и гуманизма от трех флорентийских венчанских поэтов⁹³ через Лоренцо Валлу и Антонио Беккаделли Панормиту до Понтано и Л. Ариосто. В-третьих, книга на этом свежем материале проверяет, в связи с ревизией основ исторической периодизации, некоторые спорные оценки итальянского гуманизма Тоффанина и других, которые отрицают его критическое философское ядро. В самом деле, при изучении надгробий сами собой возникают вопросы: в какой мере для гуманистов ударение стояло на том следе, который человек оставляет на земле, или, наоборот, на судьбе, что ожидает его за гробом? Насколько и как долго гуманисты из мирян сохранили церковные аскетические устои? Насколько стали пренебрегать ими гуманисты из мирян? Что пришло на смену учению апостола Павла о смерти как порождении первородного греха?

Выводы можно здесь формулировать только самым суммарным образом. И в том, о чем гласят эпитафии, и в том, о чем они перестают вспоминать, вскрывается по всем линиям перелом, глубокий кризис мирозерцания.

В связи с отходом от церковной доктрины в эпитафии встает вместо сознания греха и вины представление о роке и фортуне в героических конфликтах с ней *virtù*, человеческого гения; исчезает выражение упования на бессмертие за гробом; гуманисты, клирики в частности, забывая сан и место, до гробовой доски не изменяют ни изящному паганизму, ни либертинизму, причем церковь скрывала и убирала *post factum* эти компрометирующие надписи.

Отрицанию и распаду можно противопоставить элементы нового мироощущения. Образ смерти, лишенный жала греха, перестает быть страшным. Красота в природе и в искусстве — норма граций — скрывают смерть и

примирают с ней. Автаркия, власть над аффектами мудреца-стойка, делает его господином жизни и смерти и определяет мужественный тонус в изъяснении скорби. Все эти мотивы сливаются в мотиве славы как торжества virtù, победы человеческого гения на пути к призванию. Памятники смерти становятся памятниками жизни, зовут вперед. В последних главах идет речь о разногласиях и совпадениях в тенденциях, выраженных в эпитафии и надгробном памятнике, и устанавливается водораздел между языческой древностью и эпохой Возрождения. Еще последнее слово. Эпитафии гуманистов — это те камни на европейских кладбищах, о которых говорил брату Иван Карамазов: «Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, — в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более».

Рукопись читал только С. А. Жебелев,⁹⁴ в котором в эти годы я нашла самого внимательного судью и критика. Его замечания были учтены в окончательной редакции. При отсутствии всяких официальных апробаций для меня ценно то, что в отзывах обо мне он связал эту работу с именем А. Н. Веселовского, влияние которого раз и навсегда и больше всего определило выбор моих тем.

Работа до сих пор не вышла из моего письменного стола. В дальнейшем будет понятно, что меня парализовало. Тем не менее я утешаю себя мыслью, что общечеловеческая значимость темы поможет работе выдержать искус такого долгого ожидания публикации. После ужасов современности наступит же опять для людей пора размышлений и раздумья.

Саратов

В начале 1935 г. вся эта работа оборвалась. Это было вполне закономерно, так как с 1923 г., когда в качестве историка я отошла от большой дороги, большинство моих коллег, старших и младших, терпели репрессии, за исключением Савлов, на этом пути в Дамаск обращенных в Павлов, вроде проф. Фармаковского,⁹⁵ который уже в 1924 г. доказывал в докладе, что античные фигурные вазы лучше всего демонстрируют классовую борьбу. Поводы и формы репрессий были разнообразны; в лучшем случае после чистки и соответственной исповеди ее жертвы снимались с должности с запретом работы по специальности, в худшем — ожидала высылка, которая постигала людей, очень видных, как академик Платонова, Лихачева и Тарле, а чаще лагерь. Сборник 1929 г. под заглавием «Классовый враг на историческом фронте»⁹⁶ увенчал курс Покровского на выкорчевывание всех инакомыслящих; осуществлялся старый проект Козьмы Пруtkова «О введении единомыслия в России». Конечно, в этом курсе были подтемы и снижения в связи с общей конъюнктурой. В 1932/33 г. отношение стало несколько более примирительным, зато в 1935 г. — после убийства Кирова — винт был снова закручен до отказа, и классового врага искали во всех высших учебных и ученых заведениях. При этом я держала ответ в должности заведующей библиотекой Главной геофизической обсерватории. Чтобы объяснить, как это случилось, надо вернуться к 1933—1935 гг. По инициативе Вангенгейма, который тогда возглавлял Геофизическую службу Союза, а несколько позднее сам угодил в Соловки, было решено наладить в союзном масштабе, по примеру гидрологов, библиографическую работу. Дирекция ГГО предлагала мне возглавить ее; я это отклонила, ибо физически не могла бы совместить работы по библиотеке и своей собственной, исследование о Феличе Феличано было тогда в самом разгаре, впереди было другое — с новой и очень большой нагрузкой. Поэтому я допустила появление рядом с собой в качестве заведующей библиографическим бюро Л. В. Булгаковой, законченного

типа «антисоветской клеветницы», по позднейшей терминологии 1939—1940 гг. С ярлыком библиографа-марксиста она с 1930 по 1940 г. сотрудничала в 10 ленинградских ученых учреждениях, в каждом заводила доносы и склоки, которые, как в Сельскохозяйственной академии, доходили до суда, и должна была искать новую пристань, пока ее не нашла в архиве НКВД. В 1934 г. в обсерватории ее мишенью явилась я. Интригу поддерживала С. А. Костарева, научный сотрудник обсерватории, которую я там застала уже в 1925 г., по языку — агент-провокатор. Она мне мстила за то, что я отклонила личное с ней знакомство. Фамилии Булгаковой и Костаревой фигурировали в моем подлинном деле, как это мне стало документально известно в 1940 г. Против меня как заведующей библиотекой был объявлен поход по всем тайным и явным путям. Через Костареву было оказано давление на директора, [Владимира] Ст[аниславовича], человека очень неглупого, но лишнего образования, библиотекой не пользовавшегося и не имеющего никакой возможности судить лично о направлении работы в ней. Директор в это время поступил на 1-й курс физмата, а Костарева его репетировала и в качестве нимфы Эгерии умела внушить ему свои мнения. Зато общественность обсерватории все время была на моей стороне и в стенгазете высказывалась против насаждаемого Булгаковой «ура-марксизма». Была создана комиссия для обследования работы библиотеки, причем в ее состав Булгакова сумела ввести трех своих людей. Когда комиссия вынесла благоприятное для меня постановление, Булгакова с сателлитами формулировала новые, как было сказано, «тяжелые» обвинения, которые расследовала уже головка обсерватории во главе с директором, но вместе с теми же научными сотрудниками, которые входили в комиссию. На заседании Булгакова с позором провалилась. Ее козырем было обвинение меня в неравильном и самовольном расходовании валюты на иностранную литературу в смысле выписки таковой в личных интересах. Формально это обвинение было несостоятельно, так как выписка происходила в сотрудничестве со специальной комиссией, и списки утверждались директором, что было подтверждено администрацией. По существу обвинение было облыжно, так как выходящие как будто из рамок нашей специальной библиотеки две книги по истории греческой религии и Гомеру были приобретены по заявке нашего столпа профессора Б. П. Мультановского, который написал этюд о Гомере с точки зрения синоптики, при этом у меня в руках был оттиск этой работы из «Метеорологического вестника». Книга по истории крестовых походов, входившая в список, была мной расшифрована как «История географических исследований эпохи крестовых походов», изданная Американским географическим обществом. Сокрушить меня окончательно должна была многотомная история магии, сочинение, по словам Булгаковой, столь вредное, что его нельзя было давать на руки сотрудникам, а следовало передать в антирелигиозную библиотеку. На вопрос И. А. Кибеля, ныне лауреата, можно ли было выдавать его там, Булгакова отвечала положительно: там, мол, ему дадут соответствующую оценку. Нужную поправку внесла я, речь шла о двухтомном тогда труде американского ученого Thorndike по «Истории магической и экспериментальной науки».⁹⁷ Получилось так, что по «Крокодилу». В заключение мной было отмечено, что лица, подписавшие под списком одиозной литературы, фактически ее не видели ни на месте, на полках, ни в каталоге, где ее можно было выудить, ибо ни к каталогу, ни к полкам они не подходили. Список был составлен Костаревой. Все это происходило в мае 1934 г. Булгакова пыталась через «Ленинградскую правду» потопить не только меня, но и администрацию обсерватории. Редакция газеты обратилась за справкой к последней и номер не прошел, но та же цель Булгаковой была достигнута в январе 1935 г. В промежутке вторая комиссия специалистов — библиотечных работников обследовала снова работу библиотеки и библиографического бюро, поскольку профессиональная репутация Булгаковой за этот срок успела пострадать, я предложила работу библиографического бюро передать библиотеке, а Булгакову сократить, что и было сделано. Когда ученый секретарь на заседании предложил Булгаковой дать свои объяснения, она сказала, что даст их в другом месте — в самом деле, все ее обвинения были мне повторены в мар-

те 1935 г. следователем. За увольнение Булгаковой и скверное происхождение я заплатила высылкой в Саратов на 5 лет.

2 марта 1935 г. я познакомилась со Шпалерной.⁹⁸ Минуты многие подробности, остановилось только на главном. За несколько дней перед тем у меня был обыск, при котором была взята лишь записная книжка с адресами, а я сама оставлена дома ввиду бюллетеня — последняя комиссия стоила мне межреберной невралгии — с обязательством явки к следователю. Наша первая беседа должна была меня устроить, но цели не достигла: не всякий способен быть страшным. Назвав меня с места в карьер по фамилии и только, следователь латыш — грубый и тупой заявил, что сегодня я могу еще спасти себя, рассказав все без утайки. На мой ответ, что в моем возрасте смерть не страшна, собеседник возразил афоризмом, правильность которого я впоследствии могла проверить неоднократно: Советская власть знает много способов сделать жизнь нестерпимой. По адресной книжке я была подробно допрошена о всех своих знакомых. При составлении протокола следователь попытался было мне приписать свои измышления о каких-то беседах, о зарубежных друзьях; я сделала соответствующую оговорку при подписывании протокола к неудовольствию автора. Затем я была посажена в коридор для размышления, но и после них рассказывать было нечего. Я была вслед за тем отведена в тюрьму, в первый раз становилась к стенке при встречах в коридорах с другими арестованными и видела металлические сетки между пролетами лестницы, чтобы помешать охотникам разозлить себе голову. Вместе с тем я сразу поняла, что официально утратила человеческое достоинство: из изолятора меня с молодой беременной работницей отправили в ванну дежурный здоровый мужик, и ему же, который стоял рядом, надо было сдать, оставшись голой, всю одежду для дезинфекции. Ночь в изоляторе была проведена на досках. Затем последовала до отказа набитая камера и 10 дней опять на полу на жестком соломенном тюфячке. В камере я встретила другую сотрудницу обсерватории, которая успела мне объяснить, что в обсерватории до меня было арестовано 10 человек из старых работников. В 1935 г. тюремный режим был еще сносен: кормили впроголодь и скверно, но были допущены раз в неделю передачи, которыми многие делились, разрешены газеты. Настроение, однако, было жуткое: в декабре и в январе были расстрелы. Ночи напролет длились допросы. Из одиночек доносился плач младенцев. Представлены были все классы и возрасты от 15 до 80 лет. Это был Ноев ковчег, куда собрано по 7 пар животных, чистых и нечистых; было много «мужних жен», новая категория заключенных, которые отвечали за мужа, не за себя, были раскулаченные и офицерские дети и жены, теософки и верующие православные, виновные в переписке с родственниками за границы и когда-нибудь привлечавшиеся к дознанию, и т. д. Следователь вызывал меня еще три раза. Его вопросы касались поездки в Италию и вместе с тем повторяли пункты обвинения Булгаковой, вроде выписки «мистических» книг, т. е. той же «истории магии» — со ссылкой на Булгакову, вместе с тем он неявно представлял себе, чем отличается библиотека от библиографии, а объяснений слушать не желал. Кроме того, следователь упрекал меня в высоком положении отца и не поверил, чтобы я могла уйти из дому. Допросы, которые становились все короче, кончались окриком: «Убирайтесь вон!» В последний раз мне было предъявлено обвинение в участии в фашистской группировке вкупе с другими сотрудниками обсерватории.

— Дайте очную ставку!

— А если будет очная ставка, вы признаете себя виновной?

— Ответ: Смотря по тому, с кем: Нездорово со страху способен показать, что я вела подкоп под это здание, а Костарева скажет все, что ей угодно.

-- Чтобы вы ни сказали, ваша участь уже решена.

Просидев месяц, я была освобождена, а 15 апреля выслана на 5-летний срок в Саратов. Бумажка, которую я подписала перед выездом, не заключала никакой мотивировки высылки.

Хлопотать на месте было бесполезно. Я разделяла участь десятков ты-

сяч, а только единицам, с исключительными связями, удавалось отстоять себя. На шестом десятке я бросала научную работу, семью, друзей, свой угол, свои книги, город, где я прожила всю жизнь.

Проездом через Москву я попыталась защититься, мне обещал помочь Н. К. Муравьев.⁹⁹ Заявления по разным адресам были мною направлены из Саратова, но все остались без ответа. В 1937 г. летом московская прокуратура при личных запросах что-то обещала к осени. Ответ, однако, был дан не ей.

Саратов был наводнен высланными, которые были отданы на съедение местным мещанам-домохозяевам. Люди ютились даже в сараях, благо весна была ранняя. Саратовские квартиры вспоминаю не без ужаса; я их переменила пять, пока через полтора года не нашла человеческое жилье. Выживало по очереди соседство буйных помешанных, стрельба из наганов и семейная поголовная пьянка. Города сохраняли свой уклад столетиями, несмотря на перемену режимов. В мемуарах о саратовской старине Н. Г. Чернышевский рассказывает о процветавшей в городе уголовщине под защитой исправников и полиции. Через 100 лет, Саратов, став городом промышленным и университетским, оставался городом воровским и разбойничьим под крылом милиции. В каждом доме можно было ознакомиться с богатой хроникой грабежей, ночных раздеваний и других насилий.

Нельзя сказать, чтобы Саратов на первых же порах встретил меня приветливо. При отъезде я вместе со своими друзьями рассчитывала найти приют в музее Н. Г. Чернышевского, причем сотрудничество это мыслилось отнюдь не как платное, а как добровольное, какое я в течение 10 лет имела за собой в Палеографическом музее. Музей находился в ведении внучки Чернышевского, Быстровой,¹⁰⁰ дочери хорошо мне знакомого Михаила Николаевича Быстрова и проф. Рыков,¹⁰¹ декан истфака и глава всех саратовских музеев, предложили мне предъявить свои привезенные мной договора с Институтом истории науки и техники. Когда это было сделано, мне было заявлено Быстровой: «Ваши темы не имеют отношения к Чернышевскому». — «Понятно, Институт истории науки и техники занят не литературными проблемами». — «Тогда Ваша работа здесь невозможна, условием допущения к работе во всех учреждениях Союза является соответственное официальное поручение какой-нибудь организации». Иллюстрации к этому высказанному Быстровой положению были нелепыми, совершенно не согласовались с действительным узусом, мне хорошо известным. Я спорила до тех пор, пока не поняла, что в музее, которому только что перед тем подарила рукопись моей работы 1918 г. о Чернышевском, мое сотрудничество нежелательно. Разговор был кончен и больше не возобновлялся.

В течение первого года в Саратове я не имела службы. Я кончала перевод Кресценция, у меня, как сказано, были договоры на другие работы по истории техники для того же института. Когда институт был раскассирован, я для заработка имела из Ленинграда технические переводы. Досугом я хотела воспользоваться, чтобы закончить затянувшуюся работу над «Гуманистической эпитафией», для которой материал давно был собран целиком. Около года я жила на самой окраине, домохозяйева обитали отдельно напротив, остальные жильцы подолгу отсутствовали, и часто неделями я оставалась совершенно одна. В темные вечера и зимние вьюги — при слабых запорах и грабежах по-соседству — там бывало жутко, но я дорожила одиночеством и возможностью сосредоточиться. Обдумывание и процесс писания шли при «одержимости» темой; ничто не сравнится со счастьем погружения мыслью в важный предмет, в котором открываются новые грани и новые связи.

Когда на монографии была поставлена точка, я заполнила еще один пробел. В предыдущий период в Ленинграде, занятая технической библиотечной работой и писательством, я не могла систематически следить за текущей советской исторической литературой. Теперь с этой целью я ориентировалась в ворохах периодики и книг, чтобы восстановить ход развития русской историографии на протяжении почти двух десятилетий по зигзагам официальных директив и разным «соборам», то бишь дискуссиям. Эра По-

кровского уже успела смениться эрой его заушения и поношения, в чем упражнялись охотнее всего его ученики, вроде Панкратовой.¹⁰² Обнаружилось богатство по части публикаций источников и скудость по части исследований. То, что здесь было ценно, принадлежало преимущественно людям старой школы, во главе с Е. В. Тарле.

В 1936 и 1937 гг. я работала в библиотеке Саратовского университета и в ее филиале, библиотеке истфака, а осенью 1937 г. — в Саратовской областной библиотеке, по систематизации и разборке старых фондов, где удавалось выуживать немало интересного. Библиотека университета работу оплачивала по счетам; дважды шли переговоры о зачислении меня в штат, и оба раза они оборвались: я не была утверждена по благонадежности. В Областной библиотеке я была сокращена к 1 ноября 1937 г. — конечно, по предписанию свыше вместе с рядом других сомнительных сотрудников. В связи с работой в университетской библиотеке я имела случай познакомиться с двумя другими ее сотрудниками, такими же изгоями, как я, но высшей марки — Рязановым, бывшим директором института К. Маркса и Ф. Энгельса, и Ластовским, бывшим ученым секретарем Белорусской академии наук. С первым, консультантом библиотеки, я работала по организации библиотеки Саратовского истфака, которая получила ценную библиотеку старого канцлера Николая I Нессельроде; Ластовский заведовал отделом редких книг.

Рязанов, — его настоящая фамилия Гольдендах, — единственный крупный партизек из старой гвардии, которого я имела случай лично видеть. Его имя сохранил Д. Рид в «Десяти днях, которые обновили мир». Рязанов принял участие в первом ноябрьском и принципиально самом важном кризисе Смольного правительства 1917 г. и вышел из его состава, отстаивая свободу печати и коалицию с социалистическими партиями. Позднее он высказывался против смертной казни. В Саратов он был выслан в 1930 г., там занимал барский особняк, для него освобожденный от жильцов, вместе с племянницей жены и ее детьми. Жена его оставалась в Москве, но часто к нему приезжала. Жил он уединенно, никого не принимал и ни у кого не бывал — знакомства могли быть опасны для других столько же, сколько и для него. Человек европейского образования, он был европейцем и по внешности, но вместе с тем оставался вельможей, не терпевшим прекословия и способным даже в опале орать на слушников, независимо от их ранга. Поэтому профессора не любили встречать его на заседаниях. По части библиотечной техники он тоже держался своих мнений, кстати сказать, давно сданных в архив, — в этой области я, впрочем, охотно предоставляла ему carte blanche. Его случайные замечания по поводу книг обнаруживали большую эрудицию по части новой истории и способность «сметь свое суждение иметь». В 1937 г. кончался срок его высылки, и он надеялся получить разрешение полечиться на Минеральных Водах; вместо того в возрасте 66 лет ему суждены были с женой тюрьма и путешествие в неизвестном мне направлении. Этому «любезно содействовали» приставленные к нему по библиотеке два студента-истфаковца, перед которыми он неосторожно обнаружил ту же независимость суждений.¹⁰³

Ластовский,¹⁰⁴ уже сломленный ссылкой, представлял новый для меня тип ярого националиста-белоруса. Вся его большая эрудиция вращалась вокруг фольклора, старины, истории книги Белоруссии, только этим он и дышал. Его рассказы о своем детстве объяснили мне, как складывались люди его пошиба. Ему было 110 лет, когда урядники вместе с православным священником отобрали у его отца-крестьянина старые книги и сожгли их. В семье хранилась память о расстреле каждого пятого мужика, который не хотел отказаться от унии, как иллюстрация к памятной медали по поводу воссоединения униатов: «Отторгнутые насилем, воссоединены любовью». В Саратове Ластовский тоже жил нелюбимым и вместе со своей кроткой женой утешался только перепелкой, ночевавшей у него на подушке. Одиночество так же мало спасло его, как Рязанова.

Прикованная к Саратову, с его зимними буранами и летними суховеями, я часто меланхолично прислушивалась к железнодорожным свисткам

на станции. Процессы, которые изобличали партийную верхушку, казалось, должны были реабилитировать десятки тысяч высланных ни в чем неповинных людей и вернуть им гражданские права. Случилось обратное. Летом 1937 г., после дела Тухачевского и других, в Саратове началось неслыханное избиение партийцев, которые исчезали «пачками» вместе с женами; детей отправляли в детдома в другие города; слышно было о самоубийствах среди партийцев; в октябре начались массовые аресты среди ленинградцев и других. Еще раньше вышло постановление, по которому в будущих декабрьских выборах в Верховный Совет должны были принять участие все, помимо заключенных. Согласно общественному мнению, которое разделяла я, аресты должны были устранить соответственные ненадежные элементы от выборов.

В ночь на 3 ноября 1937 г. я была арестована после обыска и просидела в Саратовской тюрьме 11 месяцев до конца сентября следующего года. И здесь мой рассказ восстановит только главные вехи. Саратовская тюрьма гостеприимно открыла помещение разных, так сказать, классов, от I до IV согласно табели о рангах. Аристократией были «жены». Им отвели громадную камеру в бывшей механической мастерской — общих корпусов не хватало, обставили ее кроватями, полками и вешалками; к ним являлся для объяснений начальник НКВД; следователи доставляли им чемоданы с вещами. Эти вещи они не таскали на себе в баню для дезинфекции. Ленинградки имели три камеры в той же мастерской, но без полок, вешалок, без объяснений начальства и доставки вещей. В подвальном полутемном этаже сперва был склад овощей, а затем были помещены старухи-колхозницы и другой народ «попроще». Наверху с другого хода были камеры для мужчин. В механической мастерской долго не было на окнах щитов, и поэтому мы могли наблюдать, как ежедневно «пригоняли» новые сотни и тысячи людей, сперва из города, потом из области, и как они снова исчезали после переключки на дворе. То начала работать сверхскоростная «тройка» никому неведомых судей. Кстати сказать, «гнать», «пригонять», «угонять» — технические выражения у населения тюрьмы и лагеря моего времени для всяких пересылок по этапу, и выражения вполне точные, ибо людей гнали, как скот. До 1 января по номерам квитанционных книжек в тюремный ларек я насчитала до 20 000, прошедших через Саратовскую тюрьму. К весне это число возросло примерно до 100 000.

Как в Ленинграде в 1935 г., так и здесь заключенные были собраны по группам, согласно «Книге живота», или, говоря на современном языке, весьма усовершенствованной и разработанной картотеке «социально опасных» или, вернее, — могущих стать таковыми. Кроме «жен» и ленинградок, в числе арестованных были так называемые к-в-ж-динки, служащие Китайско-Восточной железной дороги и члены их семейств, прибывшие в том году из Харбина после передачи дороги Китаю и встреченные со всякими почестями; местные люди, жены, матери и дочери тех, которые когда-либо потерпели репрессии; эмигранты и перешедшие самовольно границу. Потом нахлынули из городов и деревень области колхозницы, раскулаченные, бывшие монашки, попадьи и т. д. Так называемые «бытовые», т. е. уголовные, первоначально были в основных корпусах. Потом во время частых перетасовок по камерам — я успела побывать в пяти — все эти категории смешались, и мы могли насмотреться всякого народу вплоть до проституток звериного облика и до ребят от 7—8 до 15 лет в соседней камере. На отделение проституток возлагалась деликатная миссия слежки.

С 1935 г. тюрьма усовершенствовала свои приемы и сумела все сделать мучительным: допросы, перевод из камеры в камеру, пользование уборной и баней, питание, сон. Для удобства дежурных в уборную пускали три раза в сутки, партиями: парашу по соображениям гигиены убрали, и больные вымаливали неочередной пропуск. Преподавателя с начальством не помогали. В баню мы шли навьюченные, как верблюды, всеми вещами для сдачи в дезинфекцию рабочим-мужчинам, которые принимали эти вещи от голых женщин. Передачи были сохранены для бытовых, а мы имели только право при наличии своих денег раз в месяц пользоваться ларьком, который с ян-

варя совершенно оскудел. Питание было недостаточным, мы все голодали. Пошла цинга и желудочные заболевания. В конце апреля были разрешены раз в месяц почтовые посылки, которые спасли тех, кто имел родных. Газет не было. Письма не доходили. Кстати сказать, и здесь, и дальше наш адрес скоро стал анонимен и перестал включать одиозное слово «тюрьма», чтобы обилие соответственной корреспонденции не смущало добрых людей. Все должно было быть шито-крыто. Адрес заключал отныне название города и номер почтового ящика.

Были лица, которые допрашивались 15 раз, были другие, у которых конвейерный допрос длился 8 суток подряд и которых выносили замертво. Меня вызвали раз и на «черном вороне», — так в Саратове называли черную наглухо закрытую автомашину, служившую для перевозки заключенных по городу, — доставили в НКВД. Один из моих спутников, молодой еще мужчина, несмотря на зиму, дрожал всю дорогу в одном пиджаке. Беседа моя с двумя следователями длилась полтора часа и была совершенно корректной по форме. Думаю, что тон был дан моей спокойной и сдержанной речью. Первый вопрос гласил, за что я была выслана. Были очень недовольны, когда я отозвалась неведением: в самом деле, причины высылки мне объявлены не были. Затем предъявлено было обвинение не больше, не меньше, как в шпионаже. Повод — обнаруженный у меня при обыске черновик перевода с английской статьи по авиации с указанием всех выходных данных. Проверить факт перевода можно было в две недели после соответственной справки в библиотеке. Но мой следователь и не слыхивал о том, что в СССР где-нибудь проводится подобная работа. Он меня спросил, чем я могу доказать, что вообще таковой занималась. Я сослалась на перевод с латинского Кресценция, который вышел в начале того же 1937 г., в сборнике, изданном Академией наук. В подписанном мною протоколе (с рядом грамматических ошибок) не заключалось ничего другого. После я была бегло допрошена о знакомстве среди ленинградцев. Вот и все. Снова, как в Главной геофизической обсерватории, моя вина свелась к окончанию двух факультетов и знанию иностранных языков, недоступных следователям и судьям. Рядом с книжкой Lynn Thorndike — мог ли ее автор представить, чем отзовется ее появление в СССР — стал перевод английской статьи по авиации. Очень скверные анекдоты, неправдоподобные и тем не менее истинные. Еще Екклзиаст некогда сказал, что множество познания умножает скорбь.

После этого допроса я несколько времени предавалась неосновательному оптимизму, несмотря на окружавшую меня общую панику. В январе этот оптимизм был окончательно погашен. Еще в декабре мы наблюдали ликорадочно спешную массовую отpravку по этапу мужчин. За ними последовали мы. Пришлось убедиться, что после самого поверхностного осмотра врачебной комиссией нас, вплоть до старух 60 лет и старше, отправляют в лагерь раздетыми, какими мы были взяты еще в теплое время, без обуви, потерявших в Саратове детей и остатки имущества. День, когда камера это поняла, был ужасен. В самом деле, на этапах — мы узнали об этом еще в тюрьме, от арестованных позднее — люди замерзали и гибли. Освобождены были при мне только единицы, из арестованных не более 1%.

Моя участь была отсрочена не по возрасту, а по болезни, так как тюремным врачом были засвидетельствованы припадки бронхиальной астмы, которой я страдала с 1919 г. Приговор к 10 годам лишения свободы был объявлен мне только в мае, но, будучи массовым, не произвел уже впечатления ни на меня, ни на других, как слишком несообразный, чтобы не быть отмененным раньше срока.

Несмотря на голод, темноту и ужасающую летнюю духоту в центральном корпусе, грязь, насекомых, повальные заболевания, издевательства, постоянное напряжение в ожидании новых ударов, картины всяческих страданий и вереницу личных драм, тюрьма была еще не самым худшим этапом на моем пути. В самом деле, здесь встречались люди, с которыми можно было перекинуться словом, где можно было учить и учиться. Я преподавала географию, немецкий и русский языки, сама совершенствовалась в англий-

ском. Замечательную ученицу я имела в лице эмигрантки-коммунистки, родом из Цюриха, Эльзы Ашер, урожденной Броинер, которая успела на своем веку пожить во Франции, Англии и Германии; путешествовать по Италии и Югославии. В ней сочетались темперамент, жадность к жизни, смелость, ум, любознательность. Сохранив в тюрьме рюмянец и улыбку, она держалась с исключительным мужеством, несмотря на отнятого ребенка, одиночество на чужбине, сидение в одиночке среди смертников, конвейерный восьмисуточный допрос и лишение следователем права покупок в ларьке при наличии денег на сберкнижке.

В конце сентября 1938 г. наступил и мой черед проститься со стенами тюрьмы ради стен лагеря инвалидов близ г. Пугачева, б. Николаевска, Саратовской области. О существовании лагерей для инвалидов до Саратовской тюрьмы я никогда не слыхала: предстояла возможность ознакомиться с ними лично. Переезд по этапу длился сутки, но все-таки был мучителен, начиная с процедуры комиссий и обыска — мужчины раздевали догола, погрузки стоймя в набитый до отказа грузовик в обществе почти ослепшей молодой женщины, которую я вела, тряски на грузовике по городу, и кончая вагоном с решеткой и телегой от города Пугачева — до колонии, откуда можно было вылететь каждый момент.

Колония № 7 для инвалидов и после тюрьмы показалась жуткой. Среди степей, на берегу извилистого Иргиза она укрывалась за стенами бывшего женского монастыря высотой больше чем в два человеческих роста. За их постылые пределы мне не суждено было выглянуть в течение следующего года и четырех месяцев. На углах возвышались башни с часовыми. Стены заключали большое, почти квадратное пространство, один угол которого был занят тюрьмой за особой оградой. Постройки барачного типа, на большом расстоянии от стен, замыкались четырехугольником; среди них я потом научилась различать помещение дежурных, баню, прачечную, кухню и т. д. На всей площади — только два дерева, ни одного кустика; в центре — клумба с цветами.

Еще более жуткими были камеры и обитатели, мужчины и женщины, число которых при мне менялось от полутора тысяч до тысячи. Прохаживались к вечеру — мы прибыли при закате солнца — старики и старухи и калек всех возрастов, слепые, безрукие, безногие, с одним туловищем, с искривленным позвоночником — у трех рядов идущих было всего три ноги — это зрелище напоминало кошмары Гойи с изображением ужасов войны. Интеллигентных лиц совсем не было видно; все это были «бабы» и «мужики», как они привыкли именовать себя и друг друга, без всякого уничижительного оттенка. В массе это были «ордерные», т. е. взятые по ордеру, к которым принадлежала и я; в составе целых семей они были набраны по деревням Саратовской области и области немцев Поволжья, причем старики задержаны на месте в колонии, а молодежь угнана дальше. Среди них вновь были взяты все «раскулаченные» в 1929 г. из тех немногих, кто вернулся домой после каменоломен Казахстана и лесных работ в тундрах Архангельска. Кроме ордерных, была значительная прослойка осужденных судом по 58 ст. и «бытовые» из города и деревни. Все это было одето и обуто в жалкую рвань — казенной одежды не было. Поле наблюдений под старость над никому неизвестным советским уголовным миром было богатое, но здесь останется в стороне.

Барак, где я прожила все время, кроме трех недель, проведенных в больнице, представлял огромный сарай на 200 и более человек, с тремя двойными рядами коек и нарами над ними, куда вели приставные лестницы. Спали вполка в такой близости, что ночью вас задевали чужие руки и ноги. Сифилитики, туберкулезные, больные недержанием мочи находились тут же. Имущество было в изголовьи, в ногах и в бесчисленных мешках и мешочках по стенам. Все было похоже на табор переселенцев или погорельцев. Когда я приехала, крыша протекала, и все окна были разбиты — к зиме это поправили. Уборные за камерами представляли клоаки. Я писала домой, что изучаю энтомологию, но не по Брему, одолевали мухи, тараканы, клопы и вши. Два раза в день приходилось просматривать всю одежду. К весне,

очевидно, из опасения сыпняка с ними начала бороться администрация. Зимой в той же камере сушилось белье; на улице его нельзя было оставить на ночь: покрали бы. Были, правда, две так называемые «культурные» камеры, где в каждой помещалось человек по 15—20 избранных, которые имели отдельные кровати, но большинство могло только любоваться на них.

Через неделю по прибытии в Пугачев я заболела дизентерией в тяжелой форме. В больнице не было простейших лекарств, а при выздоровлении — необходимых продуктов диетического питания, вроде манки и картофельной муки. Как я выкарабкалась и не умерла с голоду, и сама не понимаю. Позднее я узнала, что как раз в октябре 1938 г., во время этой моей дизентерии, в Париже в журнале вышла моя статья «К истории жеста».¹⁰⁵ Главный врач Востоков, достойный эскулап достойного учреждения, меня выбросил из больницы, когда я еще не могла стоять на ногах: с «бабой» он так не поступил бы, хотя вообще ни с кем не церемонился, но мою вину усугубляла принадлежность к интеллигенции. Вообще, меньше всего внимания он уделял больным. Колония для него была синекурой. Всегда щегольски одетый, с выхоленным и каменным лицом, он смотрел через больных и поверх них, сваливая всю лечебную работу на врача и фельдшера из заключенных. Просить его о чем-нибудь было безнадежно.

Питание в лагере в отношении качества было несколько лучше, чем в тюрьме, благодаря овощам, которые выращивались здесь же на плантациях. Тем не менее оно было совершенно недостаточно. Общий рацион и при Берии все время по предписанию центра становился суровее — можно было изумляться изобретательности тех, кто неуклонно совершенствовал и изощрял личный опыт царских тюрем. Весной 1938 г. можно было писать ежедневно, еженедельно получать передачи, ежемесячно иметь свидания. В начале 1940 г. ордерным и осужденным по 58-й статье разрешалось отправить и получить в месяц по одному письму, раз в месяц принять передачу или посылку. Свидания на 1/4 часа в присутствии дежурного через перегородку можно было иметь два раза в году. Для бытовых все это смягчалось, но они лишены были условного сокращения сроков наказания при хорошем поведении. Выдача денег на руки ограничивалась 10 рублями в месяц, но сплошь да рядом и эта сумма задерживалась месяца на три. Администрация чистосердечно объясняла, что гроши заключенных она тратит на нужды колонии. Это значит, что в лучшем случае можно было приобрести в ларьке кило сахару и около 3 кг белого хлеба в месяц. Раз в месяц и чаще приходили во всех камерах повальные обыски в вещах и личных — искали ножи, краденые казенные вещи. Руками заключенных был сооружен темный карцер. «Каменщик, каменщик, в фартуке белом, строишь ты, строишь кому?».¹⁰⁶ И все это еще не было самой тяжелой участью. Матери, жены, дочери не получали за все время никаких известий от взятых с ними мужчин; у тех, заживо погребенных, не было никаких связей с миром живых, ни писем, ни посылок, ни свиданий; ставка была на истребление.

Работа на плантации летом 1936 г. тоже была еще по силам инвалидам. Кто шел на нее до обеда, после мог оставаться дома. И здесь все изменилось. Труд стал принудительным и тяжелым. Он был нескольких видов: 1) по бытовому обслуживанию, т. е. работы на большом скотном дворе, в прачечной, кухне и т. д.; 2) по обработке плантации с 1 апреля по 1 ноября; 3) по производству игрушек во вновь открытой мастерской. Всего изнутри был сельскохозяйственный труд; соревнование и высокие нормы вменялись в обязанность всем старухам, кого еще держали ноги; не надо забывать, что у каждой были констатированы врачами какой-нибудь ревматизм, опухоль и т. д. Работали с 7 часов утра до захода солнца, под дождем, осенними жестокими ветрами и при палящей жаре с получасовым перерывом на обед, который состоял из постных шей и блюда каши. С весны старухи разрыхляли землю кирками и рыли канавы. При работе в мастерской страдали от сырости и холода необсохших стен. Отправка на работы новых партий при криках и застрашивании надзирателей и дежурных с раннего утра бередили слух и нервы. Упорным «отказникам» грозили «выс-

шей мерой наказания». К ней фактически прибегли в Куйбышевском лагере, о чем, согласно приказу, торжественно и всенародно было объявлено нам начальством на площади. Зато осенью многочисленная и раскормленная администрация с чадами и домочадцами являлась на поля с мешками убирать в свою пользу богатый урожай от работы белых невольников. Тот же урожай кормил колонию и Саратовскую тюрьму.

Я искала работы в канцелярии или библиотеке. По новому распоряжению «ордерные» к такой не допускались. На физическую работу меня не послали. В камере я обслуживала старух, в большинстве неграмотных, в качестве писаря и ходатая по делам, составляя бесчисленные заявления, — каждое обращение к начальству требовало такого. На меня легла обязательная четка в камере газет вслух, переписка стенгазеты и других бумаг, работа суфлера на постановках. Конфликтов с администрацией у меня не было.

Труд меня не изнурял, изматывала обстановка. Прежде всего то, что нигде и никогда ни на минуту нельзя было остаться одной, вместо этого надо было всегда слушать ту же неумолкаемую отвратительную ругань, нюхату же вонь, на 40° морозе мыться из кружечки на дворе, спать при свете и при проходящих ночью меж рядов дежурных, вставать и ложиться по гудку, разделять общество воров и проституток, видеть, как рядом гибнут люди, сходя с ума, пораженные слепотой на нервной почве, и т. д. и как вечером под покровом темноты верблюд вывозит из больницы на телеге очередной труп, покрытый соломой.

У нас охотно сопоставляют тяготы царского режима и благодеяния советского строя. По этой схеме лекторы продолжали просвещать нас и в Колонии № 7. Понятно, что моя мысль шла тою же тропкою. Для сопоставления тюремного режима прежде и теперь у меня было только что перечитанное «Воскресение» Л. Н. Толстого и воспоминания А. И. Ульяновой о брате и его сидении в Крестах. По сравнению с «Воскресением» все оставалось на месте, кроме кандалов, отмененных еще до революции; только регламентация стала бесконечно мелочнее, изощреннее, беспощаднее. Ленин — активный революционер — в отношении стола был на снабжении матери и работал над «Историей капитализма в России», имел право выписки книг из библиотек, чем пользовался для конспиративной переписки. Нас медленно уничтожали голоданием, а в отношении книг предлагали пользоваться жалкими библиотеками тюрьмы и лагеря. Мне было один раз разрешено получить книги с воли, непременно новые и отнюдь не иностранные, но взять их с собой при освобождении запретили. Это равносильно запрету выписки книг. Чернил и бумаги мы не имели прав иметь.

Как можно было жить под таким прессом два года и четыре месяца? Человек оказывается способным перенести гораздо больше, чем он сам себе представлял и мог себе представить, быть может, благодаря тому, что будущее для него благодетельно сокрыто и неведома длительность испытания. И в тюрьме, и в лагере кара казалась столь нелепой и ни с чем несообразной, что была твердая уверенность в отмене, в пересмотре массовым и принципиальном. Должны были, казалось, опомниться, прийти в себя. . . На самом деле реальная жизнь не укладывается в рациональные рамки, господствует в мире не разум, и испытание длилось гораздо дольше, чем можно было предполагать. Гибель была возможна, я готова была ее встретить спокойно. Упадка духа не было, быть может, потому, что морально не была одна и стояла в конце жизненного пути: меня можно было уничтожить только физически. В прошлом я подчиняла всю жизнь свою категорическим императивам, не могла поступать иначе, чем поступала, и мне не в чем было себя упрекнуть. Моя жизнь в моих глазах была оправдана, я могла сказать: «Ныне отпущаеши, Владыко, раба твоего по глаголу твоему с миром. . .».

В марте 1939 г. нам было предложено направить прошения в Управление Саратовского НКВД по поводу пересмотра дела с личными объяснениями. Через год, 29 февраля 1940 г., я была освобождена. За меня хлопотали и на воле. В Саратове мне рассказали, что три служащие Саратовской

областной библиотеки допрашивались о том, что я там говорила. Они, согласно истине, могли показать, что я не говорила ничего, кроме того, что непосредственно требовала работа.

По выходе из колонии в г. Пугачеве я нашла приют и гостеприимство в семье местного рабочего. Я могла отдохнуть у добрых людей в уютном и чистом домике, меня потчевали всем, что было в доме, взяли мне железнодорожный билет, предлагали денег и провожали на вокзал. Местные жители хорошо знали, какой ач остался у меня позади, несмотря на все меры к тому, чтобы за стенами тюрем и лагерей все оставалось тайной. Решетки загораживают свет в камерах, самый адрес заключенных стал конспиративным, перевозка живых и мертвых происходит ночью, как и расстрелы, в коридорах тюрьмы арестантов ставят к стене во избежание встреч, всякие официальные статистические сведения отсутствуют, ибо они могли бы ужаснуть читателей. И тем не менее правда выходит наружу...

Образы оставленного мной лагеря для инвалидов напоминают и Аракчеевские казармы, и плантации из «Хижина дяди Тома», и «Мертвый дом» Достоевского. Но в массе он переполнен был не уголовными или активными политическими преступниками, даже не буржуями и помещиками, а сотнями полуграмотных и совсем неграмотных стариков и старух из крестьян — с целью их перевоспитания насилием, страхом и тайной, возведенными в систему... Можно ли было представить себе в 1920 г., что таково будет последнее слово тех философов, которые, по слову Маркса, поставили себе задачей изменить мир — в противоположность тем, что стремились только объяснить его. Люди типа Ромена Роллана на Западе, поставившие крест на капиталистическом мире, еще продолжают верить в миссию коммунизма. Что бы сказали эти люди, сведенные лицом к лицу с ужасной действительностью г. Пугачева и тех бесчисленных лагерей, которые покрывают просторы европейской и азиатской России? Мечтам человечества о лучшем мире, видно, суждено роковым образом превращаться в кошмары...

Я была освобождена, срок моей высылки истекал, тем не менее мытарства мои не кончались. Я не имела права вернуться в Ленинград, меня не прописали и в Твери-Калининне. Пришлось поселиться в Вышнем Волочке, чтобы быть поближе к своим, и взять уроки русского языка в средней школе, чтобы обеспечить себе хлеб насущный — людям моей категории и при 30-летнем трудовом стаже пенсии не полагается. Отдаленность школы от квартиры и разнужданность учеников делала работу очень трудной. Сердце не выдерживало, и 1 апреля 1940 г. пришлось оставить работу.

Еще в Саратове я обдумывала главы книги по истории итальянского гуманизма, которая после А. Н. Веселовского и Корелина подытожила бы для русского читателя проблемы и вновь опубликованные материалы. В Вышнем Волочке я пыталась возобновить научную работу, получив старые выписки и немногие книги. В июне 1940 г. с помощью академиков Е. В. Тарле и С. А. Жебелева удалось снова связаться с Институтом истории Академии наук, которому я предложила издать в переводе памфлет Л. Валлы против «Дара Константина» с вводной статьей. Война все это оборвала — над работами большого масштаба приходится поставить точку. Силы иссякают, каждый день грозит катастрофой. Отрезанная от родных и близких, больная, я жду своей участи, чтобы погибнуть от бомб, огня, голода или недуга. Но пока работает мысль и есть теплый угол, я продолжаю писать по старым материалам Пачка исписанных с апреля с. г. тетрадей закладывает:

- 1) этюд о памфлете Л. Валлы против «Дара Константина»;¹⁰⁷
- 2) статью по истории гуманистической школы;
- 3) «К истории книги и библиотек по завещаниям гуманистов и ученых итальянского Возрождения»;¹⁰⁸
- 4) «К источникам Дж. Дж. Понтано»;
- 5) новую редакцию «Итогов жизни».¹⁰⁹

Течение моей жизни по отношению к осуществлению основной задачи, которую я вижу в научном творчестве, представляется мне синусоидом в смене подъемов и падений. Подъемы соответствуют: году посещения Собо-

ра Парижской Богоматери (1912); времени магистерских экзаменов и выхо-
ду исследования о Чернышевском (1918/19); выхо-ду очерка о Кастильоне
(1923); поездке в Италию 1927 г. и окончанию исследований о Феличе Фе-
личано и «Гуманистической эпитафии» в их хождении по немногим рукам
(1933—1936). Падения соответствуют: болезни 1900—1902 гг.; годам тупика
по окончании фызмата (1907—1912); прекращению преподавания в универси-
тете; высылке 1935 г. и «затмению» 1937—1940 гг. Колесо фортуны совер-
шило, таким образом, не один поворот, но меня не истоптало.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Частный ученый (нем.).

² Из стихотворения Пушкина «Поэту» (1830).

³ «Не тот, кто почин положит, но тот, кто твердо (упорно) продолжит (кто пребудет непреклонным до конца)» (лат.; пер. Е. Ч. Скржинской).

⁴ См.: За рубежом и славяне в Россия. Документы архива М. Ф. Раевского. М., 1975.

⁵ Школы для девочек (нем.).

⁶ Церковь, дети, кухня (нем.).

⁷ С распределением ролей (нем.).

⁸ А. И. Введенский (1856—1925), И. И. Лапшин (1870—1952), И. В. Мушкетов (1850—1902) — профессора С.-Петербургского университета.

⁹ Имеются в виду книги американского журналиста Д. Кеннана «Сибирь и система ссылки», французского литератора А. Леруа-Болье «Империя царей», датского критика Г. Брандеса «Русские впечатления».

¹⁰ Л. Браун (1865—1916) — участница социалистической партии в Германии, дочь генерала, порвавшая со своей семьей в связи с браком с евреем, социалистом. Ее «Воспоминания социалстки» в русском переводе были опубликованы в журнале «Русская мысль» в 1910 г. М. К. Башкирцева (1860—1884) — художница, ученица Бастьена-Лепаж в Париже, происходила из знатной дворянской семьи, с которой порвала, оставшись в Париже и примкнув к феминистскому движению. Ее дневник, изданный в Париже в 1887 г., был переведен и издан в С.-Петербурге в 1892 г.

¹¹ А. И. Чупров (1842—1908) — экономист и статистик, профессор Московского университета.

¹² Е. В. Де Роберти (1843—1915) — русский социолог и философ-позитивист.

¹³ Мизансцена (фр.).

¹⁴ Несмотря ни на что (фр.).

¹⁵ Н. А. Рубакин (1862—1946) — библиограф и литератор.

¹⁶ М. А. Малых (1879—1967) — издательница марксистской литературы.

¹⁷ См.: Флорбер Г. Испытание Святого Антония / Пер. А. И. Шестаковой. СПб., 1906. Афонский — атеистический.

¹⁸ А. Ю. Финн-Еногаевский (1872—?) — публицист и экономист, меньшевик; А. М. Коллонтай (1872—1952).

¹⁹ Сокращенные названия партий социалистов-революционеров, социал-демократов, народных социалистов.

²⁰ Ф. Клейн (1849—1925) — знаменитый немецкий математик.

²¹ В. А. Стеклов (1864—1926) — известный русский математик.

22 А. С. Зарудный (1863—1934) — известный адвокат и либеральный общественный деятель.

23 Родство по выбору (*нем.*).

24 «В середине пути нашей жизни» (*ит.*) — начальная строка «Божественной Комедии» Данте.

25 Авторы классических трудов по Ренессансу. Русские издания этих авторов, существовавшие к тому времени: Буркгардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения: В 2 т. СПб., 1905; Фойгт Г. Возрождение классической древности: В 2 т. М., 1884—85; Мюнц Э. Рафаэль: Жизнь и деятельность. Пг., б. г.; Корелин М. С. Падение античного мирозерцания. СПб., 1895; Гаспарини А. История итальянской литературы. Т. 1. Итальянская литература средних веков. М., 1895; Тэн И. 1) Критические опыты. СПб., 1869; 2) Философия искусств. СПб., 1866 и 1889; Муратов П. П. Образы Италии: В 2 т. СПб., 1911—1912 [2-е изд. В 3 т. Берлин, 1924]; Веселовский А. Н. Собрание сочинений. СПб., 1908 сл.; Вельфлин Г. 1) Классическое искусство. СПб., 1912; 2) Ренессанс и барокко. СПб., 1913.

26 Собор Парижской Богоматери (*фр.*).

27 Н. В. Ястребов (1869—1923) — профессор С.-Петербургского университета, славист.

28 М. И. Ростовцев (1870—1952) — академик, антиковед; С. Ф. Платонов (1860—1933) — академик, историк России.

29 Д. В. Айналов (1862—1939) — историк искусства, византист.

30 А. Г. Вульфийус (1870 — конец 1930-х годов) — историк, специалист по Реформации.

31 Э. Д. Гримм (1870—1940) — в 1911—1918 гг. ректор Петербургского университета, был участником белого движения на юге России в 1918—1920 гг., потом эмигрировал в Болгарию, где стал одним из организаторов Союза возвращенцев. В 1923 г. выслан из Болгарии как советский агент; до конца 20-х годов, будучи консультантом архива Наркоминдел, жил в Москве и занимался изданием дипломатических документов. Арестован в 1930 г., по освобождении в 1933 г. поселился в Ленинграде, состоял консультантом БАН, позднее сотрудником ИИМК. Вновь арестован в 1937/38 г., в тюрьме психически заболел, был помещен в психиатрическую больницу, откуда его взял Б. А. Романов, в квартире которого он и умер 25 февраля 1940 г.

32 Неточность: И. М. Гревс был отстранен от преподавания в университете в 1899—1902 гг. по распоряжению министра Н. П. Боголепова.

33 П. Е. Дыбенко в С.-Петербургском университете никогда не учился — несомненно, речь идет о Н. В. Крыленко, окончившем в 1909 г. историко-филологический факультет С.-Петербургского университета. В советское время он был генеральным прокурором и наркомом юстиции. Вероятно, дату в тексте следует исправить на 1930 г.

34 В газете «Ленинградский университет» был опубликован написанный студентами короткий некролог памяти И. М. Гревса (ЛУ, 1941. 30 мая. № 21 (465)). Биографический очерк, составленный его ученицей Е. Ч. Скржинской, см. в изданной посмертно монографии: Гревс И. М. Тацит. М.; Л., 1946.

35 «Установления справедливости» (*ит.*).

36 Е. В. Тарле (1875—1955) — знаменитый историк, впоследствии академик.

37 «Отче наш» (*лат.*).

38 Имеется в виду издание: Материалы для истории антиеврейских погромов в России / Под ред. С. М. Дубнова и Г. Я. Красного-Адмони. Т. 1—2. Пг., 1919—1923.

39 См.: Хоментовская А. И. Н. Г. Чернышевский и подпольная литература начала 60-х годов // Исторический архив. 1919. Вып. 1. С. 324—413.

40 См.: Шебунин А. Н. К вопросу о роли Н. Г. Чернышевского в революционном движении 60-х годов // Каторга и ссылка. 1929. № 11 (60).

С. 7—34. А. Н. Шебунин поддержал и развил точку зрения А. И. Хоментовской.

⁴¹ См.: Хоментовская А. И. Стендаль (Из образов послереволюционной Франции) // Из далекого и близкого прошлого. Пг., 1923. С. 234—248.

⁴² Касторка (лат.).

⁴³ Центральная комиссия по улучшению быта ученых.

⁴⁴ См.: Хоментовская А. И. Итальянский гуманизм в современной историографии (1890—1914) // *Анналы*. 1923. № 3. С. 241—246.

⁴⁵ Хоментовская А. И. Кастильоне, друг Рафаэля. К истории Uomo universale эпохи Возрождения. Пг., 1923.

⁴⁶ Имеется в виду книга: Cartwright Julia (Mrs. Ady). Isabella d'Este, marchioness of Mantua. 1474—1539. A study of Renaissance. Vol. 1—2. London, 1911. А. К. Дживелегов (1875—1952) — историк, автор работ по итальянскому Возрождению.

⁴⁷ Хоментовская А. И. Лукка времен купеческой династии Гвидиджи // Средневековый быт. Л., 1925. С. 78—112.

⁴⁸ Б. А. Тураев (1868—1920) — историк Древнего Востока, академик.

⁴⁹ Н. И. Лазаревский (1868—1921) — юрист.

⁵⁰ М. К. Лемке (1872—1923) — историк. Этот факт подтверждается с иной, конечно, акцентировкой и оценкой в кн.: Вандалковская М. Г. М. К. Лемке — историк русского революционного движения. М., 1972. С. 59—60.

⁵¹ А. А. Фрейман (1879—1968) — иранист, профессор Петроградского университета.

⁵² Разделяя и властью (лат.).

⁵³ Имеются в виду М. М. Цвибак (1899—1937), Е. А. Энгель (1878—1942), В. Н. Кораблев (1873—1937), В. В. Святловский (1869—1927).

⁵⁴ М. Н. Покровский (1868—1932).

⁵⁵ Профессора М. Д. Приселков (1881—1941) и А. И. Заозерский (1874—1941) были арестованы в 1929 г. и привлечены по «академическому делу».

⁵⁶ А. А. Фридман (1888—1925) — выдающийся физик, специалист по метеорологии, космологии и теории относительности.

⁵⁷ В. П. Зубов (1884—1969).

⁵⁸ Khomentovskaia A. Firenze illustrata o Enciclopedia fiorentina di Giovanni Betsky // *Bibliofilia*. 1927. Vol. 29. N 9—12. P. 367—381.

⁵⁹ Русский текст статьи сохранился в фонде ученого-секретаря ГПБ В. Э. Банка: Хоментовская А. «Флорентийская елка» И. Е. Бецкого (К истории и составу фондов Публичной библиотеки) // Национальная Российская библиотека. Ф. 44. Д. 219.

⁶⁰ Г. С. Зайдель (1893—1937) был в 1934—1935 гг. не ректором, а деканом истфака ЛГУ.

⁶¹ Так проходит слава мира (лат.).

⁶² Н. П. Лихачев (1862—1936) — палеограф и источниковед. В принадлежащем ему доме (Петрозаводская ул., 7) в настоящее время помещается С.-Петербургский филиал Института российской истории РАН, в котором хранится большая часть коллекции Лихачева.

⁶³ В. К. Шилейко (1891—1930), В. Ф. Шишмарев (1875—1957), впоследствии академик, О. А. Добиаш-Рожественская (1874—1939), Е. Ч. Скржинская (1897—1981).

⁶⁴ Шарль-Виктор-Лангуа (1863—1929) — французский медиевист, директор Национального архива.

⁶⁵ Публикации указов (ит.).

⁶⁶ «К свадьбе» (ит.) — подарочные уникальные экземпляры.

⁶⁷ Роль С. Ф. Ольденбурга освещена здесь не вполне справедливо, без учета ряда обстоятельств.

⁶⁸ А. С. Орлов (1871—1947).

⁶⁹ См. об этом издании: Лихачев Н. П. Моливдовулы греческого Востока. М., 1991. С. 13—14.

- 70 По большей части (*фр.*).
- 71 Данных об этом издании пока не удалось установить.
- 72 Годы учения и странствий (*нем.*).
- 73 Историк В. Н. Забугин (1880—1923) с 1903 г. постоянно жил в Риме, был автором многих работ по итальянскому Возрождению.
- 74 Сведения о деятельности в Италии поэта Вяч. Иванова (1862—1949) и литератора и искусствоведа П. П. Муратова (1881—1950) неточны.
- 75 Н. П. Оттокар (1884—1957) — русский медиевист, ученик И. М. Гревса, с 1925 г. профессор Флорентийского университета.
- 76 Дела и подвиги (*фр.*).
- 77 Упомянутый памятник Гвидо д'Ареццо (ок. 990—1050) поставлен в 1882 г.
- 78 Да здравствует коммунизм! (*ит.*).
- 79 Смерть (*греч.*).
- 80 Утешительные письма (*ит.*).
- 81 Собрания надписей (*лат.*).
- 82 Неведомая земля (*лат.*).
- 83 Алтарь Неба (*лат.*).
- 84 *Chomentovskaja A. La famiglia della Valle nella storia dell'epigrafia umanista // Archivio della Società romana di storia patria. 1935. Vol. 1 (58). P. 99—118.*
- 85 Что он очень одобрил ее (*фр.*).
- 86 «Отличный вклад в историю гуманизма в Риме» (*ит.*).
- 87 Свою собственную сторону (*ит.*).
- 88 *Chomentovskaja A. Felice Feliciano da Verona comme l'auteur de l'Hypnerotomachia Poliphili. Firenze, 1936.*
- 89 По должности (*лат.*).
- 90 Местонахождение этой рукописи неизвестно.
- 91 «О выгодах сельского хозяйства» Петра Кресценция (XIV в.) // Пер. и введ. А. И. Хоментовской // *Агрикультура в памятниках западного средневековья. Переводы и комментарии. М.; Л., 1936. С. 285—340.*
- 92 *Sagmina epigraphica latina / Ed. F. Bücheler. Vol. 1—2. Lipsiae, 1895—1897.*
- 93 Подразумеваются Данте, Петрарка и Боккаччо.
- 94 Академик С. А. Жебелев (1867—1941) — крупнейший специалист по античной эпиграфике.
- 95 Б. В. Фармаковский (1870—1928) — археолог и искусствовед-античник.
- 96 Ошибка памяти. Сборник вышел позже: Зайдель Г., Цвибак М. Классовый враг на историческом фронте. Тарле и Платонов и их школы. М.; Л., 1931.
- 97 *Thorndike L. A history of magic and experimental science. Vol. 1—2. London, 1923.*
- 98 На Шпалерной (тогда — улице Воинова) находился Дом предварительного заключения НКВД.
- 99 Н. К. Муравьев (1870—1936) — известный московский адвокат, в прошлом либеральный общественный деятель.
- 100 Н. М. Чернышевская-Быстрова (1896—1975).
- 101 П. С. Рыков (1884—1942) — археолог.
- 102 А. М. Панкратова (1897—1957) — позднее академик.
- 103 Рассказ А. И. Хоментовской о саратовской ссылке Д. Б. Рязанова (1870—1938) подтверждается новейшими публикациями. 23 июля 1937 г. он был арестован в Саратове, 21 января 1938 г. расстрелян (см.: Рски-тянский Я. Г. Трагическая судьба академика Д. Б. Рязанова // *Новая и новейшая история. 1992. № 2. С. 133—147.*
- 104 В. Ю. Ластовский (1883—1938) — белорусский историк, фольклорист и публицист.
- 105 Обнаружить факт и место публикации этой статьи не удалось.
- 106 Точный текст цитируемого стихотворения В. Брюсова «Каменщик» (1901):

— Каменщик, каменщик в фартукс белом,
Что ты там строишь? кому?
— Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
Строим мы, строим тюрьму...

¹⁰⁷ Опубликовано: Хоментовская А. И. Лоренцо Валла против «Дара Константина» // Вопросы истории религии и атеизма. М.; Л., 1963. Т. 12. С. 267—288. См. также: Хоментовская А. И. Лоренцо Валла — великий итальянский гуманист / Ред. и предисловие В. И. Рутенбурга. М.; Л., 1964.

¹⁰⁸ Опубликовано: Средние века. 1963. Вып. 24. С. 217—224.

¹⁰⁹ Речь идет о публикуемой рукописи «Пройденный путь» — первоначальный текст А. И. Хоментовская, очевидно, предполагала озаглавить иначе.

СПИСОК ТРУДОВ А. И. ХОМЕНТОВСКОЙ *

1. Флобер Г. Испытание Святого Антония / Пер. А. И. Шестаковой. СПб., 1906. 112 с.
2. Стендаль в Москве и Смоленске // Русская старина. 1912. № 11. С. 378—390.
3. Бемон Ш., Боно Г. История Европы в Средние Века (395—1270 гг.) / Пер. с франц. В. Э. Валленбургер и А. И. Хоментовской; Ред. и предисловие О. А. Добиаш-Рожественской. Пг., 1915. XXII+440 с.
4. Медичи // Новый Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Пг., 1916. Т. 26. Стб. 80—83.
5. Н. Г. Чернышевский и подпольная литература начала 60-х годов // Исторический архив. 1919. Вып. I. С. 324—413.
6. Кастильоне, друг Рафаэля. Пг., 1923. 122 с.
7. Стендаль: Из образов послереволюционной Франции // Из далекого и близкого прошлого. Сб. этюдов из всеобщей истории в честь Н. И. Кареева. Пг., 1923. С. 239—248.
8. Итальянский гуманизм в современной историографии (1890—1914) // Анналы. 1923. № 3. С. 241—246.
9. [Рец. на кн.] Вульфийус А. Г. Проблемы духовного развития. Гуманизм. Реформация. Католическая реформа. Пг., 1922 // Россия и Запад. Исторический сборник. Пг., 1923. Т. 1. С. 201—205.
10. Лукка времен купеческой династии Гвниджи // Средневековый быт. Сб. статей, посвященный И. М. Гревсу. Л., 1925. С. 78—112.
11. Источниковедение искусства в современной постановке // Изобразительное искусство: Временник отдела изобразительных искусств. Т. 1. Л., 1927. С. 162—170.
12. Firenze illustrata o Enciclopedia fiorentina di Giovanni Betsky // Biblioifilia. 1927. Vol. 29. N 9—12. P. 367—381.
13. Отчет о выставке по истории физико-математических наук при библиотеке Главной геофизической обсерватории // Научный работник. 1928. № 3. С. 93—94.
14. По поводу изобретения очков // Метеорологический вестник. 1931. № 1. С. 15—16.
15. Библиография метеорологической литературы. Л., 1931—1933. Вып. 1—2. XIX+81+108 с.
16. La famiglia della Valle nella storia dell'epigrafia umanista // Archivio della Società romana di storia patria. 1935. Vol. 1 (58). P. 99—118.

* Сост. Б. С. Каганович.

17. Felice Feliciano da Verona comme l'auteur de l'«Hypnerotomachia Poliphili». Firenze, 1936. 72 p. См. также: *Bibliofilia*. 1935. Vol. 37. N 4. P. 154—174; N 5. P. 200—212; 1936. Vol. 38. N 1—2. P. 20—48; N 3—4. P. 92—102.

18. «О выгодах сельского хозяйства» Петра Кресценция (XIV в.) / Пер. и введение А. И. Хоментовской // *Агрикультура в памятниках западного средневековья*. Переводы и комментарии / Под ред. О. А. Добняш-Рождественской. М.; Л., 1936. С. 285—340.

19. К истории книги и библиотек по завещаниям гуманистов и ученых итальянского Возрождения (1320—1574 гг.) // *Средние Века*. 1963. Вып. 24. С. 217—224.

20. Лоренцо Валла против «Дара Константина» // *Вопросы истории религии и атеизма*. М.; Л., 1963. Т. 12. С. 267—288.

21. Лоренцо Валла—великий итальянский гуманист. М.; Л., 1964. 148 с.

22. Итальянская гуманистическая эпитафия: ее судьба и проблематика. Л., 1995.

23. Пройденный путь.

24. «Флорентийская елка» И. Е. Бецкого (К истории и составу фондов Публичной библиотеки). Рукопись (Национальная Российская библиотека. Ф. 44. Д. 219).

25. Гуманистическая школа в Италии эпохи Возрождения. Рукопись. Местонахождение неизвестно.

26. Портрет Кваттроченто. Рукопись. Местонахождение неизвестно.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

- Авгурелли Аврелий** 59, 69, 114, 116—118, 120, 176, 202
Август Октавиан 52
Адриано да Корнето 119
Акиллини Алессандро 120, 149, 158, 176, 200
Аккольти Венедето 119
Аккурсий Франциск 48, 163
Алеандро Джироламо 35, 69, 86, 105, 112, 119, 146, 200
Александр VI, папа 68
Алеотти Джованни Баттиста 119
Алигьери Пьетро 80, 188
Альберти Антонио дельи 169
Альберти Леон Баттиста 44, 61, 82, 127, 166
Альбици, семья 83
Альи Антонио дельи 87, 115, 119, 120, 195
Альгили (Алтилий) Габриэле 105, 114, 116, 117, 119, 120, 176
Альгьери Марк-Антонио 88, 170
Альфонсо Арагонский, неаполитанский король 90, 112
Альчато Андреа 25, 86, 105, 126, 206
Амброджо Траверсари 36, 44, 45, 119
Амвросий Медиоланский 46
Амитерно Антонио 201
Амманати де Пикколомини Якопо 35, 37, 58, 69, 84, 116, 119, 195
Англаро Мартир Пьетро (Ангьери Пьетро Мартире де') 98, 120, 203
Анизио Джано (Анисий Ян) 69, 74, 87, 115, 120, 126, 151
Аннио да Витербо 86, 87, 198
Аноним из Пезаро 199
Аntenор 46, 51, 169
Антикварио из Милана Якопо 185
Антимако Марк Антонио 206
Антонио да Ро 119
Апостолиос Михаил 100
Арагацци да Монтепульчано Бартоломео 61, 119, 164
Аргиропуло Джованни 35
Аретино Пьетро 86
Ариосто Лодовико 24, 62, 69, 83, 149, 159, 160, 175, 176, 203
Аристогитон 109
Аристотель 89, 90, 158, 161
Армати Сальвино дельи 34
Арчембольдо Никколо 69
Архилох 81
Архиппита 35
Астрей Перузин 65
Ауриспа Джованни 31, 86, 115, 119, 136, 192
Ацоне 48
Аччайуоли Донато 86, 195
Аччайуоли Никколо 128, 161
Базилий 195
Базини Базинио да Парма 62, 69, 112, 192
Бандинелли Баччо 61
Барбаро Франческо 99, 107, 109, 129, 131, 161, 192

* Составлен Н. Л. Корсаковой. В Указатель включены имена лиц, упомянутых в монографии А. И. Хоментовской «Итальянская гуманистическая эпитафия: ее судьба и проблематика» в непосредственной связи с текстами и обстоятельствами жизни и деятельности гуманистов. Имена исследователей и авторов использованных трудов в указатель не включены.

- Барбаро Эрмолао 45, 78, 104, 119, 197
 Бартолини Бальдо 161, 197
 Бартоломео да Монтепульчано 175
 Беацино Агостино 116, 206
 Беккаделли-Панормита Антонио 30, 54, 60, 61, 65, 69, 71, 74, 76, 79, 80, 82, 83, 86, 104, 122, 124, 133, 147, 149, 159, 175, 176, 194
 Беллакомбо Джироламо 73, 75
 Белли Джованни 83
 Бельтраффио 66
 Бембо Пьетро 59, 77, 83, 101, 105, 112, 116, 119, 201, 203, 205
 Бембо Торквато 116
 Бенивьени Джироламо 59, 80
 Бенино Карло дель 185
 Бенци Уго 192
 Беолько Рушанте Анджело 120, 205
 Бернардо да Габбиена 119
 Бернардо да Каначо 188
 Бернардо да Мольо 58
 Берни Франческо 24, 62, 69, 120
 Бернини Джан Лоренцо 34
 Бераальдо Филиппо Младший 83, 119, 129, 201
 Бераальдо Филиппо Старший 86, 96, 199, 209
 Блозио Палладио Сабино 115, 119, 203, 206
 Боветтино да Мантова 187
 Бозиано (Базано) де Кремона Джованни 48—50, 138, 187
 Боккабелла Джованни Якопо 102, 103, 116, 193
 Боккаделла 175
 Боккападула 191
 Боккаччо Джованни 37, 39, 56, 59, 62, 64, 69—71, 80, 81, 88—90, 92, 93, 102, 104, 108, 128, 132, 153, 161, 175, 189
 Болонья Джироламо 69, 145, 148, 200
 Больцано Урбано 45, 115, 119, 202
 Бонавентура 101, 202
 Бонамико Лазаро 87
 Бонафиде Франческо 206
 Бонифаций Иоанн 86
 Борго ди Сан Сеполькро Диониджи дель 57
 Боргондио (Бургундио) да Пиза Джованни 48, 49, 94, 187
 Босколи Пьетро Паоло 27
 Брандолини Липпо 69
 Браччо Чеккино 69, 70
 Браччолини Джованни Франческо 36
 Браччолини Поджо 36, 44, 62, 69, 99, 119, 152
 Бруни Аретино Леонардо 44, 61, 70, 78, 79, 104, 162, 164, 191
 Бруно Джордано 30
 Брут Деций Юний Альбин 109
 Буонаккорси Филиппо (Каллимако Эсперiente), см. Каллимако Эсперiente Филиппо Буонаккорси
 Буонамичи Убальдино 58
 Буонкомпаньо из Флоренции 48
 Бургундио да Пиза см. Боргондио да Пиза
 Бусты Агостино 162, 166
 Бутрио Антонио 190
 Буцио Джироламо 135, 201
 Вага Перино дель 120
 Вазари Джорджо 120
 Валериано Больцано Пьеро 63, 83, 100, 120, 202, 206
 Валла Георгий 161
 Валла Катарина 35, 90, 91
 Валла Лоренцо (Лаврентий) 29, 31, 35, 45, 86, 88, 90—92, 112, 116, 119, 136, 148, 175, 176, 192
 Вальтурио Роберто 86, 196
 Варино да Камерино 59, 97, 112, 120
 Варрон Марк Теренций
 Веджо Мафео 119, 191
 Вергилий Марон Публий 47, 48, 62, 64, 95, 127, 151, 158, 160, 175
 Верджиллий Полиодор 120
 Верджеро Пьетро Паоло Старший 36, 44, 45, 111, 119, 120
 Верино Микеле 65, 105, 196
 Верино Уголино 65
 Верниа Николетто 86, 198
 Веспасиано да Бистиччи 44, 95
 Ветустино 61
 Вида Джироламо 69, 86, 115, 119, 130, 131, 207
 Виллани Джованни 55
 Вильгард из Равенны 47
 Вирджилио Адриани Марчелло 133, 202
 Вирджилио Джованни дель 55, 80
 Висконти Филиппо Мария 109, 112
 Виссарони, кардинал 37, 69, 86, 100, 104, 114, 115, 119, 194
 Витале Джано 66, 120, 210
 Витторино да Фельтре 101
 Волатеррано Якопо 65
 Вонико Антонио 118
 Габриэле Анджело 118
 Газа Феодор 83, 119, 205
 Галеотто Марцио 63, 69
 Галилей Галилео 179
 Гармодий 109
 Гаспаре Веронский 96
 Гаурико Лука 115, 119, 136, 206
 Гаурико Помпонно 44, 62
 Гварино Баттиста 63

- Гварино да Верона 63, 65, 69, 84, 86, 131, 161, 192
- Гвидо (Гвидон), каноник Миланский 47, 48, 50, 186
- Гвидо да Ваньола 25, 77, 104, 111, 138, 150, 188, 194
- Гвидо да Пиза 53, 186
- Гвидо да Полента 56
- Гвиццардо да Болонья 188
- Гвиччардини Пьетро
- Гвиччардини Франческо 61
- Гегель Георг Вильгельм Фридрих 68
- Геллий Авл 62, 79
- Георгий из Трапезунда 43
- Геснод 99, 100
- Гильгамеш 26
- Гильельмо да Пастренго 57
- Гиппократ 48
- Глабер Радульф 48
- Гоголь Николай Васильевич 173, 174
- Голино Пьетро 75, 146, 198
- Гомер 31, 99, 100, 1126, 157
- Гонзага Федерико 58
- Гораций Флакк Квинт 80
- Гравина Пьетро 120
- Гунцоне 47, 48
- Дагамари Паоло де' 188
- Дамазий II, папа 46
- Дандоло Андреа 57
- Данте Алигьери 39, 54—56, 64, 68, 109, 127, 131, 151, 188
- Дати Леонардо 115, 119, 136, 194
- Де Канале Паоло 119, 161
- Де Феррари Антонио Галатео 69, 104, 201
- Дезидерио да Сеттиньяно 162, 165
- Делла Валле, семья 23, 148
- Делла Валле Бернардино 142
- Делла Валле Лелио 99, 142, 143, 193
- Делла Валле Никколо 23, 99, 100, 120, 126, 127, 141—143, 150, 161, 194
- Делла Валле Пьетро 23, 59, 75, 86, 116, 137, 139—142, 176, 182, 193
- Делла Валле иль Пеллегрини Пьетро 143, 148
- Делла Порта Гильельмо 34
- Делла Роббиа Лука 27
- Делла Торре (Турриани), семья 158, 162, 166, 168, 171, 176, 178
- Делла Торре Джироламо 120, 158, 166
- Делла Торре Джован Баттиста (Турриан Иоанн Баттист) 162, 166, 167, 172, 178
- Делла Торре Джулио 166
- Делла Торре Марк Антонио 120, 158, 166, 171, 199
- Делла Торре Раймундо 166
- Делла Фонте Бартоломео 115, 120, 200
- Децио Филиппо 69, 113, 204
- Дечембрио Пьер Кандидо 80, 94, 104, 112, 161, 163, 175, 194
- Дечембрио Уберто 69, 80, 86, 98—100, 152, 161, 190
- Джентиле да Урбино 170
- Джероне Сатурно 31, 64, 202
- Джиральди Лелио Грегорио 69, 77, 120, 134, 146, 147, 207
- Джованни да Леньяно 189
- Джованни да Прато 169
- Джокондо да Верона 119
- Джустиниани Бернардо 136, 197
- Джустиниани Леонардо 24, 69, 74, 76, 107, 109, 130—132, 192
- Дзаноби да Страда 44, 45, 121, 128
- Диоген Лаэций 170
- Дмитрий из Лукки 65, 66, 156
- Довици да Баббиена Бернардо 115, 119, 201
- Дольчино да Кремона 200
- Донателло (Дonato ди Никколо ди Бетто Барди) 61, 164
- Донди дель Оролоджно Джованни 22, 81, 189
- Донди дель Оролоджно Якопо 75, 108, 151, 188
- Дюрер Альбрехт 85
- Евгений IV, папа 120
- Забарелла, кардинал 119
- Иероним 46
- Империя 31, 35
- Инграмми Федра 120
- Иоанн Палеолог, византийский император 131
- Иоанна I, неаполитанская королева 128
- Иовий Павел 32—37, 42, 65, 67, 73, 80, 90, 91, 113, 117—119, 126, 134, 156, 165, 166, 193, 200, 201
- Иоганн из Зааца 128, 129
- Ипполито, кардинал 210
- Казанова Марк Антонио 203
- Казно Джироламо 66
- Каленцио Элизио 69, 76, 77, 86, 105, 149, 154, 156, 160, 176, 198
- Калленуччо Пандольфо 44
- Каллимако Эсперiente Филиппо Буонаккорси 31, 44, 87, 112, 143, 144, 197
- Кальдерини Домицио 31, 35, 77, 96, 97, 129, 195
- Калькальини Челлио 69, 74, 76, 86, 87, 101, 102, 120, 146, 151, 205

- Кальфурнио Джованни 80, 86, 100, 150, 153, 161, 163, 198
 Кампано, семья 107
 Кампано Антонио Сеттимулейо 59, 77, 86, 87, 122, 161, 170, 194
 Кампано Джованни Антонио 58, 69, 73, 74, 99, 116, 119, 150, 195
 Кампезано из Виченцы Бенвенуто 56
 Кампуано 64
 Канчелльере Франческо 91
 Капилупо Лелио 207
 Капра да Кремона Бартоломео 119, 191
 Карвахаль, кардинал 37, 120
 Кардано Джероламо 61
 Карл Калабрийский 128
 Карнеоли 83
 Карозий Франциск 34
 Кастильоне Бальдассаре 24, 112, 203
 Кастильоне Брандо 120
 Катон Сакко 194
 Каттанео Марио 86
 Катулл Гай Валерий 96, 118
 Квадрарио да Сульмона Джованни 80, 190
 Климент VII, папа 67, 115
 Климент VIII, папа 91, 92
 Кодро Урчео Антонио 31, 44, 58, 69, 144, 146, 198
 Козентино Франкино 192
 Кола ди Риенцо 22, 92
 Колоччи Анджеоло 119
 Контарено Каспар 205
 Коперник Николай 30, 167
 Корнаро Луиджи 61
 Корреро Грегорио 101, 116, 119, 193
 Кортезе Паоло 100, 120
 Кортузио Лодовико 75, 151, 190
 Котта Джованни 96
 Курцио Ланчино 36, 45, 58, 80, 120, 134, 162, 166, 171, 177, 200,
 Кьерли Николао 104, 202
 Лампридио Бенедетто 204
 Лампуньяни Джованни Андреа 110, 195
 Ландино Христофоро 44, 207
 Лапо да Кастильонкио Младший 119, 191
 Лапо да Кастильонкио Старший 25, 34, 58, 191
 Ласкарис Иоанн 45, 69, 86, 100, 110, 204
 Лаццарелли Лодовико 69
 Лев X, папа 34, 35, 66, 84, 101, 112, 118, 120, 210
 Леонардо да Винчи 166
 Леонардо да Порто 25, 97, 205
 Леонардо Лайнинг 58
 Леоне Пьер 35
 Леоничено Никколо 101, 104, 202
 Лет Юлий Помпоний 23, 58, 65, 74, 86, 99, 123, 150, 162, 170, 194, 198
 Лессинг Готтхольд Эфраим 182
 Ливий Тит 59, 60, 170
 Липпи Филиппо фра 61
 Ловато де'Ловати (Лупато де'Лу-
 пати) 24, 46, 50, 51, 54, 55, 69,
 75, 81, 145, 162, 169—171, 175, 182,
 184, 187
 Ломбардо да Серико 69, 80, 152, 189
 Лонголио Христофоро 24, 45, 59, 70,
 116, 120, 161
 Лоски Антонио 109, 119
 Лукреций Кар Тит 145, 160, 184
 Луценсис де Авенца Джованни Пьет-
 ро 162, 163
 Луцио Франческо 124, 125
 Людовик XII, французский король
 133
 Людовик Тарентский 128
 Лютер Мартин 115, 146
 Лючентини Андреа 58, 73
 Майно Язон 133, 201
 Макробий Амброзий Феодор 169
 Макьявелли Никколо 31, 44, 113,
 133, 141, 148, 179
 Малатеста Сиджизмондо 102, 112,
 178
 Малатеста Пандольфо 102, 185, 193.
 Манетти Джаноццо 27, 44, 45
 Мантенья Андреа 23, 69
 Мануцци, семья 136
 Мануций Альд 118
 Маньянимо Андреа 58
 Марио де Скипано 143
 Марк Аврелий 165
 Марон см. Вергилий Марон Публий
 Марканова Джованни 23, 59, 161
 Марси Пьетро 86, 87, 120, 196, 201
 Марсили Луиджи 37, 86, 189
 Марсуппини Аретино Карло 31, 44,
 78, 88, 94, 95, 162, 164, 165, 171,
 177, 191, 192
 Мартире Пьетро д'Ангьера см. Ан-
 гларิโอ
 Марулло, семья 60, 61, 111
 Марулло Гордиан 111
 Марулло Манилий 31, 111
 Марулло Микеле 54, 59, 60, 76, 110,
 111, 176, 182, 198
 Маффеи да Верона Агостино 86, 105,
 120, 143, 144, 178, 182, 203
 Медичи, семья 112, 201
 Медичи Алессандро 210
 Медичи Лоренцо 180
 Мерула Джорджо 36, 58, 70, 126,
 151, 197
 Мечников Илья Ильич 180
 Микеланджело Буонаротти 69, 179
 Микелоццо Дона Челлон 164

- Мильоре Фердинанд Леопольд дель 35
 Миртео Пьетро 83, 95
 Михаил Тарханиот 110
 Мольца Франческо Мария 177
 Мондино де Луцци 48, 187
 Монтанья да Верона Леонардо 198
 Музуро Марко (Музур Марк) 78, 86, 104, 201
 Мурето Марко Антонио 207
 Муссато Альбертино 50, 55, 56, 59, 80, 81, 84, 89, 104, 108, 177, 188
 Назон см. Овидий Назон Публий
 Невий Гней 62, 79, 116, 137, 138, 140
 Никколо Никколо 34, 44, 161
 Никколо да Озимо 57
 Никколо да Понте 87
 Никколо да Страда 128
 Никколо де Капоцци 57
 Николай Кузанский 119
 Николай V, папа (Томмазо Парентучелли) 27, 31, 76, 86, 99, 103, 109, 112, 114, 192, 210
 Нифо Агостино 86, 129, 204
 Новаджеро Андреа 44, 207
 Новара Доменико Мария 129, 200
 Овидий Назон Публий 23, 47, 77, 80, 98, 149, 150, 167, 178
 Одасси да Падова Лодовико 37, 199
 Одофредо 48, 187
 Ольджати Джироламо 109
 Павел II, папа 74, 96, 115
 Павел III, папа 34, 115, 120, 210
 Павел Эмилий 98, 120, 128, 203
 Пакувий 62
 Паллавичино Баттиста 86, 88, 95, 96, 104, 116, 119, 193
 Пальмьери Маттео 196
 Панноний Ян 24, 54, 63, 69, 104, 116, 119, 194
 Панормита см. Беккаделли-Панормита Антонио
 Паолин из Нолы 46
 Парентучелли Томмазо, см. Николай V
 Парразио Джано 201
 Пасквино 30
 Патрици Агостино 58
 Пачоли Лука 95
 Пелакане Бьяджо 24, 45, 86, 98, 104, 161, 162, 169—171, 182, 190
 Перегрино из Мессины 57
 Перротти Никколо 44, 83, 119
 Петрарка Франческо 24, 39, 54, 57, 62, 68, 69, 71, 74, 81, 84, 99, 104, 108, 119, 128, 138, 149, 151, 152, 161, 168, 175, 178, 188
 Пизанелло Андреа 171
 Пий II, папа (Эней Сильвий Пикколомини) 22, 37, 58, 67, 74, 76, 103, 108, 114, 116, 122, 190, 192, 193
 Пикколомини Катарина 58
 Пикколомини Франческо 193
 Пикколомини Эней Сильвий, см. Пий II
 Пикко делла Мирандола Джованни 45, 59, 80, 85, 104, 107, 132, 148, 197
 Пиндар 76
 Пио да Карпи Альберто 120, 162, 165, 171, 178, 204, 205
 Пио Джованни Баттиста 35, 37, 104
 Пифагор 47
 Плавт Тит Макций 79
 Платина Бартоломео 35, 65, 69, 74, 86, 104, 105, 120, 149, 156, 158, 176, 182, 196
 Платон 47, 82, 99, 100, 101, 129, 157, 158, 160, 161
 Плетон Георгий Гемист 74, 102, 103, 178, 193
 Плиний Секунд Кай Старший 111, 185
 Плиний Секунд Цецилий Младший 111, 185
 Плифон Георгий Гемист см. Плетон Георгий Гемист
 Плутарх 104, 179
 Поджо Браччолини см. Браччолини Поджо
 Поджо Джованни Франческо 152, 202
 Полеитоне Сикко 193
 Полициано Анджеоло 36, 59, 76, 83, 97, 116, 118, 120, 185, 195, 197
 Поллайоло Антонио 34
 Поло Реджинальдо 161
 Помпонацци Пьетро 27, 29, 31, 37, 86, 148, 158, 180, 203
 Понс Поль 165
 Понтано Адриана (Андреа Саксона) 60, 74
 Понтано Джан Джовиано 23, 26, 27, 30, 31, 36, 41, 45, 54, 59—62, 65—67, 69, 75, 77, 80, 83, 86, 104, 105, 117, 122, 124, 128, 132, 147, 154, 175, 198
 Понтано Лодовико 74
 Понтико да Вируно да Беллуно Лодовико 199
 Понтико да Тревиджи Лодовико Страццароли 87, 130, 132, 199
 Порчелли де Пандони 69, 79, 196
 Постумо Гвидо 201
 Проспер Спирит 69
 Птолемея Клавдий 167
 Пудерико Франческо 26

Пьетро да Молю 58

Раймонди Косма 44, 62, 191
Ралл Манилий 69
Рафаэль Волотерранский 119
Риарио Джироламо 65
Риччо Андреа 162, 166
Роберт Анжуйский 57, 128, 163
Романо да Сполето Лодовико 191
Романо Ченчо 161
Роланделло Франческо 84, 105, 161, 197
Роландино да Падова 49, 187
Росселино Бернардо 162
Рустичи Ченчо 99, 119, 196
Ручеллаи Бернардо 86, 136, 20

Сабеллико Марк Антонио Коччо 69, 134, 199
Савонарола Джироламо 161
Садолето Якопо 116, 119, 205
Сакко Катон 136, 194
Саломоний 153
Салютати Колюччо 57, 59, 88, 93, 108, 109, 189, 190
Самуэль да Традато 23
Сан Донато Фьезоланский 47, 74, 186
Санкта Сория Марсилио 138, 150, 161, 189
Саннадзаро Якопо 61, 77, 83, 128, 158, 162, 168, 169, 171, 176, 204
Санудо Марино 69, 204
Сенека 62, 79, 81, 125, 183
Сидоний Аполлинарый 46
Сикст IV, папа 34, 115, 120, 157
Синьорелли Лука 61
Скалигер Кан Гранде 108
Скалигеры, семья 111
Сократ 47, 146
Спаньоло Пьетро 58
Спаньюоло Мантовано Баттиста 95, 105, 116, 119, 200
Сперони Спероне 69, 86
Стефано да Новара (Стефан Новарский) 63, 74, 186
Строцци Тито Веспасианно 63, 69, 192
Суммонте Пьетро 69
Сфорца Галеаццо Мария 104
Сфорца Франческо 112
Сципион Африканский Старший 97

Тебальдео да Феррара Антонио 44, 120, 207
Тедальдо Латтанцио 189
Теофраст 161
Тибулл Альбий 167
Тит Ливий см. Ливий Тит
Томео Леонико 69, 86, 101, 105, 126, 151, 160, 176, 183, 203

Тортелли Джованни 119
Триссино Джан Джорджо 58, 69, 98, 130, 199
Туллий см. Цицерон Марк Туллий
Турриани см. Делла Торре
Убальдини Бальдо 104, 152, 189
Урбан V, папа 67

Фаворино да Камерино 86, 101, 116, 204
Фаллопио да Модена Габриэле 207
Феличе де Фредис 103, 203
Феличано Антикварио да Верона Феличе (Фелициан Феликс) 22, 23, 62, 69, 71, 78, 85, 149, 154—156, 160, 161, 176, 182, 196, 208, 209
Фернус Михаил 170
Феррандино Капуанский 117
Феррарино Микеле 119
Феррето ден Феррети 54—56, 64, 80, 83, 104, 111, 187
Филельфо Франческо 98, 136, 196
Фичино Марсилио 45, 87, 100, 116, 118, 120, 148, 161, 201
Флоримонте Гамаццо 204
Фортегверра Никколо 120
Фортунат Венанций 40, 46
Фосколо Уго 173, 179
Фракасторо Джироламо 166—168
Франческо да Барберино 188
Фульчино Сиджизмондо 69
Франческо да Фиано 99, 119
Фьера Баттиста 158, 200

Халкондил Дмитрий 58, 98, 199
Хризолор Мануил 36, 65, 84, 86, 111, 176, 182, 190

Цицерон Марк Туллий 47, 58, 62, 125, 183

Челлини Бенвенуто 61
Чечи Помпонио 170
Чечи Юлиан 170
Чинуцци из Сиены Алессандро 31, 65, 127, 175
Чириако д'Анкона 22, 31, 44, 132, 172

Эгидий да Витербо 115, 119, 203
Энний Квинт 80
Энох д'Асколи 44, 119
Эпикур 62, 160, 161, 183
Эразм Роттердамский 165
Эрлите Флавио 66
Эццелино да Романо 108

Язон да Майно 75
Якопо II Каррарский 57
Ян Панноний см. Панноний Ян

О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие (А. Н. Немилов и А. Х. Горфункель)	3
Об авторе этой книги (Б. С. Каганович)	10
А. И. Хоментовская. Итальянская гуманистическая эпитафия: ее судьба и проблематика	19
Введение. Постановка темы	20
Глава I. Источники	32
Глава II. Истоки: эпитафия средневековая и античная	46
Глава III. Эпитафия-надпись, ее генезис и судьбы	54
Глава IV. Поэтика и эпиграфическая техника эпитафий-надписи	71
Глава V. <i>Studia humanitatis</i>	88
Глава VI. Гуманисты-миряне и государственность, гуманисты-клирики и церковь: две антиномии	106
Глава VII. Эпитафия как плач	121
Глава VIII. Слава и мера	130
Глава IX. <i>Virtù — fortuna</i>	137
Глава X. За гробовой доской	149
Глава XI. Разрыв с церковью в ограде церкви	162
Глава XII. Эпитафия и кризис миросозерцания у гуманистов	173
Приложения	
Опыт библиографии гуманистической эпитафии	186
Экспюры	208
Экспюрс I. К составу и судьбе эпитафии Феличе Феличано Антикварно да Верона (ум. ок. 1480)	—
Экспюрс II. К надписи Филиппо Бероальдо Старшего (1505)	209
Экспюрс III. К судьбе эпитафии на Ватиканской гробнице папы Льва X (1521)	210
Библиография	211
А. И. Хоментовская. Пройденный путь	221
Примечания (Сост. Б. С. Каганович, А. Н. Немилов)	258
Список трудов А. И. Хоментовской (Сост. Б. С. Каганович)	263
Указатель имен (Сост. Н. Л. Корсакова)	265
	271

Научное издание

Анна Ильинична Хоментовская

**ИТАЛЬЯНСКАЯ ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ЭПИТАФИЯ:
ЕЕ СУДЬБА И ПРОБЛЕМАТИКА**

Редактор *И. П. Комиссарова*

Художественный редактор *Е. И. Егорова*

Обложка художника *А. И. Мажуги*

Технический редактор **Л. А. Топорина**

Корректоры *Н. В. Ермолаева, Е. К. Терентьева*

Лицензия ЛР № 040050 от 05.08.91 г.

ИБ № 4222

Сдано в набор 11.08.94. Подписано в печать 20.01.95. Формат 60×90^{1/16}. Бумага тип. № 2.
Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 17,0+1,0 вкл. Усл. кр.-отг. 18,19.

Уч.-изд. л. 20,1. Тираж 460 экз. Заказ № 116.

Издательство СПбГУ. 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9.

Типография Изд-ва СПбГУ. 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9.